



И. ЕФРЕМОВ
СЕРДЦЕ ЗМЕИ

Издательство
"Детская литература"

БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



МОСКВА ~ 1964

И. ЕФРЕМОВ



СЕРДЦЕ
ЗМЕИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

P2
E92

Рисунки В. ТАУБЕРА

ОТ АВТОРА

В сборнике представлены как самые ранние рассказы и короткие повести, так и наиболее новые.

«Встреча над Тускаророй» — самое первое из всего написанного мною. Она появилась почти одновременно с рассказами «Озеро Горных Духов» и «Олгой-Хорхой». В этих рассказах необыкновенные явления природы составляют главную суть каждого произведения, а желание познакомить читателя с этими явлениями — цель.

Двумя годами позже были написаны другие рассказы, из которых в сборнике представлены «Белый Рог», «Бухта Радужных Струй», «Обсерватория Нур-и-Дешт» и повесть «Тень минувшего». В них также главное место отводится описанию необыкновенных случайностей и встреч с удивительным в природе, преимущественно в геологических экспедициях. Вместе с тем они отличаются от самых ранних уже несколько большим вниманием к человеку — подлинному борцу и открывателю.

Если сравнить с этими героями людей из самых последних моих повестей, отделенных от названных прежде

почти пятнадцатью годами размышлений и писательского труда («Сердце Змеи», «Юрта Воропа» и «Афанеор, дочь Ахархеллена» — самая последняя из всех написанных), то можно сразу заметить, что человек занимает в них центральное место, а увлечение необычайными явлениями природы отступило на задний план. В последних произведениях удачно, как мне кажется, представлены все три главных направления моих писательских интересов: космическая повесть о будущем «Сердце Змеи», повесть о советских геологах «Юрта Воропа» и, наконец, «Афанеор» — повесть историко-географического характера, подобная повести «На краю Ойкумены», но посвященная современной Сахаре.

В целом сборник охватывает все периоды моей работы и все интересующие меня темы в области научной фантастики.

Апрель 1964

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Zerkov'.



ВСТРЕЧА НАД ТУСКАРОРОЙ

Немало лет тому назад я плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг — в Шанхай, или поближе — в Гензан и Хакодате.

В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...

Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до

самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.

Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хотя я и не считал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать — перед вахтой напиться горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко спу сразу же перестает клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закулив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять — пятнадцать минут перед выходом на почтовую вахту, в холод, мрак, сырость и туман!

Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту — крошечный «особняк», песущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, — и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.

Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.

— Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? — спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло. — Еще, наверно, не рассвело.

— Ну как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..

— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну, я-то, конечно, страдалец — мне на вахту, — а вы что?

— Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! — добродушно отвечал капитан. — А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию

вашу днем проверьте, чтобы не только по численности было, — добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.

— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, — ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.

Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...

Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка неверного океана...

Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет креп на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но посевший на море старик не произнес ни слова.

На палубе было темно. Едва обозначившийся рассвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика слышался встревоженный голос третьего помощника:

— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило...

Капитан сердито крикнул:

— Какой, к черту, риф? Здесь глубочайшая пучина океана!

«Ну конечно, Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.

Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.

— Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! — приказал я.

Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я.

Слабо зазвенел телеграф. Снова послышался грохот под кормой. Звонек телеграфа совпал с прекращением работы машины.

— Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту! — донесся голос капитана.

Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:

— Нет дна!

— Ближе к носу у крамбола! — скомандовал капитан.

— Две марки и две! — отозвался боцман.

— Четырнадцать футов? Что за черт! — воскликнул я.

По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.

Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, — короткие и плоские.

— Евгений Николаевич, давайте скорее место судна по счислению!

— Есть, Семен Митрофанович! — ответил я и направился в штурманскую рубку.

— Шлюпку спустить! — послышался голос капитана. — Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпку.

Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец старик!» — думал я, накладывая транспортир на карту, и услышал шаги капитана за спиной.

— Ну что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.

Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу.

— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, — проговорил я.

— Что поняли?

— На судно затонувшее налетели.

— Так оно и есть, — подтвердил капитан. — Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, что там Петины промеры?

Мы вышли на мостик.

Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.

Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.

Он обошел судно, потом поднялся на мостик.

— Начнем, командир? — спросил инженер.

— Ладно, давайте скорей, — согласился капитан. — Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.

Два водолаза, широкие, как комоды, — по-видимому, огромной силы люди — приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.

Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он отпустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.

Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.

Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.

— Пройдите назад! — закричал в телефон инженер. — Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...

— Что хорошо-то? — не утерпел капитан.

На это инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.

— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, — сказал инженер и передал телефон второму

водолазу. — Ну, вот что, командир, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бил о бушприт. Крепок же этот старинный парусник — вот что удивления достойно!

— Объясните-ка мне, товарищ инженер, — спросил капитан, — как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?

— Очень просто: судно-то деревянное да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали — он, наверно, чуть-чуть над водой высывался... Да, конечно, пусть поднимется! — прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.

Собравшаяся у борта команда да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза, как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду посреди океана и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет посившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он несомненно должен был испытывать. На совещании в интурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не смогу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.

Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.

— Ну что ж, давайте освобождайте, ради всего святого! — воскликнул капитан.

Инженер снова задумался.

— Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан.

— Дело в том, что для этой работы нужно два человека — будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется спаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.

— Но ведь у вас два водолаза, — сказал я.

— Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса, — ведь часть наших специалистов вперед на «Юзовском» уехала. Вот и думаю, как быть...

Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, странно было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.

— Ну, уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет, — сказал инженер.

Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.

Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...

Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и, пока одевали меня в скафандр, я успел послушаться немало острых словечек, па которые моряки мастера.

Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира.

Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком на выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода действительно сильно била меня с левой стороны, и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то, наклонно поднимавшемся вверх справа от меня, и смог оглядеться. Ярко светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ — остаток какой-то палубной постройки, а за ней толстый обрубок, как я понял потом — обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.

Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...

Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впе-

реди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.

Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть осерел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки в трюм, если они и были, остались позади нас, наверно, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый живучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее, по обыкновению, должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по ослизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.

«По-видимому, дверь здесь», — догадался я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись в пустоту, вернее — в воду за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и

я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.

Водолаз провел рукой по краю дверной пиши и всунул свой ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу», — осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света, помещение было большое, и я так и не мог себе представить точный вид капитанской каюты. Пол под нами был ровный и скользкий. Какне-то куски дерева — должно быть, остатки мебели — постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.

— Ага! — обрадованно вскричал я.

И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:

— Что «ага»?

— Ничего, все в порядке, — поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.

Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.

Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою паходку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы выпесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.

О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу

где-то в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем не легким делом, я обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.

Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.

Устало опустившись на колено, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось несколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.

— Ну, молодец ваш старпом! — обратился водолаз к капитану. — Справился что надо! Мы с ним — вернее, он — еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. — И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.

— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.

Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтеры» покачнувшись, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерпевших пластин пробки — это всплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаково жадным вниманием ждали, что будет дальше. Понесся сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было

слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.

Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:

— Ну что ж, командир, давайте ход.

— Как, разве уже все? — встрепенулся капитан.

— Ну конечно!

Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под шумом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:

— Инженеру — ура!..

— По местам! — послышалась команда капитана, против обыкновения закурившего на мостике, и палуба опустела.

Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго страествовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, а затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам пошел на мостик.

Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:

— Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечером с главным спасителем нашим. — Жест в сторону инженера. — А вы идите-ка отдохните — вижу, как устали!..

Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то мутный подводный свет, то колыхание солнечных бликов, то черноту трюма... Каютa равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.

Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро поев, я сразу же направился к капитану, где увидел оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился растелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. Но каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии — моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль... (фамилию забыл) в Глазго, 1784 год». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет при необыкновенной прочности старинных английских приборов.

Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке припесенной механиком пожовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, завинчивающаяся, с кольцом посредине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.

Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».

Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания в круге склоненных над нею голов. Какие-то

химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листа. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.

Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листе было написано примерно следующее:

«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта $38^{\circ}20'$ южная, долгота $28^{\circ}45'$ восточная, по утреннему счислению. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля «Святая Анна», считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.

Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Запзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи с северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день «Святая Анна» лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, неповторимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила «Святую Анну» устойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег набок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Дальше следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова



Ряд исполинских волн беспощадно обрушивался на корабль.

можно было прочесть: «...страшный треск и креп корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посредине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддавалась моим усилиям. Задыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода в каюту прибывала очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля — мы везли пробку из Португалии — и прославленная крепость корпуса «Святой Анны» не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по беспечности и неутолимой жажде пополнить их не успел этого сделать ранее.

Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой бапке. Сюда же я вкладываю и эту последнюю запись, в надежде что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорит, в каюте уже три фута воды. Сатапинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу «Святой Анны». Вот оно, крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля! Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, может быть, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет...

Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу

банку с записями. Прощайте, неизвестные друзья! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля господа. Аминь».

Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.

Первым нарушил молчание механик:

— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле! Твердые люди были в старину...

— Ну, такие, положим, есть и сейчас, — перебил капитан. — Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем — это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!

— Меня другое удивляет, — сказал инженер. — Посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...

— Ну, этому легко найти объяснение, — ответил капитан и достал большую карту морских течений. — Вот, смотрите сами. — Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. — Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйд-осту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Мицданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавучего гроба...

Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:

— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?

— Ну конечно.

— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?

— Что же тут удивительного? — сказал инженер. — Разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем

растворяются? А сто тридцать три года — срок, достаточный для этого.

— Злое море! — произнес ревизор. — Докопало моряка да и костей не оставило.

— Почему злое? — возразил я. — Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..

-- Вы только послушайте его! -- попробовал пошутить капитан. — Пойдешь и сам утопишься.

Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.

Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигавшейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что паходились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание:

«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кранбалка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда — и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кранбалку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закусанные губы показывали, что ранение тяжелое. Лин-

хэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по видимому от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.

Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва оживой воде, добытой капитаном со дна океана...

Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик — тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычен — голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного, даже на вкус. Я налил всю пробу в бутылку, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, по видимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.

Мы взяли эту пробу с самого глубокого места — из большой круглой впадины на дне океана, на $40^{\circ} 22'$ южной широты и $39^{\circ} 30'$ восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.

Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине 17 тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...

Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег — проклятых денег! — и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этебридж обнаружил

огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...

Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»

На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Кафферской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был отклониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целостность швов и обтяжку такелажа, и действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому не известное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»

На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать.

Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом — в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свылся за два года совместного плавания, но интерес к новому большому рейсу все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощанье со старым

капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.

По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой не-объемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необходимости снестись с нашими представителями в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.

Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнта, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую пегу теплых синих волн Игольного течения.

По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Кампи и решил задержаться на вечер, уединившись на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стемнело. Невидимое море давало знать о себе пизким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вины и гула веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка донесла с эстрады нежные звуки Брамса.

Тихая неосознанная приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...

В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, покрасневшими лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника

на какую-то высшую в сравнении с окружающими людьми ступень.

Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятном... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее да и не к чему, пожалуй. Встреченная одобрительным гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял — любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прицеливающимся каблучком и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменяла костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избороздившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и — представьте себе мое удивление! — о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонил-

лась и повернулась уходить. Я страхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.

Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабаке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.

— Добрый вечер,— негромко сказала она.— Вам понравилась моя песенка?

Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегалo ее фигуру, обозначая высокую грудь.

— Вы немногословны, капитан,— сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине.— Кто вы, где ваша родина?

Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилось сильнее, когда она ответила:

— Эпп (Анна) Джессельтон.

Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Эпп стало вдруг замкнутым и высокомерным, она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что в силу особых обстоятельств имею право на это.

Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.

— Я слыхала, что русские — чуткие люди, — с расстановкой произнесла она. — Но вы... вы такой, как все. — И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.

— Послушайте, Энн, — пробовал протестовать я, — если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...

— Все равно, — перебила она, — я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь и когда я... — Энн загнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!

Она встала. Встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.

Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватил нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдаль, темной массой сбегал в море мыс Си; влево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика, перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев, и я хорошо видел большие печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса:

— Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...

Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря.

— Энн!.. Одну минуту! — вскричал я, охваченный волнением.

Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с не-

определенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн:

— Капитан, когда уходит ваше судно?

Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил:

— Через четыре часа... Чего вы хотите от меня, Энн?..

Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...

Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана...

С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муил, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Еписей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.

Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хотелось спать. Я сунул голову под крап, потом выпил горячего кофе и вышел на верхний мостик — полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синевая бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Направо, за крутой дугой берега, скрывался Си-Пойнт — место, уже ставшее для меня не чужим.

Громкий удар колокола на баке возвестил панер¹. Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова:

¹ Панер — один из моментов съемки с якоря, когда якорная цепь приходит в вертикальное положение.

«Якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналив, начал набирать ход.

Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам — недаром вы столько времени в городе пропадали».

Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...

Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимику, академику Верескову. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества — минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сде-

лать специальная экспедиция, но опять-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что, чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней..





ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катунь. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стоящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.

В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нем не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах рек, где и проходила главным образом моя работа.

Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картишную яркость юга,

назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...

Короче говоря, я был доволен окружающей меня одноплодной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуня, близ большого села Чемал. Кратчайший путь туда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта, по долинам Верхней Катуня. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Ондугай снова выйти в долину Катуня. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.

Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катуня. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурю грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на почевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуня.

Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуня. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, вода оказалась не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.

Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передышек еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.

Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.

Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбегала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие стогнали коней для выючки, заворачивали и обвязывали выюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора тасжных троп, после дикой суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и легкой, изменчивой солнечной игры.

Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение,

возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуня, потом в Уймонскую степь — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректипские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Ондугая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катуня и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым медом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он. — Недалеко от Чемала попадетесь вам деревенька. Там живет художник наш знаменитый, Чоросов, — слышали, наверно. Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу придется, все покажет, а картин у него красивых гибель.

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуня» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.

В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало

описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижной, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.

Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.

Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой палево вьется шарф розовых облаков.

Левый край долины — трога¹ — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...

От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя «Дсны-Дерь» — «Озеро Горных Духов».

— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?

— Озеро существует, и должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне не дешево далась... Ну, а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем?

— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.

Художник пытливо посмотрел на меня:

— А это верно у вас прозвучало: «смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.

— Должно быть, интересные, раз они так поэтично называли озеро.

Чоросов перевел взгляд на картину:

— Вы ничего такого не заметили?

— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.

— А посмотрите-ка еще, повнимательней...

Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Переkreщивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных

¹ Трог — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами.

оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.

— Не понимаю, — показал я на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природе хорошо знаете и любите, но не верите ей.

— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил художник.

Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу, — продолжал он тем же тоном. — Вы думаете, название озеру только за пеземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел...

Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было впдеть «Озеро Горных Духов».

— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в теплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их голову, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но, как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил,

с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли густые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слюну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.

Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.

Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось и подступала тошнота. Тут я и увидел духов озера. Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.

Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба...



— В первый день я долго работал, делая этюды.

Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.

Легкий ветерок пронесся над озером, и мгновенно исчезли и облако и сине-зеленые призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с кончиков пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову...

Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошел, как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.

Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную суму.

«Однако, ты пропадешь, Чорос», — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников.

Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, а эту отделявал все время понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне не дешево.

Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-молния над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.

— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.

Я достал из сумки записную книжку и карандаш.

— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнеур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнеура выходит в широкое, плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем — цепью — пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое, озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и все. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин и озер много... Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если еще уцелела, по ней узнаете.

Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.

Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, я не решался даже намекнуть на

возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.

На прощанье Чоросов сказал мне:

— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро... вам перешлют, — серьезно, со смущающей бесстрастностью добавил художник.

Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда развела нас.

Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестоким ревматизм — профессиональная болезнь таежников — на полгода свалил меня, а потом пришлось встать с ослабевшим сердцем.

Устав от выпужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка, я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.

В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь. Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.

Далеская и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус с винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации

ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил opak-иллюминатор¹ сильвермановским для ко-
сого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа...

Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексy ртутной руды. Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как бóльшая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.

Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами... Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минералогии — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местопребывания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке называемой интерференцией световых волн. Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, еще там, в горах Алтая.

¹ О п а к - и л л ю м и н а т о р — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете.

Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый — химик и металлург — был еще здесь.

— А, сибирский медведь! — приветствовал он меня. — Зачем пожаловали? Опять срочный анализ?

— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?

— О, ртуть — металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.

— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?

— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.

— Значит, летуча?

— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.

— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?

— Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым...

— Все ясно. Большущее спасибо!

Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось? Опять сердце пошаливает?

— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот подсчет паров сейчас посмотрю... Заходите.

— Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!

Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.

— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.

— Вот это великолепно! — не удержался я.

— Что великолепно? Такая смерть?

Но я только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей безусловно верен.

Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными тасжниками-рабочими.

Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные духи художника-ойрота. Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу.

— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.

— Я надеюсь не позднее чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это...

— ...Альмадена в Испании, — подсказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро

чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только...

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — важнейший металл для электротехники и медицины. Ну, а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся еще затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому что я не хочу отравить всех вас да и сам отравиться. Пары ртути — не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за губительных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет...

Дымка розового тумана заволокла хребты. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел, куря у костра, но в конце концов поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром мшистого болота, без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над кедрами, словно торопясь к таинственному озеру.

Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее я сразу же узнал в нем храм

горного духа, поразивший мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова.

Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киповари. Дальше скалы понижались скопленными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.

Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочим сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.

Я взглянул в указанном направлении. Наполовину скрытое каменистой грядой, блесело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озера казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользящую и неподатливую жидкость, думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла — моем подарке родине.

Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и потопрапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкал направо и налево «лейкой», рабочий наполнил фляги ртутью из озера. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озера. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся грапеный алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.

— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветви кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас.

Ночью мы чувствовали себя неважно, но, в общем, все обошлось благополучно.

Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности.

А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.





ОЛГОЙ-ХОРХОЙ

По приглашению правительства Монгольской Народной Республики я проработал два лета, выполняя геодезические работы на южной границе Монголии. Наконец мне оставалось поставить и вычислить два-три астрономических пункта в юго-западном углу границы Монгольской Республики с Китаем. Выполнение этого дела в труднопроходимых безводных несках представляло серьезную задачу. Снаряжение большого верблюжьего каравана требовало много времени. Кроме того, передвижение этим архаическим способом казалось мне нестерпимо медленным, особенно после того, как я привык перепоситься из одного места в другое на автомобиле. Верная моя «газовская» полутонна добросовестно служила мне до сих пор, но, конечно, сунуться на ней в столь страшные пески было просто невозможно. Другой пригодной машины не было под руками. Пока мы с представителем Монгольского ученого комитета ломали голову, как выйти из положения, в Улац-Батор прибыла большая научная советская экспедиция. Ее новенькие, превосходно оборудованные грузовики, обутые в какие-то особенные сверхбаллоны специально для передвижения по пескам, пленили все население Улац-Батора. Мой шофер

Гриша, очень молодой, увлекающийся, но способный механик, любитель далеких поездок, уже не раз бегал в гараж экспедиции, где он с завистью рассматривал невиданное новшество. Он-то и подал мне идею, после осуществления которой с помощью Ученого комитета наша машина получила новые «ноги», по выражению Гриши. Эти «ноги» представляли собой очень маленькие колеса, пожалуй меньше тормозных барабанов, на которые надевались непомерной толщины баллоны с сильно выдающимися выступами. Испытание нашей машины на сверхбаллонах в песках показало действительно великолепную ее проходимость. Для меня, человека большого опыта по передвижению на автомашине в разных бездорожных местах, казалась просто невероятной та легкость, с которой машина шла по самому рыхлому и глубокому песку. Что касается Гриши, то он клялся проехать на сверхбаллонах без остановки всю Черную Гоби с востока на запад.

Автомобильных дел мастера из экспедиции снабдили нас, кроме сверхбаллонов, еще разными инструкциями, советами, а также множеством добрых пожеланий. Вскоре наш дом на колесах, простившись с Улан-Батором, исчез в облаке пыли и понесся по направлению на Цецерлег. В обтянутом брезентом, на манер фургона, кузове лежали драгоценные сверхбаллоны, громыхали баки для воды и запасная бочка для бензина. Многократные поездки выработали точное расписание размещения людей и вещей. В кабине с шофером сидел я за специально пристроенным откидным столиком для пикетажной книжки. Тут же помещался маленький морской компас, по которому я записывал курс, а по спидометру — расстояния, пройденные машиной. В кузове, в передних углах, помещались два больших ящика с запасными частями и резиной. На них восседали: мой помощник — радист и вычислитель, и проводник Дархин, исполнявший также обязанности переводчика, умный старый монгол, много повидавший на своем веку. Он сидел на ящике слева, чтобы, склонившись к окну кабины, указывать Грише направление. Радист, мой тезка, страстный охотник, восседал на правом ящике с биноклем и винтовкой, охраняя в то же время теодолит и универсал Гильдебранта... Позади них кузов был аккуратно заполнен

свернутыми постелями, палаткой, посудой, продовольствием и прочими вещами, необходимыми в дороге.

Путь лежал к озеру Орок-нор и оттуда — в самую южную часть республики, в Заалтайскую Гоби, около трехсот километров к югу от озера. Наша машина пересекла Хангайские горы и выбралась на большой автомобильный тракт. Здесь, в селении Таца-гол, в большом гараже мы проверили машину и запаслись горючим на весь путь, подготовившись таким образом к решительной схватке с неизвестными песчаными пространствами Заалтайской Гоби. Бензин на обратную дорогу нам должны были забросить на Орок-нор.

Все шло очень хорошо в этой поездке. До Орок-нора нам встретилось несколько трудных песчаных участков, но с помощью чудодейственных сверхбаллонов мы прошли их без особых затруднений и к вечеру третьего дня увидели отливающую красноватым светом ровную поверхность горы Ихэ. Как бы радуясь вечерней прохладе, мотор бодро пофыркивал на подъемах. Я решил воспользоваться холодной ночью, и мы ехали в мечущемся свете фар почти до рассвета, пока не заметили с гребня глинистого холма темную ленту зарослей на берегу Орок-нора. Дремавшие наверху проводник и Миша слезли с машины. Площадка для стоянки была найдена, топливо собрано, и вся наша небольшая компания расположилась на кошме у машины пить чай и обсуждать план дальнейших действий. Отсюда начинался неизвестный маршрут, и я хотел в начале его отнаблюдать и поставить астрономический пункт, проверив казавшиеся мне сомнительными наблюдения Владимирцева. Шофер хотел хорошенько проверить и подготовить машину, Миша — пастрелять дичи, а старый Дархин — потолковать о дороге с местными аратами. Объявленная мною остановка на сутки была принята со всеобщим одобрением.

Определив, с какой стороны и под каким углом машина дольше задержит лучи утреннего солнца, мы улеглись около нее на широкой кошме. Влажный ветерок чуть шелестел камышом, и особенный аромат какой-то травы смешивался с запахом нагретой машины — комбинацией запахов бензина, резины и масла. Так приятно было вытянуть уставшие ноги и, лежа на спине, вглядываться в светлевшее небо! Я быстро уснул, но еще раньше услышал рядом с собой ровное дыхание Гриши. Провод-

ник с помощником долго шептались о чем-то. Проснулся я от жары. Солнце, отхватив большую часть тени, отбрасываемой машиной, сильно нагрело мои ноги. Шофер, вполголоса напевая что-то, копошился у передних колес. Миши и проводника не было. Я встал, искупался в озере и, напившись приготовленного мне чаю, стал помогать шоферу.

Выстрелы, раздавшиеся вдалеке, свидетельствовали о том, что Миша тоже не теряет времени даром. Возню с машиной мы закончили под вечер. Миша принес несколько уток — из них двух каких-то очень красивых, неизвестной мне породы. Шофер занялся приготовлением супа, а Миша установил походную антенну и вытащил радиостанцию, готовя ее к ночному приему сигналов времени. Я бродил вокруг лагеря, выбирая площадку для наблюдения и постановки столба. Подойдя к машине, я увидел, что обед уже готов. Проводник, который тоже вернулся, что-то рассказывал шоферу и Мише. При моем появлении старик замолчал. Гриша, широко и беззаботно улыбаясь, сказал мне:

— Страшает нас Дархин, прямо нет спасения, Михаил Ильич! Говорит, что прямо к бесу в лапы завтра попадем!..

— Что такое, Дархин? — спросил я проводника, подсаживаясь к котлу, установленному на разостланном брезенте.

Старый монгол негодующе посмотрел на шофера и с мрачным видом пробормотал о смешливости и непонятливости Гриши:

— Гришка всегда хохочет, беду совсем не понимает...

Веселый смех молодых людей, последовавший за этим заявлением, совсем рассердил старика. Я успокоил Дархина и стал расспрашивать его о завтрашнем пути. Оказалось, что он получил подробные сведения от местных монголов. Сухим стебельком Дархин начертил на песке несколько топких линий, означавших отдельные горные группы, на которые распадался здесь Монгольский Алтай. Через широкую долину, западнее Ихэ-Богдо, наш путь лежал прямо на юг по старой караванной тропе, через песчаную равнину, к колодцу Цаган-Тологой, до которого, по сообщению Дархина, было пятьдесят километров. Оттуда шла довольно хорошая дорога по глинистым солонцам, протяженностью около двухсот пятиде-

сяти километров, до горной гряды Ноин-Богдо. За этими горами к западу шла широкая полоса грозных песков, не менее сорока километров с севера на юг, — пустыня Долонхали-Гоби, а за ней, до самой границы Китая, тянулись пески Джунгарской Гоби. Эти пески, по словам Дархина, были совершенно безводны и безлюдны и слыли у монголов зловещим местом, в которое опасно было попадать. Такая же дурная слава шла и про западный угол Долон-Хали-Гоби. Я постарался уверить старика в том, что при быстроходности нашей машины — он мог познакомиться с ней за время пути — пески нам не будут опасны. Да мы и не собираемся долго задерживаться в них. Я только посмотрю на звезды — и обратно. Дархин молча покачал головой и ничего не сказал. Однако ехать с нами он не отказался.

Ночь прошла спокойно. Я с трудом и неохотно поднялся до рассвета, разбуженный Дархином. Мотор гулко зашумел в предутренней тишине, будя еще не проснувшихся птиц. Свежая прохлада вызывала легкую дрожь, но в кабине я согрелся и опустил стекло. Машина шла быстро, сильно раскачиваясь. Пейзаж ничем не привлекал внимания, и скоро я начал дремать. Хорошо дремлет, если высунуть локоть согнутой руки из окна кабины и положить голову на руку. Я просыпался при сильных толчках, отмечал компас и снова дремал, пока не выспался. Шофер остановил машину. Я закурил, прогнав последние остатки сна. Мы находились у самой подошвы гор. Солнце жгло уже сильно. Баллоны нагрелись до того, что нельзя было притронуться к их узорчатой черной резине. Все вылезли из машины размяться. Гриша, по обыкновению, осматривал свою «машинушку» или «машу», как он еще называл доблестную полутонну. Дархин всматривался в крутые красноватые склоны, от которых шли в степь длинные хвосты осыней. Солнечные лучи падали параллельно линии гор, и каждая выбоина коричневых или карминно-красных обрывов, каждая долина или промоина были заполнены густыми синими тенями, образовавшими самые фантастические узоры.

Я любовался причудливой раскраской и впервые понял, откуда, должно быть, ведет свое начало сине-красный узор монгольских ковров. Дархин показал далеко в стороне, к западу, широкую долину, разрезающую

поперек горную цепь, и, когда мы расселись по своим местам, шофер повернул уже остывшую машину направо. Солнце все сильнее накаляло капот и кабину, мощность перегревшегося мотора упала, и даже на небольшие подъемы приходилось лезть на первой передаче. Почти непрерывное завывание машины угнетающе действовало на Гришу, и я не раз ловил его укоризненные взгляды, но не подавал виду, надеясь добраться до какой-нибудь воды, чтобы не расходовать прекрасную воду из озера. Мои ожидания не были напрасны: слева мелькнул крутой обрыв глубокого ущелья, с травой на дне, того самого ущелья, в которое нам предстояло углубиться. Несколько минут спуска — и Гриша, довольно улыбаясь, остановил машину на свежей траве. Под обрывом скал, по характеру места, должен был быть родник. Крутые скалы отбрасывали благодатную тень. Ее синеватый плащ укрыл нас от ярости беспощадного царя пустыни — солнца, и мы занялись чаепитием у подножия скал.

Едва жара начала «отпускать», мы все заснули, чтобы набраться сил для ночной езды. Спал я долго и едва открыл глаза, как услышал громкое восклицание шофера:

— Смотрите скорее, Михаил Ильич! Я все боялся, что проспите и не увидите... Я спросонок даже испугался — понять ничего не мог. Прямо пожар кругом!

В самом деле, окружающий нас пейзаж казался невероятным сновидением. Отвесные кручи красных скал слева и справа от нас алели настоящим пламенем в лучах заходящего солнца. Глубокая синяя тень разливалась вдоль подножия гор и по дну ущелья, сглаживая мелкие неровности и придавая местности мрачный оттенок. А надо всем этим высилась сплошная стена алого огня, в которой причудливые формы выветривания создавали сипие провалы. Из провалов выступали башни, террасы, арки и лестницы, также ярко пылавшие, — целый фантастический город из пламени. Прямо впереди нас, вдаль, в ущелье, сходились две степы: левая — огневая, правая — исчерна-синяя. Зрелище было настолько захватывающим, что все мы застыли в невольном молчании.

— Ну-ну!.. — Гриша очнулся первым. — Попробуй Расскажи в Улан-Баторе про такое чудо — девки с тобой гулять перестанут, скажут: «Допился парень до ручки»...

Заехали в такие места, что как бы Дархин не оказался прав...

Монгол ничем не отозвался на упоминание его имени. Неподвижно сидя на кошме, он не отрывал глаз от пылающего ущелья. Огненные краски меркли, постепенно голубея. Откуда-то едва потянуло прохладой. Пора было трогаться в путь. Мы покурили, уничтожили по банке сгущенного молока, и снова крыша кабины закрыла от меня небо. Дорога бежала и бежала под край радиатора и крыло машины. Фара, обращенная ко мне своим выпуклым затылком с кольчатым проводом, настороженно уставилась вперед, вздрагивая при сильных толчках. До наступления темноты мы подъехали к колодцу Бор-Хисуты, представлявшему собой защищенный камнями родник с горьковатой водой. Впереди в сгущавшихся сумерках маячили какие-то холмы, названия которых Дархин не знал.

Стемнело. Скрещенные лучи фар побежали впереди машины, увеличивая в своем скользящем косом свете все мелкие неровности дороги. Плотнее придвинулась темнота, и чувство оторванности от всего мира стало еще сильнее... Прямо впереди нас поднималась, вырастая, темная, неопределенных очертаний масса — должно быть, какие-то холмы. Пора было остановиться, передохнуть до рассвета. У холмов могли быть овраги — ночная езда здесь была рискованной. Скоро в багровеющем небе четко вырисовались закругленные вершины холмов — хребет Ноин-Богдо, в этом месте сильно пониженный. Легко преодолев перевал, мы остановились на выходе из широкой долины, чтобы надеть сверхбаллоны: мы вступали в Долоц-Хали-Гоби. Пустыня расстилала перед нами свой однотонный красновато-серый ковер. Далеко, в туманной дымке, едва угадывалась полоска гор. Горы эти, в старину называвшиеся «Койси-Кара», и были целью моего путешествия. Я хотел поставить астропункт на низкой горной гряде, разделяющей две песчаные равнины Джунгарской Гоби. Если бы мы нашли там воду, то, пользуясь сверхбаллонами, можно было бы пересечь пески Джунгарской Гоби примерно до границы с Китаем и еще раз отнаблюдать. Так или иначе, пужно было торопиться. Вероятность нахождения воды в неизвестном проводнику месте была небольшой, а отклоняться от маршрута в сторону было бы небезопасно из-за неминуе-

мого перерасхода горючего. Мы выехали, несмотря на то что над песками уже дрожала дымка знойного марева. Навстречу нам шли без конца всё новые и новые волны застывшего душного моря песка. Желтый цвет песка иногда сменялся красноватым или серым; разноцветные переливы солнечной игры временами бежали по склонам песчаных бугров. Иногда на гребнях барханов колыхались какие-то сухие и жесткие травы — жалкая вспышка жизни, которая не могла победить общего впечатления умершей земли...

Мельчайший песок пропикал всюду, ложаась матовой пудрой на черную клеенку сиденья, на широкий верхний край переднего щитка, на записную книжку, стекло компаса. Песок хрустел на зубах, царапал воспаленное лицо, делал кожу рук шершавой, покрывал все вещи в кузове. На остановках я выходил из машины, взбирался на самые высокие барханы, пытаюсь увидеть в бинокль границу жутких песков. Ничего не было видно за палевой дымкой. Пустыня казалась бесконечной. Глядя на машину, стоящую, накрепко на один бок, с распахнутыми, как крылья, дверцами, я старался победить тревогу, временами овладевавшую мною. В самом деле, как ни хороши новые баллоны, по мало ли что может случиться с машиной. А в случае серьезной, не исправимой на месте поломки шансов выбраться из этой безлюдной местности у нас было мало... Не слишком ли смело я пустился в глубь песков, рискуя жизнью доверившихся мне людей? Такие мысли все чаще одолевали меня в песках Долонхали. Но я верил в нашу машину. Так же успокоительно действовал на меня старый Дархин. Мало-подвижное «буддийское» лицо его было совершенно спокойно. Молодые же мои спутники не задумывались особенно над возможными опасностями.

Меня смущало то, что после пятичасового пути впереди по-прежнему не было заметно никаких гор. На шестьдесят седьмом километре песчаные волны стали заметно попижаться и вместе с тем начали подъем. Я понял, в чем дело, когда через каких-нибудь пять километров мы переваливали небольшой глинистый уступ и Гриша сразу же затормозил машину. Пески Долонхали заполняли обширную плоскую котловину, пахотясь на дне которой я, конечно, не мог видеть отдаленные горы. Едва же мы поднялись на край котловины и оказались

на ровной, как стол, возвышенности, обильно усыпанной щебнем, горы неожиданно выступили прямо на юге, километрах в пятнадцати от нас. Блестящий щебень, покрывавший все видимое вокруг пространство, был темно-шоколадного, местами почти черного цвета. Нельзя сказать, чтобы эта голая черная равнина производила отрадное впечатление. Но для нас выход на ровную и твердую дорогу был настоящей радостью. Даже невозмутимый Дархин поглаживал пальцами редкую бородку, довольнo улыбаясь. Сверхбаллоны отправились на отдых в кузов. После медленного движения через пески быстрота, с которой мы добрались до гор, казалась необычайной. Некоторое время пришлось проблуждать у подножия гор в поисках воды.

К закату солнца мы были на южной стороне, где и обнаружили родник в глубоком овражке, впадавшем в большое ущелье. Водой мы были теперь обеспечены. Не дожидаясь чая, я отправился вместе с Мишей на ближайшую вершину, чтобы успеть до темноты разыскать удобную для астрономического пункта площадку. Горы были невысоки, их обнаженные вершины поднимались метров на триста. Горная цепь имела своеобразные очертания лунного серпа, открытого к югу, к пескам Джунгарской Гоби, а выпуклостью с более крутыми склонами обращенного на север. С южной стороны горной дуги между рогами полумесяца тянулся в виде прямой линии обрыв, ниспадавший к высоким барханам песчаного моря. Наверху было ровное плато, поросшее высокой и жесткой травой. Плато ограничивали с трех сторон конусовидные вершины с острыми зазубренными верхушками. Истерзанные ветрами горы казались угрюмыми. Страшное чувство потерянности охватывало меня, когда я вглядывался в бесконечные равнины на юге, востоке и севере. Только вдаль, на западе, туманились еще какие-то горные вершины, такие же невысокие, бесцветные и одинокие, как и те, с которых я смотрел.

Плато внутри полумесяца было идеально для наблюдений, поэтому мы перенесли на него радиостанцию и инструменты. Вскоре сюда же перебрались и шофер с проводником, притащившие постели и еду. Далеко внизу стояла наша машина, казавшаяся отсюда серым жуком. Мертвая тишина безжизненных гор, нарушаемая только едва слышным шелестом ветра, невольно нагнала на всех

задумчивое настроение. Мои спутники расположились отдыхать на кошме, только Миша неторопливо соединял контакты сухих батарей. Я подошел к обрыву и долго смотрел вниз, на пустыню. Скалы с изрытой выветриванием поверхностью поднимались над слегка серебрищейся редкой полышью. Однообразная даль уходила в красноватую дымку заката, позади дико и угрюмо торчали пилчатые острые вершины. Беспредельная печаль смерти, ничего не ждущее безмолвие веяли над этим полуразрушенным островом гор, рассыпающихся в песок, вливаясь в безыменные барханы пастунающей пустыни. Глядя на эту картину, я представил себе лицо Центральной Азии в виде огромной полосы древней, уставшей жить земли — жарких безводных пустынь, пересекающих поверхность материка. Здесь кончилась битва первобытных космических сил и жизни, и только недвижная материя горных пород еще вела свою молчаливую борьбу с разрушением... Непередаваемая грусть окружающего наполнила и мою душу.

Так размышлял я, как вдруг давящая тишина отхлынула под веселыми звуками музыки. Контраст был так неожидан и силен, что окружающий меня мир как бы раскололся, и я не сразу сообразил, что радист нацупал точную настройку на одну из станций. И люди сразу оживились, заговорили, стали хлопотать о еде и чае. Миша, довольный произведенным впечатлением, долго еще держал натянутой невидимую нить, связывавшую затерянных в пустыне исследователей с живым и теплым биением далекой человеческой жизни.

Ночь, как и всегда, была ясной. Здесь, высоко на плато, стало прохладно. Дымка нагретого воздуха не мешала, как обычно, наблюдениям. Не спали только мы с Мишей. Но сейчас мое внимание унеслось в такую даль, перед которой все ландшафты земли казались мгновенной тенью, — звезды были надо мной. На них была наведена труба моего инструмента. Ярким огоньком горела звезда, пойманная в крест нитей, серебристо блестел лимб¹ в слабоосвещенном окошечке верньера². Под окулярами

¹ Лимб — посеребренное кольцо с нанесенными на него делениями градусов, минут и секунд.

² Верньер — дополнительная шкала делений для точных отсчетов по лимбу.

горизонтального и вертикального кругов медленно смещались черточки на шкале, в то время как в наушниках радио неслись размеренные хрипловатые сигналы времени.

Я дважды уже повторял наблюдения, меняя способ, так как хотел добиться безусловно верного определения. Не скоро кто-нибудь заберется сюда повторить и проверить мои данные, и продолжительное время картографы будут опираться на этот ориентир, теперь имеющий точное место на поверхности земного шара... Наконец я выключил лампочку и отправился спать. Небольшой колышек остался до утра, обозначая точку, в которую завтра мои помощники забьют и зальют цементом железный кол с медной дощечкой. Наваленная сверху высокая пирамида камней издали укажет астрономический пункт в этой забытой местности. Право же, это хорошая память по себе и хороший вид творческой работы на общую пользу...

В чистом и прохладном воздухе плато, под низкими звездами я хорошо выспался и поэтому проснулся рано. Рассветный ветерок тянул холодом. Все уже встали и возились с установкой железного столбика. Я потянулся и решил еще полежать, покуривая и обдумывая наш дальнейший путь. Я решил, если пески Джунгарской Гоби окажутся трудными для нашей машины, не рисковать, голаясь за мифической линией границы среди пустынных песков. Все же, перед тем как повернуть назад, к зеленой жизни района Орок-пора, я задумал немного углубиться в пески, чтобы составить представление об этой пустыне. Вдали я различил незначительную возвышенность. Туда я и хотел проехать и осмотреть в бинокль пустыню дальше к югу и к китайской границе.

Тихо ступая, ко мне приблизился Дархин. Увидев, что я не сплю, он сел около меня и тихо спросил:

— Как решил: едем Джунгарскую Гоби сквозь?

— Нет, решил не ехать, — ответил я. (Лицо старика дрогнуло, узкие глаза радостно блеснули.) — Только немножко поедем воп туда. — Я приподнялся на локте и указал рукой по направлению далекого холма.

— Зачем? — удивился монгол. — Лучше плохое место совсем не ехать, обратно хорошо поедем...

Я поспешил подняться с кошмы и тем самым оборвал воркотню старого проводника. Солнце еще не нагрело

песка, как мы уже въезжали на сверхбаллонах прямо в глубь пустыни, держа направление на группу холмов. Шофер напевал веселую песенку, заглушаемую воем машины. Качка, по обыкновению, начала действовать на меня, убаюкивая и клоня ко сну. Но даже сквозь дрему я заметил необычайный оттенок песков Джунгарской Гоби. Яркий свет уже сильно припекавшего солнца окрашивал склоны барханов в фиолетовый цвет. Тени в этот час исчезали, и разная освещенность песков отражалась лишь в большей или меньшей примеси красного тона. Этот странный цвет еще больше подчеркивал мертвенность пустыни.

Должно быть, я незаметно заснул на несколько минут, потому что очнулся от молчания мотора. Машина стояла на бархане, опустив передок в оседавший рыхлый скат, по которому еще катились вниз потревоженные песчинки. Я поднял крючок, толкнул дверцу кабины, вышел на подножку и оглянулся кругом.

Впереди и по сторонам высились гигантские барханы невиданных размеров. Неверная игра солнца и воздушных потоков заставила меня принять их за отдаленные горы. Я и теперь не понимал, как я мог ошибиться. Всего за несколько минут до этого я готов был клясться, что совершенно ясно видел группу холмов. Утопая в песке, я взобрался на один из больших барханов и стал разглядывать песчаное море на юге. Монгол присоединился ко мне. Лукавые искорки мелькали в его темных глазах. Было ясно, что дальнейшее продвижение к югу не имело смысла — никаких холмов или гор не было заметно вдали. Дархин уверял, что монголы говорили ему о песках, тянущихся до самой границы. Можно было поворачивать назад. Спутники мои заметно обрадовались такому распоряжению. Безмолвные пески действовали на всех угнетающе. Гулкая песня мотора снова восторжествовала над песчаным покоем. Машина накрепилась и, сползая со склона, повернула свои фары обратно на север.

Я сложил и спрятал записную книжку, прикрыл комнас и приготовился продолжать прерванную дрему.

— Ну, Михаил Ильич, хорошенько поднажать — и до Орок-пора доберемся или уж до горящих скал наверно, — блестя своими ровными зубами, сказал Гриша.

Звонкий грохот над головой заставил нас вздрогнуть. Это радист стучал в крышку кабины. Наклонившись к

бкну, он старался перекричать шум мотора. Правой рукой он показывал направо.

— Что еще там у них? — с досадой сказал шофер, придерживая машину, но вдруг резко затормозил и крикнул мне: — Смотрите скорее! Что такое?..

Окошко кабины на минуту заслонил спрыгнувший сверху радист. С ружьем в правой руке он бросился к склону большого бархана. В просвете между двумя буграми был виден низкий и плоский бархан. По его поверхности двигалось что-то живое. Хотя это двигавшееся существо и было очень близко к нам, но мне и шоферу не удалось сразу разглядеть его. Оно двигалось какими-то судорожными толчками, то сгибаясь почти пополам, то быстро выпрямляясь. Иногда толчки прекращались, и животное попросту катилось по песчаному склону.

— Что за чудо? Колбаса какая-то, — прошептал у меня над ухом шофер, словно боясь спугнуть неведомое существо.

Действительно, у животного не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз; правда, последние могли быть незаметны на расстоянии. Больше всего животное походило на обрубок толстой колбасы около метра длины. Оба конца были тупые, и разобрать, где голова, где хвост, было невозможно. Большой и толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Было что-то отвратительное и в то же время беспомощное в его неловких, замедленных движениях. Не будучи знатоком зоологии, я все же сразу сообразил, что перед нами совсем неизвестное животное. В своих путешествиях я часто сталкивался с самыми различными представителями животного мира Монголии, но никогда не слышал ни о чем похожем на этого громадного червяка.

— Ну и пакостная штука! — воскликнул Гриша. — Бегу ловить, только перчатки надену, а то противно! — И он выскочил из кабины, схватив с сиденья свои кожаные перчатки. — Стой, стой! — крикнул он радисту, прицелившемуся с верхнего бархана. — Живьем бери! Видишь, ползет еле-еле!

— Ладно. А вот и его товарищ, — отозвался Миша и осторожно положил ружье на гребень бархана.

В самом деле, по песчаному склону скатывалась вниз вторая такая же колбаса, пожалуй побольше размером. В эту минуту сверху из кузова раздался пронзительный вопль Дархина. Старик, очевидно, крепко спал, и его

только сейчас разбудили беготня и крики. Монгол громко кричал что-то неразборчивое, что-то похожее на «оой-оой». Шофер уже взбежал на бархан и вместе с радистом кинулся вниз. Юноши бежали быстро. Все, что произошло дальше, было делом одной минуты. Я торопливо выскочил из кабины, намереваясь принять участие в ловле необыкновенных существ. Но едва я отошел от машины, как монгол кубарем скатился на песок из кузова и вцепился в меня руками. Обычно спокойное лицо его исказил дикий страх.

— Обратно ребят зови!.. Скорее! Там смерть! — сказал он, задыхаясь, и опять завопил фальцетом: — Оой-оой!..

Скорее удивленный, чем испуганный непонятным поведением старика, я крикнул шоферу и Мише, чтобы они поехали назад. Но те продолжали бежать к неизвестным животным и либо не слышали меня, либо не хотели слышать. Я сделал было шаг к ним, но Дархин потянул меня назад. Вырываясь из цепких рук проводника, я в то же время следил за животными. Мои помощники уже подбежали к ним: радист впереди, Гриша чуть сзади. Внезапно червяки свились каждый в кольцо. В тот же момент окраска их из желто-серой, сразу потемнев, стала фиолетово-синей, а на концах ярко-голубой. Без крика, совершенно неожиданно радист рухнул ничком на песок и остался недвижим. Я услышал восклицание шофера, который в это время подбежал к радисту, лежавшему в каких-нибудь четырех метрах от червяков. Секунда — и Гриша так же странно изогнулся и упал на бок. Его тело перевернулось, скатываясь к подошве бархана, и скрылось из глаз. Я вырвался из рук проводника и бросился вперед. Но Дархин с быстротой юноши ухватил меня, как клещами, за ноги, и мы вместе покатались по мягкому песку. Я боролся с монголом, стараясь вырваться от него. Вне себя выхватил я револьвер и направил его на монгола. Щелкнул спущенный предохранитель, и только тогда проводник отпустил меня. Встав на колени, старик протягивал ко мне руки. Хриплое дыхание вместе с криком: «Смерть! Смерть!» — вырывалось из его груди. Я взбежал на бархан, продолжая сжимать в руке револьвер. Таинственные червяки куда-то исчезли. Неподвижные тела товарищей лежали на песке, изборожденном следами омерзительных животных. Монгол бежал вслед за мной и, как только увидел, что червяков нет, бросился,



Я боролся с монголом, стараясь вырваться от него.

как и я, к нашим спутникам. Страшное горе сжало мне сердце, когда я, склонившись над неподвижными телами, не смог уловить в них ни малейших признаков жизни. Радист лежал с запрокинутой головой. Глаза его были полуоткрыты, лицо спокойно. У Гриши, наоборот, лицо было искажено гримасой внезапной и ужасной боли. У обоих лица были синие, будто от удушья.

Все наши усилия — растирание, искусственное дыхание, даже сделанная Дархином попытка пустить кровь — были безуспешны. Смерть товарищей была очевидной. Она оглушила нас. Все мы за долгое время, проведенное вместе, сдружились и сроднились. Для меня смерть молодых людей была тяжелой потерей. Кроме того, меня мучило сознание своей вины в том, что я не остановил безрассудной погони за неведомыми гадами. Растерянный, почти без мыслей, я молча стоял, оглядываясь по сторонам, в тщетной надежде увидеть снова проклятых червяков и выпустить в них обойму. Старый проводник, опустившись на песок, тихо всхлипывал, и я только потом подумал, как должен быть благодарен старику, спасшему меня от смерти...

Мы перенесли оба тела и положили в кузов машины, не в силах бросить их в страшных фиолетовых песках. Может быть, где-то внутри нас чуть теплилась надежда, что это еще не смерть и наши товарищи, оглушенные неведомой силой, вдруг очнутся. Ни одним словом не обменялись мы с проводником. Глаза монгола тревожно следили за мной до тех пор, пока я не забрался на место Гриши и не запустил мотор. Включая передачу, я бросил последний взгляд на это ничем не отличавшееся от всей пустыни место, где потерял половину своего отряда. Как легко и весело было мне час назад и каким одиноким чувствовал я себя теперь!.. Машина тронулась. Унылое завывание шестерен первой скорости казалось мне невыносимым. Дархин, сидя в кабине, смотрел, как я обращаюсь с машиной, и, уверившись в моем умении, немного приободрился.

В тот день мы доехали только до ночной стоянки и там похоронили своих товарищей вблизи астропункта, под высокой насыпью из камней. Разложение уже тронуло их тела и убило последнюю надежду на «воскрешение».

Я и теперь не могу спокойно вспомнить молчаливую ночь в мрачных горах. Едва дождавшись рассвета, я по-

гнал машину по черному галечнику как мог быстрее. Чем дальше мы удалялись от страшной Джунгарской Гоби, тем спокойнее чувствовал я себя. Пересечение песков Долон — Хали — Гоби — тяжелая работа для неопытного водителя — заняло все мое внимание, несколько отогнав горестные мысли о гибели товарищей.

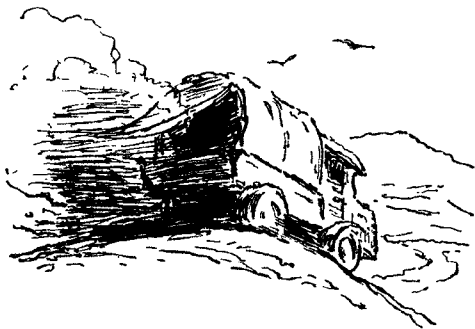
На отдыхе у огненных утесов я тепло поблагодарил монгола. Дархин был тронут. Он улыбнулся и сказал:

— Я кричал «смерть» — ты все равно бежал. Тогда я хватал тебя: начальник погибай — все погибай. А ты чуть не стрелял меня!..

— Я бежал спасти Гришу и Мишу, — сказал я, — о себе не думал.

Все объяснение этого происшествия, какое я мог получить у проводника да и у всех прочих знатоков Монголии, заключалось в том, что, по очень древним поверьям монголов, в самых безлюдных и безжизненных пустынях обитает животное, называемое «олгой-хорхой». Это название в торопливых выкриках Дархина и показалось мне повторением «оой-оой». Олгой-хорхой не попадал в руки ни одному из исследователей отчасти потому, что он живет в безводных песках, отчасти из-за того страха, который питают к нему монголы. Этот страх, как я сам убедился, вполне обоснован: животное убивает на расстоянии и мгновенно. Что это за таинственная сила, которой обладает олгой-хорхой, я не берусь судить. Может быть, это огромной мощности электрический разряд или яд, разбрызгиваемый животным, — я не знаю...

Наука еще скажет свое слово об этом страшном животном, после того как более удачливым, чем я, исследователям посчастливится его встретить.





БЕЛЫЙ РОГ

В бледном и знойном небе медленно кружил гриф. Без всяких усилий парил он на огромной высоте, не шевеля широко распластанными крыльями.

Усольцев с завистью следил, как гриф то легко взмывал вверх, почти исчезая в слепящей жаркой синеве, то опускался вниз сразу на сотни метров.

Усольцев вспомнил про необычайную зоркость грифов. И сейчас, как видно, гриф высматривает, нет ли где падали. Усольцев невольно внутренне содрогнулся: пережитая им смертная тоска еще не исчезла. Разум успокоился, но каждая мышца, каждый нерв слепо помнили пережитую опасность, содрогаясь от страха. Да, этот гриф мог бы уже сидеть на его трупе, разрывая загнутым клювом обезображенное, разбитое тело...

Засыпанная обломками разрушающихся обнаженных скал долина была раскалена, как печь. Ни воды, ни дерева, ни травы — только камень, мелкий и острый внизу, обрывисто громоздящийся угрюмой массой вверх. Разбитые трещинами утесы, нещадно палимые солнцем...

Усольцев поднялся с камня, на котором сидел, и, чувствуя противную слабость в коленях, пошел по скре-

жетавшему под ногами щебно. Невдалеке, в тени выступающей скалы, стоял конь. Рыжий кашгарский иноходец насторожил уши, приветствуя хозяина тихим и коротким ржаньем. Усольцев освободил повод, ласково потрепал лошадь по шее и вскочил в седло.

Долина быстро раскрылась перед ним; иноходец вышел на простор. Ровный уступ предгорий в несколько километров ширины круто спускался в бесконечную степь, затянутую дымкой пыли и клубящимися струями нагретого воздуха. Там, далеко, за желто-серой полосой горизонта, лежала долина реки Или. Большая быстрая река несла из Китая свою кофейную воду в зарослях колючей джидды и цветущих ирисов. Здесь, в этом степном царстве покоя, не было воды. Ветер, сухой и горячий, шелестел тонкими стеблями чия.

Усольцев остановил иноходца и, приподнявшись на стременах, оглянулся назад. Вплотную к ровной террасе прилежала крутая коричнево-серая стена, изрезанная короткими сухими долинами, разделявшими ее гребень на ряд неровных острых зубцов. Посредине, как главная башня крепостной стены, выдавалась отдельная отвесная гора. Ее изрытая вынуклая грудь была подставлена знойным ветрам широкой степи, а на самой вершине торчал совершенно белый зубец, слегка изогнутый и зазубренный. Он резко выделялся на фоне темных пород. Гора была значительно выше всех других, и ее острая белая вершина походила на высоко взметнувшийся в небо гигантский рог.

Усольцев долго смотрел на неприступную гору, мучимый стыдом. Он, геолог, исследователь, отступил, дрожа от страха, в тот самый момент, когда, казалось, был близок к успеху. И это он, о ком говорили как о неутомимом и стойком исследователе Тянь-Шаня! Как хорошо, что он поехал один, без помощников! Никто не был свидетелем его страха. Усольцев невольно огляделся кругом, но палящий простор был безлюден — только широкие волны ветра шли по заросшей чием степи и лиловатое марево неподвижно висело над уходившей на восток горной грядой.

Иноходец нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что же, Рыжик, пора нам домой, — тихо сказал геолог коню.

И тот, словно поняв, выгнул шею и двинулся вдоль уступа. Маленькие крутые копыта отбивали частую дробь по твердой почве. Быстрая езда успокаивала душевное смятение геолога.

С крутого спуска Усольцев увидел стоянку своей партии. На берегу небольшого ручья, под сомнительной защитой филигранных серебристых ветвей джиддовой заросли, были раскинuty две палатки и поднимался едва заметный столбик дыма. Подальше, уже на границе степи, стоял толстый карагач, словно обремененный тяжестью своей густой листвы. Под ним виднелась еще одна высокая палатка. Усольцев посмотрел на нее и отвернулся с привычным ощущением грусти.

— Ребята не вернулись еще, Арслан?

Старообразный рабочий-уйгур, мешавший плов в большом казане, подбежал к лошади.

— Я сам расседлаю, а то пригорит у тебя плов... Есть не хочу, жарко...

Узкие темные глаза уйгура внимательно взглянули на Усольцева.

— Наверно, опять Ак-Мюггуз¹ ездил?

— Нет... — Усольцев чуть-чуть покраснел. — В ту сторону, но мимо.

— Старики говорят — Ак-Мюггуз даже орел не садится: он острый, как шемшир², — продолжал уйгур.

Усольцев, не отвечая, разделся и направился к ручейку. Холодная прозрачная вода дробилась на острых камнях и издавала казалась лентой измятого белого бархата. Звонкое переливчатое журчание было исполнено отрады после мертвых, раскаленных долин и свиста ветра.

Усольцев, освеженный умыванием, улегся в тени под зонтом, закурил и погрузился в невеселые думы...

Сознание поражения отравляло отдых, вера в себя пошатнулась. Усольцев пытался успокоить свою совесть размышлением о признанной недоступности Белого Рога, но это ему не удалось. Глубоко задетый своей неудачей, он невольно потянулся к той, которая уже давно была его неизменным другом, но только... в мечтах.

¹ Ак-Мюггуз (уйгурск.) — Белый Рог.

² Шемшир — меч.

Сегодняшняя неудача надломил волю. Вопреки давно принятому решению, Усольцев поднялся и медленно пошел к высокой палатке под карагачом. Он вспоминал недавний разговор.

«Что пользы говорить об этом? — сказала она. — Все давно глубоко запрятано, покрылось пылью...» — «Пылью?» — гневно спросил Усольцев и ушел, не сказав ничего, чтобы не возвращаться больше. Это было два года назад, а теперь работа снова печально свела их вместе: она заведовала шлиховой партией, обследовавшей район его съемки. Уже больше двух недель палатки обеих партий стоят рядом. Но она так же далека и недостижима для него, как... Белый Рог.

И вот он, избегавший лишних встреч, обменивавшийся с ней только необходимыми словами, идет к ее палатке. Еще одно поражение, еще одно проявление слабости...

Ну, все равно!..

На ящичке у палатки сидела и шила полная девушка в круглых очках. Она дружелюбно приветствовала Усольцева.

— Вера Борисовна в палатке? — спросил геолог.

— Да, читает запоем весь день.

— Входите, Олег Сергеевич, — раздался из палатки мягкий, чуть насмешливый голос. — Я узнала вас по походке.

— По походке? — переспросил Усольцев, откидывая полу входа. — Что вы нашли в ней особенного?

— Она у вас такая же угрюмая, как и вы сами!

Усольцев вспыхнул, но сдержался и осторожно заглянул в строгие серые, с золотистыми искорками глаза.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, — поспешно проговорил Усольцев. — Вы ведь скоро уезжаете, я и зашел вас проводить на прощанье.

— А у меня сегодня был день приятного безделья. Мои поехали в Подгорный за почтой. Управление телеграфировало еще на прошлой неделе об изменении дальнейшего плана. Должны прислать подробное распоряжение. Работа здесь кончена, и мы на отлете... Вот прекрасная книга, прислали по почте. Я весь день читала. Завтра

тоже отдых, а там — в новые места, скорее всего на Кегень. Жаль, что здесь все было так неудачно. Нашли несколько кристаллов касситерита... и все. А месторождение, когда-то бывшее наверху, давно разрушено, снесено!

— Да, если бы уцелели более высокие вершины, — согласился Усольцев.

— Только Белый Рог, — вздохнула Вера Борисовна. — Но он неприступен, а сверху ничего не падает: должно быть, очень крепкая порода. Мой совет — просите сюда пушку, чтобы отбить кусок Рога, а то плохо ваше дело: секрет останется неразгаданным, — весело закончила она.

Усольцев протянул руку к лежащей на чемодане книге.

— «Восхождение на Эверест». Вот чем вы зачитывались весь день!

— Чудесная книга! На ее страницах лежит отблеск вечных гималайских вершин. Меня захватила... как бы вам сказать... не самая атака Эвереста, а постепенное внутреннее восхождение, которое проделали в душе — каждый по-своему — главные участники атаки. Понимаете, борьба человека за то, чтобы стать выше самого себя.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — ответил Усольцев. — Но ведь они так и не поднялись на самую вершину Эвереста?

Глаза Веры Борисовны потемнели.

— Да, с вашей точки зрения, это было поражением. Они сами признавали это. «Нам нет извинения, мы разбиты в этом честном сражении, побеждены высотой горы и разреженностью воздуха», — прочитала Вера Борисовна, взяв книгу из рук Усольцева. — Разве этого мало — выбрать себе высокую, невероятно трудную цель, пусть несоразмеренную с вашими данными? Вложить всего себя в ее достижение. Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!

Усольцев молча слушал.

— Но ведь только единицы способны на такие подвиги! — воскликнул он. — И Эверест, в конце концов, он тоже только один в мире.

— Неправда, это просто неправда! У каждого могут быть свои Эвересты. Неужели вам нужны примеры из нашей жизни? А война — разве она не дала героев, поднявшихся выше своих собственных сил!

— Но тот, настоящий Эверест, он безусловен для всех и каждого, — не сдавался Усольцев, — а в выборе своего Эвереста можно ведь и ошибиться.

— Это вы хорошо сказали! — воскликнула Вера Борисовна. Она насмешливо посмотрела на Усольцева. — В самом деле, представьте себе, вы вкладываете все, что у вас есть, в Эверест, а на деле это оказывается маленькая горюшка... ну, хоть вроде этих наших. Какой жалкий конец!

— Вроде этих наших? — вздрогнув, переспросил Усольцев.

И в тот же момент с потрясающей отчетливостью вспомнил, как всего несколько часов назад он распластался на крутом каменистом откосе, по которому, как дробь, катились мелкие угловатые кусочки щебня. Пытаясь удержаться, он прижимался к склону всем телом. Чувствовал, что при малейшем движении вниз или вверх он неминуемо сорвется со стометрового обрыва. Как медленно текло время, пока он, собирая всю волю, боролся с собой и наконец, решившись, толчком бросился в сторону, покатился, перевернулся и повис, вцепившись скрюченными пальцами в трещины камня.

Одинокая молчаливая борьба в смертной тоске...

Усольцев вытер выступивший на лбу пот и, не прощаясь, ушел...

* * *

Четыре головы склонились над придавленной камешками картой. Палец прораба царапал бумагу сломанным ногтем.

— Сегодня мы дошли наконец до северо-восточной границы планшета. Вот здесь эта долина, Олег Сергеевич. Там опять сброс, впритык стоят древние диориты. Сле-

довательно, конец нашего островка метаморфической толщи¹ — последняя точка.

Прораб начал развязывать мешочки, торопясь до темноты показать образцы.

Усольцев разглядывал изученную до мельчайших подробностей карту. За извивами горизонталей, стрелками, за цветными пятнами пород и тектоническими линиями перед геологом вставала история окружающей местности. Совсем недавно — что такое миллион лет по геологическим масштабам! — низкое, ровное плоскогорье раскололось гигантскими трещинами, вдоль которых большие участки земной коры задвигались, опускаясь и поднимаясь. На севере образовался провал; теперь там, в этой котловине, течет река Или и расстилается широкая степь. К югу от того места, где стоят их палатки, поднимается уступами хребет, как гигантская лестница. На самых высоких уступах работа воды, ветра и солнца разрушила ровные ступени, образовав беспорядочное скопище горных вершин. Верхние пласты на этих горах снесены. Они рассыпались и легли рыхлыми песками и глинами на дно низкой котловины. Но вот этот первый уступ должен хранить под покровом наносов те породы, которые исчезли на горах: его поверхность не подвергалась размыву. Если бы пробить верхний покров уступа шурфом или шахтой — ведь он не более тридцати метров толщины! Но, для того чтобы предпринять такую работу, нужно знать хотя бы приблизительно, что обещает исчезнувшая на горах верхняя толща. Ответ на этот вопрос может дать только Белый Рог: на его неприступной вершине уцелел маленький островок верхних слоев. Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но

¹ М е т а м о р ф и ч е с к а я т о л щ а — пласты осадочных пород, измененных влиянием давления и температуры в более глубоких слоях земной коры.

ведь именно у подножия Ак-Мюнгуса были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...

Нет, тайну Белого Рога падо раскрыть во что бы то ни стало! Только на этой вершине лежит ключ к рудным сокровищам, погребенным спизу. Олово! Как нужно оно нашей стране! Это ясно сознает он, геолог. Значит, геолог и должен сделать то, чего не могут другие — те, кто не понимает всей важности открытия!

Усталые за день помощники Усольцева быстро заснули. Чистый холодный воздух опускался на теплую землю. Лунный свет струился зеленоватыми каскадами по темным обрывам. Усольцев лежал в стороне от палаток, подставляя ветру горящие щеки, и старался уснуть.

Он снова переживал неудачную попытку восхождения на Белый Рог. Он считал чудом свое спасение от неминуемой гибели и в то же время знал, что еще раз повторит попытку.

«Теперь же, на рассвете! — решил он. — Пока не зашла луна, нужно достать зубила».

Усольцев встал, осторожно пробрался между веревками палаток к ящику со снаряжением и, стараясь не шуметь, принялся рыться в нем.

От дальней палатки послышалось тихое пение. Усольцев прислушался: пела Вера Борисовна.

«Узнаешь, мой княже, тоску и лишения, великую страду, печаль...» — тихо разносился голос по выбеленной лунной степи.

Усольцев захлопнул ящик и вернулся на свое место.

«Нет, подожду немного, пока не уедет. Если разобьюсь, еще подумает что-нибудь... Будто я из-за нее полез... Тут еще этот разговор об Эвересте... Хорош Эверест — в триста метров высоты!»

* * *

— Куда мы сегодня поедем, Олег Сергеевич? — спросил Усольцева прораб.

— Никуда — планшет окончен. Даю вам два дня на приведение в порядок съемки и коллекций. Потом поедете в Киргиз-Сай за подводой.

- Значит, переберемся поближе к границе?
- Да, в Такыр-Ачинохо.
- Это хорошо, там места куда лучше: горы повыше и рощицы есть, не то что здешнее пекло. А вы сегодня будете отдыхать?
- Нет, проедусь вдоль главного сброса.
- К Ак-Мюнгузу?
- Нет, немного дальше.
- Знаете, я забыл вам сказать. Когда я был в Ак-Таме, мне рассказывал начальник погранотряда, что на Ак-Мюнгуз пробовали взбираться альпинисты. Приезжали какие-то спецы из Алма-Аты...
- Ну и что? — с нетерпением перебил Усольцев.
- Признали Белый Рог абсолютно неприступным.

* * *

Облако пыли поднималось за рыжим иноходцем. Усольцев ехал изучать непобедимого противника. Белый Рог повис над ним всей своей выдвинувшейся в степь громадой, словно чудовищный бык, старающийся подняться из захлестнувших его волн каменного моря. Прямо к подножию горы ветер накатывал клубки сухих колючих растений. Здесь когда-то зияла трещина, здесь терлись друг о друга два передвигавшихся горных массива. Следы этого трения остались на груди утеса, поблескивая полированным камнем. Темно-серые и шоколадные метаморфические сланцы, пересеченные тонкими жилами кварца, были наклонены внутрь горы и образовали мелкослоистую поверхность обрыва — стену из толких, плотно уложенных плиток. Как ни напрягал свое воображение Усольцев, но ни малейшей надежды подняться вверх хотя бы на полсотни метров с этой стороны Ак-Мюнгуза не было. Восточный отрог горы представлял собою острое, как нож, ребро, глубоко выщербленное в середине. Нет, единственный путь — с юго-западной стороны, из долины, отделяющей Белый Рог от других вершин, там, где Усольцеву уже удалось подняться почти на сто метров, то есть на треть высоты страшной горы. До вершины оставалось еще двести метров, и каждый из них был неприступен.

Закинув голову, Усольцев смотрел на острие горы.

Если бы иметь специальное снаряжение, крючья, веревки, опытных товарищей... Но где же взять все это? Альпинисты и те отказались от подъема на Белый Рог.

Усольцев повернул коня и поехал вокруг Ак-Мюнгуса к устью сухой долины. «Эверест, Номимо, Макалу, Кангченгюнга — высочайшие пики Гималаев, — думал он. — Что Гималаи? Совсем близко отсюда светящийся голубой Хап-Тенгри, алмазные зубцы Сарыджаса. Красивые, грозные снежные вершины. Мир прозрачного воздуха, чистого света. Все это как-то невольно настраивает на подвиг. А здесь — низкие, угрюмые, осыпанные обломками горы, тусклое, лиловое от жары небо, пыль и дрожащее степное марево... Нет, не нужно преувеличивать, и этот ветреный палящий простор тоже прекрасен, и в этих обломках старых, полуразваленных гор есть свое особенное, грустное очарование. Даже на висящих у горизонта бледных, простых по очертаниям облаках тоже печать сухой, грустной Азии, страны обнаженного камня и высокого, чистого неба».

В душном зное долины душу окутала тень пережитого здесь... Вот этот столб пегматитовой жилы, похожей на рваное мясо, пересекающей темную массу сланцев... По выступам этого столба с серебряными зеркальцами слюды он тогда добрался до идущей наискось второй жилы. Но дальше, дальше пути не было. Он попытался ползти по крутому склону, извиваясь, как червяк. Склон оказался покрытым мелкими кусочками щебня, катившимися от малейшего прикосновения, как дробь, и не дававшими ни малейшей опоры. Здесь чуть было и не произошла катастрофа...

Усольцев спешил и поднялся на противоположный склон долины. Нет, ничего не выйдет, не обойдешь вот эту крутизну. Если бы одолеть северо-западное ребро, то оттуда почти до самого Рога ровная поверхность склона. А какими силами удержишься на ребре? Кто спустит веревку с самого пика? Усольцев проследил взглядом за протянутым мысленно канатом и вдруг заметил у основания белого зубца небольшую площадку, вернее, выступ нижних черных пород, примыкающий к отвесной белой стенке. Поверхность площадки понижалась к зубцу и почти не была видна снизу.

«Странно, как я раньше не видел этой площадки? Правда, сейчас она не имеет значения: добраться до нее — это значит добраться до зубца».

Усольцев устал стоять и, найдя удобный выступ, уселся, не спуская глаз с горы.

* * *

— Какой прохладный вечер! — Прораб лениво развалился на кошке в ожидании чая.

— Так бывает на середине луны, — пояснил Арслан. — Потом пять дней дует сильный ветер оттуда. — Уйгур махнул рукой в сторону Или. — Бывает совсем холодно.

— Отдохнем от жары перед отъездом. Верно, Олег Сергеевич?

Усольцев молча кивнул.

— Товарищ начальник какой стал: сидит, молчит. Раньше почему был другой? — Уйгур засмеялся мелким смешком, но глаза остались серьезными. — Я понимаю: начальник Ак-Мюнгуз любит. Скоро ехать Ачинохо, как бросать будет? Баба лучше — собой тащить можно. Ак-Мюнгуз нельзя!

Молодежь расхохоталась; невольно улыбнулся и Усольцев. Ободренный успехом шутки, Арслан продолжал:

— У нас старый сказка есть, как один батур влез на Ак-Мюнгуз.

— Что ж ты раньше не говорил, Арслан? Расскажи! — воскликнул с интересом прораб.

— Джахши, чай готовлю, потом буду рассказать, — согласился Арслан.

Старый уйгур поставил на кошму чайник, вытащил пиалы, лепешки, уселся, скрестив ноги, и, прихлебывая чай, начал рассказ.

Несмотря на ломаную русскую речь Уйгура, Усольцев слушал с жадным вниманием. Воображение его наделяло легенду яркими, горячими красками. Такой она, вероятно, и была на самом деле у этих поэтических жителей Семиречья.

Усольцева поразило, что, по словам уйгура, все это произошло сравнительно недавно — лет триста назад. Легенда так отвечала его собственным мыслям, что геолог

не переставал думать о ней, когда все улеглись спать. Сон не шел. Усольцев лежал под яркими, близкими звездами, вспоминая рассказ Арслана и дополняя его новыми подробностями.

...Всей этой областью владел могучий и храбрый хан. Его кочевой народ обладал многочисленными стадами, постоянно умножавшимися благодаря удачным набегам на соседей. Однажды хан предпринял с большим отрядом далекое путешествие и дошел до Таласа. Недалеко от древних стен Садыр-Кургана хан наткнулся на целую орду свирепых джете¹. Завязался кровопролитный бой. Джете были разбиты и бежали. Хану досталась богатая добыча. Но больше всего радовался хан одной из пленниц, женщине необыкновенной красоты, возлюбленной побежденного предводителя. Она была похищена джете в Ферганской долине, на пути из какой-то далекой страны к своему отцу, служившему при дворе могущественного кокандского повелителя. Ее красота, совсем иная, чем у здешних жепщин, околдовывала и зажигала сердца мужчин. Хан привез пленницу к родным горам, и здесь она, по древнему обычаю, стала любимой наложницей его и двух его старших сыновей.

Прошло два года.

Снега уже высоко поднялись на склонах гор, когда хан раскинул свой лагерь у края зеленой глади Каркаринской долины. К нему съезжались на пир владыки соседних дружественных племен. Все большее количество юрт вырастало на равнине.

Неожиданно к хану прибыл высокий мрачный воин. Он приехал совершенно один, не на коне, а на огромном белом верблюде с короткой мягкой, как шелк, шерстью. Странен был и наряд его: лицо обвязано черным платком, на голове — золоченый плоский шлем со стрелой, широкая кольчуга спадала почти до колен, обнаженных и стянутых черными ремнями. Меч, два кинжала, маленький круглый щит и большой топор на длинной рукоятке были его вооружением. Приезжий потребовал, чтобы его провели к хану. Несторопливо сложил он на белую кошму свое оружие, опустил на шею платок, закрывавший лицо, почтительно и смело поклонился владыке.

¹ Джете — в древности так назывались крупные разбойничьи отряды или племена.

Его суровое лицо было отмечено следами большого и тяжелого жизненного пути — пути воина и начальника, пути храбреца, неспособного на низкие поступки. Хан невольно залюбовался чужеземцем.

— Великий хан, — сказал приезжий, — я приехал к тебе из далекой жаркой страны, где страшный пламень солнца жжет мертвые пески на берегах горячего красного моря. Трудны были мои поиски. Целый год блуждал я по горам и долинам от Коканда до синего Иссык-Куля, пока слухи и рассказы не привели меня к тебе. Скажи, у тебя ли находится девушка, прозванная вами Сейдюрush, взятая у джете Таласа?

Хан утвердительно наклонил голову, и воин продолжал:

— Эта девушка, хан, моя нареченная невеста, и я поклялся, что никакие силы неба и ада не разлучат меня с нею. Три года воевал я на границах Индии и в страшной пустыне Тар, вернулся и узнал, что родные, не дождавшись меня, послали ее к отцу. Снова пустился я в далекий и опасный путь, сражался, погибал от жажды и голода, прошел множество чужих стран — и вот я здесь, перед тобою. Быстро мчится река времени по камням жизни. Я уже не молод, но все по-прежнему бесконечно сильна моя любовь к ней. Скажи, о хан, разве не заслужил я ее этим трудным путем? Верни мне ее, могущественный повелитель, — я знаю, не может быть иначе: она тоже долго и верно ждала моего возвращения.

Легкая улыбка пробежала по грозному лицу хана. Он сказал:

— Благородный воин, будь моим гостем. Останься на пир, сядь в почетном ряду. И после, вечером, тебя проведут ко мне, и сбудется, что пачертал аллах.

Суровый воин принял приглашение. Веселье гостей возрастало. Наконец появились певцы. После любимой песни хана о горном орле зазвучали песни, восхваляющие Сейдюрush, возлюбленную хана и его сыновей. Хан украдкой взглядывал на чужеземца и видел, как все больше мрачнело лицо воина. Когда старый певец — гордость народа — пропел о том, как любит и ласкает Сейдюрush своих повелителей, чужой воин вскочил и крикнул старику:

— Замолчи, старый лжец! Как смеешь ты клеветать на ту, у которой недостойн даже ползать в ногах?

Ропот негодования пронесся по толпе гостей. Старшие вступились за оскорбленного певца. Пылких юношей возмутило презрительное высокомерие воина. Двое джигитов яростно бросились на чужеземца. Сильной, не знающей пощады рукой он отбросил нападавших, и вот на пиру хана засверкали мечи. Воин огромным прыжком метнулся к своему оружию, схватил щит и длинный топор. Прижавшись спиной к стене, встретил толпу врагов. Они разбились о него, как волны о твердый камень, отхлынули, бросились вновь. Два, три, пять человек унали, обливаясь кровью, а воин был невредим. С быстротою молнии рубил он направо и налево, повергая лучших джигитов. Все более грозным становилось лицо воина, все страшнее удары его топора. Но тут хан властным окриком остановил нападавших.

Нехотя отступила разъяренная толпа, сжимая мечи. Опустил топор и чужеземец и стал перед лицом врагов, неподвижный и страшный, обогранный кровью.

— Чего хочешь ты, чья дерзкая самонадеянность пролила столько крови? — гневно спросил хан.

— Правды, — ответил воин.

— Правды? Хорошо. Так знай же, я, не сказавший никогда лживого слова, говорю тебе: все, что пели певцы, — истинная правда!

Вздрогнул чужеземец, выронив топор и щит. Старым и измученным стало его лицо.

— Что же, ты по-прежнему просишь отдать ее тебе? — спросил хан.

Воин сверкнул глазами и выпрямился, как распрямляется согнутый арабский клинок.

— Да, хан, — был твердый ответ.

В жестокой усмешке оскалил хан зубы:

— Хорошо, я отдам ее тебе, но ты заплатишь за это дорогой ценой.

— Я готов, — бесстрашно ответил воин.

Хан задумался.

— Теперь год быка ¹, — обратился он к гостям. — Помните пророчество, написанное над входом древнего гумбеза, который стоит вблизи Ак-Мюнгуза? «В год быка,

¹ Мусульманский календарь солнечного года имеет двенадцатилетний цикл, каждый год которого называется по имени животного.

кто положит свой меч на рог каменного быка, пронесет свой род на тысячи лет». Несколько храбрецов погибли, пытаясь выполнить эту задачу, но Ак-Мюнгуз остался недоступным. Вот твоя плата, храбрец, — повернулся хан к неподвижно слушавшему воину, — поднимись на Ак-Мюнгуз и положи мой золотой меч на его вершину, исполни древнее пророчество, и тогда — слово мое твердо! — ты получишь женщину.

Радость и страх охватили присутствующих. Приказ хана звучал смертным приговором.

Но чужеземец не дрогнул. Его мрачное лицо осветилось гордой улыбкой.

— Я понимаю тебя, хан, и выполняю твою волю. Только знайте, ты, повелитель, и вы, его подданные: каков бы ни был конец — я сделаю это не ради своей любимой, не ради Сейдюрush. Я иду защищать поруганную ею честь своей гордой родины, вернуть в глазах вашего народа славу моей далекой страны. Милость всемогущего бога будет вести меня к высокой и славной цели!

По приказу хана оружейники принесли его знаменитый золотой меч, чтобы сохранился он навеки на вершине Ак-Мюнгуса. Залили салом волка пошны, обвинили просмоленной тканью. Множество народа поехало к Ак-Мюнгuzu. До него был целый день пути, и только к вечеру хан и его гости слезли с утомленных коней на широком уступе у подножия страшной горы. Хан приказал чужеземцу отдохнуть, и тот безмятежно проспал ночь под стражей воинов.

Наутро выдался хмурый, ветренный день. Словно само небо гневалося на дерзость храбреца. Ветер свистел и стонал, обвывая неприступную кручу Ак-Мюнгуса. Чужеземец разделся и, оставшись почти обнаженным, привязал к спине ханский меч, а сверху накинул свой широкий белый бурнус.

И он сделал то, чего не удавалось ни одному храбрецу за все время, пока стоит Ак-Мюнгуз: он положил меч на вершину рога и спустился обратно. Шатаясь, стоял он перед ханом, весь изодранный, окровавленный. Хан сдержал слово — к чужеземцу привели Сейдюрush. Она испуганно отшатнулась при виде его. Но воин властно привлек ее к себе, открыл ее прекрасное лицо и впился в него мрачным взглядом. Затем, мгновенно выхватив спрятанный за поясом острый нож, он пронзил сердце своей

невесты. С яростным воплем сыновья хана бросились к чужеземцу, но отец гневно остановил их:

— Он заплатил за нее величайшей для человека ценой, и она его. Пусть уедет невредимым. Верните ему оружие и верблюда.

Чужеземец гордо поклонился хану, и вскоре его белый верблюд скрылся за далеким отрогом Кетменя...

* * *

Иноходец раскачивался под Усольцевым, копыта скользили по камням. Облака быстро бежали по небу, гонимые могучим напором ветра. Закрытые от солнца, горы выглядели суровыми и хмурыми.

Усольцев спешил и нежно погладил иноходца, поцеловал его в мягкую верхнюю губу. Затем оттолкнул голову лошади, хлопнул по крупу. Рыжий конь отошел в сторону и, изогнув шею, смотрел на хозяина.

— Иди пасись, — строго сказал ему Усольцев, чувствуя, как горло сдавливает волнение.

Геолог снял лишнюю одежду, привязал к руке молоток. Он был пужен для забивания зубил на твердом обрыве Белого Рога и потом — если удастся...

Усольцев сбросил ботинки. Острые камни скоро изрежут ему ноги, но он знал: если он влезет, то только босиком. Геолог повесил на грудь мешок с зубилами и двинулся к красному столбу пегматитовой жилы.

Окружающий мир и время перестали существовать. Все физические и духовные силы Усольцева слились в том гибельном для слабых последнем усилии, достигнуть которого не часто дано человеку. Прошло несколько часов. Усольцев, сотрясаемый дрожью напряжения, остановился, прижавшись к отвесной каменной груди утеса. Он находился уже много выше места, откуда повернул направо при первой попытке. От главной жилы отходила тоненькая ветвь мелкозернистого пегматита, пересекавшая склон наискось, поднимаясь вверх и налево. Ее твердый верхний край едва заметно выступал из сланцев, образуя карниз сантиметра в два-три шириной. По этой жилке можно было бы приблизиться к срезу западной грани горы там, где она переламывалась и переходила в обращенный к степи главный северный обрыв Белого Рога. Выше склон становился как будто не столь

крут, и была надежда подняться по нему на значительную высоту.

Усольцев предполагал забить в трещинах сланцев выше тонкой жилки несколько зубил и с их помощью удержаться на карнизе.

И вот, прилепившись к стене на высоте ста пятидесяти метров, геолог понял, что не может отнять от скалы на ничтожную долю секунды хотя бы одну руку. Положение оказалось безнадежным: чтобы обойти выступавшее ребро и шагнуть на карниз, нужно было ухватиться за что-то, а вбить зубило он не мог.

Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал нависший над ним обрыв. В глубине души поднималось отчаяние. И в тот же миг ярко блеснула мысль: «А как же сказочный воин? Ветер... Да, воин поднялся в такой же бурный день...» Усольцев внезапно шагнул в сторону, перебросив тело через выступ ребра, вцепился пальцами в гладкую стену и... качнулся назад. С болью, будто разрываясь, напряглись мышцы живота, чтобы задержать падение. В ту же секунду порыв вырвавшегося из-за ребра ветра мягко толкнул Усольцева в спину. Схватченное смертью тело, получив неожиданную поддержку, выпрямилось и прижалось к стене. Усольцев был на карнизе. Здесь, за ребром, ветер был очень силен. Его мягкая мощь поддерживала геолога. Усольцев почувствовал, что он может двигаться по карнизу жилы, несмотря даже на подъем ее вверх. Он поднялся еще на пятьдесят метров выше, удивляясь тому, что все еще не упал. Ветер бушевал сильнее, давя на грудь горы, и вдруг Усольцев понял, что он может выпрямиться и просто идти по ставшему менее крутым склону. Медленно переставляя окровавленные ступни, Усольцев ощущал ими кручу и сдвигал в сторону осыпавшуюся вниз разрыхленную корку. Медленно-медленно поднимался он все выше. Ветер ревел и свистел, щепень, скатываясь, шуршал, и Усольцева охватило странное веселье. Он словно парил на высоте, почти не опираясь на скалу, и уверенность в достижении цели придавала ему все новые силы. Наконец Усольцев уперся в гладкую отвесную стену высокого цоколя. На этом цоколе, все еще на большой высоте, стремился в облака острый конец Рога. Усольцев отметил, что белая масса Рога вблизи казалась испещренной крупными черными пятнами. Но это впечатление сейчас же



*Распростертый на скале, геолог с тревогой рассматривал
нависший над ним обрыв.*

стерлось радостью при мысли о том, что все его двенадцать зубил сохранились неизрасходованными. Стена примерно на высоту десяти метров была настолько плотна и крута, что никакие силы не помогли бы ему преодолеть это препятствие. Опытный глаз геолога легко находил слабые места каменной брони — трещины кливажа¹, места соприкосновения различных слоев. Усольцев забивал сюда зубила поглубже. Он взял с собой только самые тонкие и легкие зубила, а достаточно было одному из них сломаться, и...

Поднявшись по зубилам, геолог был вынужден перейти на южную сторону каменной башни. Головы слоев² образовывали небольшие уступы — возможность дальнейшего подъема. Здесь ветер, бывший до того верным союзником, стал опасным врагом. Только прикрытие скалы спасло Усольцева от падения под ударами ветра. Несколько раз геолог срывался с осыпавшихся выступов и долго висел на руках, обливаясь холодным потом и судорожно нащупывая пальцами ног опору. Все большее число смертоносных метров подъема уходило вниз. Наконец Усольцев в последних отчаянных усилиях, дважды соскальзывая и дважды мысленно прощаясь с жизнью, сумел опять переброситься на западную сторону вершины и, вновь подхваченный ветром, уцепился за края площадки у основания Рога. Не думая о победе, без мыслей, словно оглушенный, он подтянулся на руках и повалился на наклонную внутрь ровную поверхность величиной с небольшой стол. Он долго лежал, изнуренный многими часами смертельной борьбы, слыша только однообразный резкий вой ветра, разрезаемого острым лезвием Рога. Потом в сознание вошли низко летящие над вершиной облака. Усольцев поднялся на колени, повернувшись лицом к загадочной белой породе. Она была теперь перед ним, упиралась в его плечо, вздымалась еще на несколько метров вверх. Ее можно было ощупать рукой, отбить сколько угодно образцов.

Достаточно было одного взгляда, чтобы распознать в белой породе грейзен — измененный высокотемпературными процессами гранит, перенасыщенный оловянным кам-

¹ К л и в а ж — система трещин разной величины, провизывающих породу.

² Г о л о в ы с л о е в — края наклонных слоев, срезанных обрывом или какой-либо поверхностью.

пем — касситеритом. В чисто белой массе беспорядочно мешались серебряные листочки мусковита¹, жирно блестящие топазы, похожие на черных пауков «солица» турмалинов и — главная цель его предприятия — большие, массивные бурые кристаллы касситерита. Этот грейзен обладал особенностью, ранее неизвестной Усольцеву: от самого гранита почти ничего не осталось, его место занял молочно-белый кварц, очень плотный и крепкий.

«Похоже на полностью измененную пластовую интрузию², — подумал Усольцев. — Если это так, то месторождение, скрытое под степью, внизу, может быть огромным».

Геолог взглянул вниз. Гора спадала круто и внезапно; основание ее тонуло в клубящейся пелене поднятой ветром пыли. Усольцев стоял как бы на неимоверно высоком столбе, ощущая беспредельное одиночество. Ему казалось, что между ним и миром там, внизу, оборвалась всякая связь. И действительно, между ним и жизнью лежала еще не пройденная смертная грань; спуск был опаснее подъема. И еще он подумал о том, что если ему суждено будет вернуться в жизнь, он вернется другим — не прежним. Сверхъестественное напряжение, вложенное им в достижение цели, как-то изменило его душу.

С усилием отбросив эти мысли, Усольцев принялся выполнять долг исследователя. Много труда стоило ему обнаружить тонкие, как ниточки, трещины в стекловидной слитности кварца. Вслед за этим под настойчивыми ударами молотка вниз с грохотом полетели крупные куски белой породы. Усольцев внимательно следил за их падением: они подскакивали на гранях горы и, свистя, летели в долину. Геолог отметил места их падения на плане, набросанном в записной книжке, затем аккуратно записал элементы залегания пород вершины, начертил контур предполагаемого месторождения и прибавил несколько слов о направлении поисков.

Он открыл первую страничку и поперек нее крупно и четко написал: «Внимание! Здесь данные об открытом мною месторождении Белого Рога», положил книжку в карман и застегнул пуговицу. На секунду мелькнула

¹ Мусковит — белая слюда.

² Пластовая интрузия — вторжение расплавленной лавы между слоями осадочных пород. После остывания сама изверженная порода залегает в виде пласта.

картина: как поворачивают его разможенный труп, ищут в карманах документы... Усольцев невольно зажмурился, разматал взятую с собой веревку. Она была коротка, но все же ее должно было хватить на спуск по отвесному основанию Рога до вбитых им зубил.

«Где же закрепить веревку? Вот за этот выступ? Выгоднее бы пониже, на самой площадке...»

В поисках трещины геолог начал разрывать молотком тонкий слой щебня. Ветер вым все сильнее, подхваченные им осколки щебня ударяли по лицу и рукам Усольцева. Молоток вдруг звякнул о металл, и этот тихий звук потряс геолога. Усольцев вытащил из-под щебня длинный тяжелый меч, золотая рукоять которого ярко заблестела. Истлевшие лохмотья развевались вокруг ножен. Усольцев оцепенел. Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды — встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцева. Немного спустя геолог почувствовал, как новые силы вливаются в его усталое тело. Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения. Усольцев накинул веревочную петлю на небольшой выступ белой породы. Осторожно поднял драгоценный меч, крепко привязал его за спину и, улыбаясь, положил на площадку свой геологический молоток...

У основания отвесного фундамента Белого Рога геолог остановился, выбирая путь. Прямо на Усольцева, гонимое ветром, двигалось облако. В полете огромной белой массы, свободно висевшей в воздухе, было что-то неизъяснимо вольное, смелое. Страстная вера в свои силы овладела Усольцевым. Он подставил грудь ветру, широко раскинул руки и принялся быстро спускаться по склону, стоя, держа равновесие только с помощью ветра, в легкой радости полета. И ветер не обманул человека: с ревом и свистом он поддерживал его, а тот, переступая босыми ногами, пятная склоп кровью, спускался все ниже. С бредовой невероятной легкостью Усольцев достиг узкого карниза, миновал и его. Тут ветер угас, задержанный выступом соседней вершины, и снова началась отчаянная борьба. Усольцев скользил по склону, раздирая тело, кроша погги, переворачивался, задерживался, снова сползал. Сознание окружающего исчезло совсем, осталось только ощущение необходимости цепляться изо всех сил

за каждый выступ каменной стены, судорожно искать под собой ускользающие точки опоры, с жуткой обреченностью прижиматься к камню, борясь с отрывающей от горы, беспощадно тянущей вниз силой. Никогда позже Усольцев не мог вспомнить конец своего спуска с Белого Рога. В памяти сохранился только самый последний момент. Больше не осталось ни сил, ни воли. Усольцев коснулся ногами острого выступа камня, качнулся назад, отпустил изодранные руки и полетел вниз...

* * *

...Он открыл глаза и увидел над собой золотое утробное небо. В небе, совсем низко, так, что виднелись растопыренные перья крыльев, кружил большой гриф.

Усольцев долго смотрел на птицу, прежде чем сообразил, что гриф спустился на этот раз прямо к нему. Нет! Он не только не погиб — он победил Белый Рог, и гриф не властен над ним.

Усольцев попытался сесть. Что-то мешало ему. Геолог нащупал привязанный за спиной меч, освободился от него и сел. И сразу ему вспомнились переживания вчерашнего дня. У него закружилась голова. С ужасом увидел Усольцев свои обезображенные, почерневшие от крови ноги и руки, изодранную и перепачканную кровью одежду. Сделав несколько движений, он убедился, что кости целы. Тогда, не обращая внимания на рвущую боль в ступнях, геолог встал. Он услышал приветливое ржание своего коня и снова погрузился во мрак.

...Холодная вода лилась на лоб, попадала в рот. Усольцев глотал без конца, утоляя ненасытную жажду. Открыв глаза, он снова увидел над собой голубой небосвод, на этот раз уже дышавший дневным жаром, и испуганное лицо старого уйгура. Геолог поднялся на колени. Уйгур отступил от него с почтительным страхом.

— Чего ты боишься, Арслан? Я живой.

— Где ты был, начальник? — спросил Арслан.

— Там! — Усольцев поднял руку к небу. Над долиной торчал черный с теневой стороны выступ Ак-Мюнгуса. — Вот, смотри! — Он протянул уйгуру меч с золотой рукояткой.

Половина ножен отвалилась при спуске, из-под расстрескавшейся бурой корки блестела драгоценная голубая

сталь — сталь легендарных персидских оружейников, секрет изготовления которой ныне утрачен.

Старик опустил на колени, не притрагиваясь к мечу.

— Что же ты? Бери, смотри, — повторил геолог.

— Нет, — затряс головой уйгур, — никакой человек не смеет брать такой шемшир, только батуры, как ты...

* * *

Два больших шарообразных карагача, веером расходясь из одного корня, стояли на краю поселка. За ними поднимался затянутый голубой дымкой вал Кетменского хребта. Иноходец Усольцева миновал последний поросший полынью холм. Узенькая степная тропка влилась в мягкую пыль наезженной дороги. Дорога поворачивала налево и у края зеленых садов соединялась с другой, направлявшейся на юг мимо промоин и обрывов красных глин. Над ней вздымалось облачко желтой пыли — крытая циновкой подвода катилась из Подгорного. Кто-то ехавший по краю дороги верхом вдруг повернул коня и понесся обратно, наперерез Усольцеву. Геолог натянул поводья. К нему подъехала Вера Борисовна.

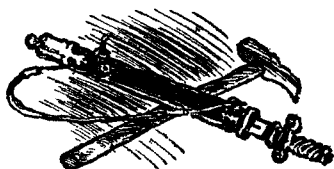
— Я вас узнала издалека. — Она внимательно присматривалась к нему. — Куда вы едете?

— Я еду в управление. Нужно немедленно организовать тяжелую разведку Белого Рога.

Усольцев впервые смотрел на нее спокойно и смело.

— Я поняла, что совсем не знаю вас... — негромко сказала Вера Борисовна, сдерживая пляшущую лошадь — Я видела вашего Арслана... — Она помолчала. — Когда встретимся осенью в управлении, я буду очень просить вас подробно рассказать о Белом Роге... и золотом мече... Ну, мой уже далеко. — Она поглядела вслед подводе. — До свидания... батур!

Молодая женщина прищипорила коня и умчалась. Геолог проводил ее взглядом, тронул иноходца и въехал в поселок.





БУХТА РАДУЖНЫХ СТРУЙ

Покинув библиотеку, профессор Кондрашев поднялся на следующий этаж и направился в свою лабораторию. Длинный коридор со множеством белых дверей по обеим сторонам был полуосвещен и тих. Лишь несколько сотрудников задержались, оканчивая срочную работу.

Профессор прошел к столу, втиснутому между двумя химическими стойками, и устало опустился в кресло. Газовые горелки едва слышно шипели, колба и стаканы сияли химической чистотой, наводящей трепет на непосвященных. Безупречность помещения, приспособленного к размышлениям и опытам, успокаивала, и горьковатый осадок в душе профессора исчез. Он еще раз мысленно перебрал основные положения своей последней опубликованной книги, стараясь беспристрастно оценить сделанные ему критические замечания.

В этой книге профессор Кондрашев отстаивал необходимость широкого изучения скрытых свойств различных растений, в особенности древних форм растений, являющихся пережитками, реликтами еще более древних эпох существования Земли. Подобные растения, живущие сейчас в тропических и субтропических странах, могут оказаться носителями очень важных и ценных свойств, вы-

работавшихся в приспособлении к иным условиям существования десятки миллионов лет назад. В качестве примера профессор приводил растения, обладающие очень ценной древесиной и являющиеся пережитками древнетретичной эпохи (шестьдесят миллионов лет назад): у нас, в Закавказье, — самшит и «железняк», в южных странах — тик, гринхирт, черное африканское дерево, японское гингко с его еще не изученными целебными свойствами, существовавшее более ста миллионов лет назад.

Эта работа профессора Кондрашева подвергалась резкой критике со стороны авторитетных ученых, и сейчас в угрюмом молчании профессор признался себе, что его критики во многом правы. Положения работы основывались больше на горячем убеждении, а фактического материала, требуемого железными законами научного мышления, увы, было маловато.

В то же время профессор Кондрашев был уверен в правильности своих положений. Да, больше убедительных фактов... Вот если бы иметь в руках доказательства действительного существования «дерева жизни» средних веков! В шестнадцатом и даже в семнадцатом веках еще было известно это дерево, обладавшее чудесными, необъяснимыми свойствами. Чаши или бокалы, сделанные из него, превращали налитую в них воду в чудесный голубой или огненно-золотистый напиток, излечивавший многие болезни. Происхождение этого дерева и вид растения оставались неясными. Тайной дерева владели иезуиты, дарившие волшебные деревянные чаши королям, добываясь от них пожертвований и привилегий.

Дерево это в старинных сочинениях Монардеса, изданных в Севилье в 1754 году, а также у Атаназиса Кирхериуса называется по-латыни «лигнум вите» или «лигнум нефритикум», что по-русски значит «дерево жизни» или «почечное дерево».

По одним сведениям, оно происходило из Мексики, по другим — с Филиппинских островов. Действительно, у ацтеков было известно чудесное целебное дерево, под названием «коатль» («змеиная вода»). Профессор вспомнил опубликованные опыты с чашей из почечного дерева, сделанные знаменитым Бойлем, описавшим явления голубого свечения налитой в чашу воды и тогда же отметившим, что это не краска, а какое-то еще необъяснимое физическое явление.

— Можно, Константин Аркадьевич? — раздался знакомый женский голос, и в двери мелькнули светлые кудряшки и вздернутый носик Жени Пановой.

Способный научный работник и в то же время хорошенькая женщина, Панова имела успех не только у молодежи, но и у более почтенных по возрасту сотрудников института. Профессор Кондрашев, сам не зная, по каким обстоятельствам, пользовался ее особой симпатией.

— Послушайте, дорогой Константин Аркадьевич, не огорчайтесь... Я знаю, чем вы опечалены... Но, мне кажется, вы слишком обгоняете тот уровень науки, который определяется наличным фактическим материалом.

— Я знаю сам, что нетерпелив! — буркнул Кондрашев, слегка задетый замечанием и недовольный вмешательством. — Вы-то можете ждать, но мне уже маловато времени осталось. А чудес, внезапных открытий в мире не бывает. Только один медленный труд познания, подчас тоскливый...

Желая переменить разговор, Панова вытащила из сумочки два билета.

— Константин Аркадьевич, поедете в филармонию. Там сегодня Чайковский — моя любимая «Березка». Вы ее тоже любите. А Сергей Семенович нас подвезет, он сейчас едет. Я и побежала за вами... — Она дружески улыбнулась.

В девять часов они были в филармонии. Скрипки пели о русской беспредельной природе, о покое медленных и широких рек, обрамленных темными лесами, под низко стелющимися хмурыми облаками, о трепетании свежей, как радостное обещание, зелени стройных берез... И Кондрашев, смирившись в своем нетерпении, думал о неотвратимой безудержности знания, которое все шире и дальше распространяется по бескрайним равнинам неизвестного, захватывая все большие массы людей...

— Я всегда убегаю слушать музыку, если на душе тяжело, — шепнула Панова.

Профессор улыбнулся и уже с удовольствием посмотрел на нее. В антракте, когда они шли по коридору, из встречного потока людей выделился загорелый человек в морской форме. Кондрашев заметил необычный загар его энергичного лица и весело блескующие глаза. Моряк —

вернее, морской летчик, судя по крыльям, нашитым на его рукаве, — увидев Панову, мгновенно очутился перед ними, восклицая:

— Жень, Жень!

Девушка вспыхнула и рванулась к нему, но тут же сдержалась, подала ему обе руки:

— Борис! Откуда ты взялся?

Профессор почувствовал себя лишним и направился в курительную. Он успел докурить папиросу, прежде чем Панова с летчиком разыскали его.

— Познакомьтесь. Это Борис Андреевич, мой большой, большой друг. И знаете, Константин Аркадьевич, он летал очень далеко, только что вернулся и видел нечто необычайное. Как бы чудо, которое вы сегодня отрицали, действительно не случилось... Но это замечательно — разыскать меня здесь!.. Всего три часа, как приехал... — торопясь и несколько бессвязно говорила девушка.

Профессор с удовольствием пожал руку моряку, приятный вид которого... да, он безусловно производил приятное впечатление.

Они обменялись обычными при первом знакомстве незначительными словами, но девушка нетерпеливо перебила:

— Борис, вы не понимаете... если есть у нас хоть один человек, который может объяснить ваше необыкновенное открытие, то это только Константин Аркадьевич!

Все трое оказались у профессора на квартире, и здесь летчик подробно и обстоятельно рассказал о своем путешествии. Уже начало рассказа заставило профессора радостно насторожиться.

Всего два с половиной месяца назад молодой, но уже занимающий крупный командный пост морской летчик Борис Андреевич Сергиевский получил очень важное задание. Позднее, когда станет возможным предать огласке то, что мы сейчас должны хранить в тайне, подобные предприятия войдут в историю как примеры беззаветного мужества исполнителей и мудрой дальновидности руководства.

Борис Андреевич был назначен в дальний беспосадочный полет для доставки ценного груза, от скорости при-

бытия которого зависело многое в сложных судьбах войны с фашистами.

Мутный день соответствовал унылой картине окружающего. Низенькие дома поселка терялись среди больших темных елей. Повсюду торчали свежеспиленные пни. Беспросветные облака застилали все кругом и, осаждаясь, расплывались у самых верхушек леса редкими бесформенными клочьями. Остро пахло лесной прелью, под ногами хлюпала размокшая болотистая почва и с неприятной бесшумной податливостью оседал толстый слой мха. Шаги приобретали четкость лишь на грязно-серой лепте бетонной дорожки, испещренной там и сям радужными кольцами масляных пятен.

Сергиевский с радостью окинул взглядом свою машину, уже вырулившую на старт. Самолет был высотный, пассажирского типа, по бокам его толстого фюзеляжа виднелись небольшие окна. Спереди фюзеляж заканчивался сплошным металлическим конусом, в верхней части перерезанным застекленной полосой. Длинные приподнятые крылья несли каждое по два мотора, защищенных широкими кольцами полированного дюрала. Их трехлопастные винты медленно вращались. Позади резко выделялся очень высокий руль. В своем обнаженном серебряном сверкании самолет был вызывающе красив, подобный дерзкому альбатросу.

Командование аэродрома явилось на проводы. Сергиевский оглянулся на торжественные и серьезные лица провожающих и с улыбкой посмотрел на часы. Все было готово. Последние, такие жадные затяжки — и папироса полетела в лужу. Сергиевский решительно подошел к самолету.

Тревожное напряжение долгой и тщательной подготовки отошло, настало время действовать. Облегченно вздохнув, летчик бросил взгляд на хмурое небо. Там, за тучами, на огромной высоте, на которой он поведет своего альбатроса, сияет яркое летнее солнце...

Несколько четких команд, и герметические двери захлопнулись, мягко зашипел проверяемый радистом край уравнивателя воздушного давления, затем все потонуло в оглушительном реве тысячесильных моторов.

Двадцатитонный серебряный альбатрос легко оторвался от земли, повинаясь едва заметному движению руки пилота, и почти мгновенно исчез в непроницаемой,

облачной мгле. Гирогоризонт в матовой серой панели автопилота показал крутой наклон; стрелки альтиметров неуклонно ползли вверх. Застывший окна туман вдруг начал розоветь, перешел в палевую дымку, и наконец голубой яркий свет хлынул через наклонные стекла. Прорбитая толща облаков осталась под самолетом. Верхушки хаотических нагромождений облаков по близине не уступали горному снегу, глубокие впадины и провалы тускло серели. На высоте семи тысяч метров Сергиевский лег на курс, перевел моторы на крейсерские обороты и включил автопилот.

Второй летчик, Емельянов, занимавший правое сиденье, спял наушки и, хмурия высокий залысый лоб, пытался ослабить слишком тугую пружину. Сидевший позади Емельянова штурман неторопливо шелестел справочником.

Сергиевский откинулся в мягком кресле, изредка взглядывая на приборы. Перед самолетом лежали тысячи миль пути над океаном, прежде чем снова ляжет под его крыльями чужая, но гостеприимная земля. Часы над проемом центрального стекла показывали восемь. Еще полчаса, и начнется опасный район. Там, в синеве безмятежного неба, рыскают немецкие воздушные хищники. Хотя высотный альбатрос и был оборудован четырьмя пулеметами, все же встреча с проворными «мессерами» представляла грозную опасность...

Сергиевский думал не о себе, а о драгоценном грузе, лежавшем за его спиной в кабине. Между тем товарищи Сергиевского спокойно занимались своими обязанностями, не разговаривая и даже не обмениваясь жестами. Все словно молчаливо условились, что до того, как опасный район останется позади, рассуждать, собственно, не о чем. Наиболее озабоченный вид был у механика, сосредоточенно следившего за бесчисленными стрелками своих приборов.

Серебряный альбатрос неся с огромной скоростью. Успокоительно и ровно гудели моторы. Толстый слой облаков по-прежнему висел между землей и самолетом. Изредка в нем темнели глубокие провалы с рваными краями. В них мелькала далекая и безразличная к людям в самолете земля, с высоты полета казавшаяся плоским темным полем без всяких подробностей.

Так прошел час, кончался второй. Самолет находился уже глубоко внутри опасного района, размеры которого были, увы, слишком велики. Стрелки до боли в глазах вглядывались в чистую синь неба и белизну облаков. В двадцать минут одиннадцатого Сергиевский резко выпрямился в кресле, твердо сжав штурвал:

— Внимание! Три неприятельских самолета!

Далеко впереди, перед кудрявившимся белым облачным скатом, возникли три маленькие черные черточки. Властная воля к борьбе соединила в одно целое маленькую группу людей, наглухо замкнутых в просторной кабине. Емельянов, смотревший в бинокль, вдруг громко и презрительно сказал:

— Эти нам не страшны, Борис!

Снова тысячи сил и тысячи оборотов сотрясли самолет. Метнулась направо стрелка указателя скорости подъема, спидометр качнулся налево. Самолеты врага приблизились, расходясь в стороны. Сергиевский наконец прекратил подъем, и машина устремилась вперед с прежней скоростью, оставив внизу мрачных преследователей, напрасно пытавшихся достичь ее потолка.

Белая равнина облаков, сгладившаяся и оставшаяся далеко внизу, разорвалась на гигантские пухлые куски. Под ними тусклым оловянным листом лежало море, а налево такой же, только более темного оттенка, полосой с причудливыми вырезами виднелась земля.

Все дальше и дальше уходил самолет, пересекая опасную зону. Курс был изменен. Взяв к югу, Сергиевский увеличил скорость. Еще немного — и самолет углубится в океан, оставив за собой район действий противника. Беспредельная гладь океана как бы остановила летящий самолет своим подавляющим однообразием. Волны с семикилометровой высоты не были заметны, матовая блестящая поверхность воды казалась выпуклой. Впереди виднелся облачный фронт, суливший перемену в спокойной обстановке полета. Однако перемена наступила раньше.

Число пройденных километров перевалило за три тысячи, когда в воздухе снова возникли угрожающие черные точки, а далеко-далеко внизу показались крошечные силуэты военных судов. Два вражеских самолета, задрав носы, начали набирать высоту, а третий держался поодаль впереди, у изогнутого края плотного длинного

облака. Время словно прекратило свой размеренный бег.

Все последовавшее произошло как бы в одну секунду невероятного напряжения. Тупые хлопки пулеметных очередей, хлеставших самолет поперек фюзеляжа, едва донеслись сквозь шум моторов. Сергиевский наклонил машину и резко бросил ее влево. Одновременно заревели пулеметы обеих турелей. Еще поворот — на миг в окне мелькнул «мессершмитт», углом падающий вниз; затем альбатрос понесся с нарастающим ревом вниз в пологом нике, быстро сближаясь с третьим вражеским самолетом. Снова взревели пулеметы — мимо лица Сергиевского пролетело что-то горячее, брызнули во все стороны осколки, и альбатрос нырнул в густую белесую мглу.

Сергиевский почувствовал почти твердую струю холодного воздуха, бившую в лицо, и понял, что в носу кабины пробоина. Самолет продолжал мчаться в непроницаемом облаке; моторы по-прежнему тянули свою победную песнь. Вот, вызывая тревогу, блеснул яркий солнечный свет, но навстречу снова надвигалась облачная стена. Еще и еще вспыхивало и исчезало сияние солнца, пока самолет окончательно не зарылся в глубь многокилометровой толщи облаков, шедших с запада высоко над океаном. Ровный полет сменился ныряющим потряхиванием: воздух был песнокоен и словно старался сбросить много-тонную тяжесть корабля.

Сжавшееся от напряжения тело Сергиевского ослабевало. Он выровнял самолет, бросил взгляд на гирокомпас и застыл от изумления: вся верхняя часть стойки с приборами представляла собой нагромождение истерзанного металла. Сергиевский обернулся. Поток бронебойных и разрывных пуль, разбив переднюю часть кабины, пронесся, видимо, дальше — между пилотами — и ударил в основание стойки турели, где была смонтирована радиоустановка. Радист лежал на разбитом аппарате, прижав руку к щеке. Механик, не обращая внимания на выступившую на плече кровь, с сосредоточенным видом тушил слабо горевшие обломки, а второй пилот Емельянов хмуро ощупывал руку сквозь разорванный рукав комбинезона. Уже стучало в ушах и не хватало дыхания — давление в пробитой кабине унало, сравнявшись с разреженным высотным воздухом, и без кислородных аппаратов долго удержаться на этой высоте было нельзя.

Пока товарищи забивали широкую пробоину в носу самолета и персвязывали раненых, Сергиевский, убедившись, что толщина облаков достигает такой высоты, на которой самолет с пробитой кабиной держаться не может, начал снижаться.

Положение самолета было тяжелым вследствие гибели основных ведущих приборов и повреждения радиоустановки. Без солнца лететь над лишенным ориентиров океаном было почти все равно, что лететь слепым полетом. Пока налаживали уцелевший магнитный компас, Сергиевский мечтал о птичьем чувстве направления. Каким особым чутьем руководятся птицы при своих долгих полетах в дождь и туман над морем? Выработается ли это чувство у человека, тоже ставшего птицей?

Магнитный компас, несмотря на очевидно изменившуюся после такого сотрясения и смещения девиацию, все же давал, хотя бы в пределах четверти горизонта, ту линию направления, без которой самое совершенное искусство слепого полета становится опасной и неверной игрой...

Вокруг темнело. Начинаясь шторм. Вот по окнам заструилась вода; потоки ее хлестали по самолету, легкая пена тумана уступила место мутной, серой водяной пелене. Емельянов со штурманом, отчаявшись привести в порядок радиоустановку, принялись извлекать и налаживать аварийную. Механик, балансируя на правом кресле, пытался исправить не работавшие, но уцелевшие приборы.

Тьма сгущалась. Самолет вздрагивал от резких толчков. На высоте двухсот метров окна посветлели: машина выходила из облаков. Еще пятьдесят метров — и внизу показались извилистые белые гребни волн. Океан продолжал бушевать. Под угрюмо нависшими тучами, в узкой щели между облаками и громадными волнами, самолет, подобно настоящему буревестнику, прокладывая свой путь со стремительной силой. Машину бросало и покачивало, обломки и незакрепленные вещи перекатывались по кабине.

Порывы ветра, заглушаемые гулом моторов, с яростной силой набрасывались на самолет и беспильно скользили по гладким полированным, заметно вибрировавшим крыльям. Замечательная конструкция самолета позволяла ему садиться и на воду; по вынужденный спуск в

безумном метании вздыбленных вод был гибельным даже и для летающей лодки. Впрочем, летчиков занимали сейчас совсем другие мысли: сложные расчеты возможных ошибок ненадежного магнитного компаса, дрейф воздушного корабля, расход горючего...

Сергиевский передал управление Емельянову (рана второго пилота была пустяковой), а сам вместе со штурманом склонился над развернутыми картами. Аварийная радиоустановка почему-то никак не хотела действовать, и серьезно раненый радист не мог помочь летчикам. День угасал, туман над океаном густел, а все еще ни один радиопеленг не зазвучал в наушниках.

— Давайте английскую карту две тысячи девятьсот двадцать семь! — распорядился Сергиевский.

Зубчатые голубые, красные линии штурмов и пассатов перекрещивались со стрелками на квадратной сетке карты. Вычисления были недостаточно точны — слишком мало давали показания уцелевших навигационных приборов. Однако гостеприимный берег — там, далеко впереди — простирался на тысячи миль. Отклониться настолько сильно на юг и на север, чтобы миновать его, было невозможно. Взвесив все, Сергиевский успокоился.

Две лампочки в потолке кабины ярко освещали разбитые щитки приборов. Океан скрылся, отступив в темноту, в которой лишь угадывалось его опасное присутствие. Уже тысячи километров водной пустыни остались позади, но внизу по-прежнему были одни волны, только волны — вечное дыхание необъятной массы воды.

Полет продолжался более полусуток, и далекая цель, несмотря на задержку самолета в бою и штормовые условия полета, должна была значительно придвинуться.

Время ползло медленно, гораздо медленнее, чем стрелки указателей расхода горючего. Больше трех тонн бензина еще находилось в баках самолета, но это было уже много меньше половины первоначального запаса. Расход горючего был чересчур высок: встречный ветер мешал самолету двигаться с нужной скоростью.

Сергиевский пытался успокоить себя разумными рассуждениями, что все равно ничего не поделаешь — нужно лететь и лететь, а там видно будет. Погода не благоприятствовала определению места самолета: область циклона осталась позади, но высокие облака закрывали звезды. Ночь тянулась бесконечно, времени для тревожных

мыслей оставалось утомительно много. Девятнадцать часов полета — и все еще никаких признаков береговых огней!

Теперь было ясно, что не только шторм задержал самолет, но еще и отклонение от нужного курса. Сергиевский повернул немного к северу, пытаясь выправить предполагаемое отклонение к югу.

Безупречные моторы работали, как в первый час полета, хотя сделали уже три с половиной миллиона оборотов. Оставалось всего полтонны бензина, а берега все нет.

Рассвет наступил быстро. Солнечный багрянец залил половину океана позади самолета. Прозрачное утро, казалось, несло надежду и радость. А стрелки бензиномеров все ползли и ползли налево, к грозной для пилота цифре — белому кружку нуля с толстой чертой, подчеркивающей страшный символ: горючего больше нет!

Отсутствие земли казалось невероятным и тем не менее было совершенной реальностью. Еще немного — и могучая сила моторов погаснет, бешено крутящиеся воздушные винты остановятся и воздушный корабль беспомощно рухнет в волны. Волны словно ждали своей добычи — плавно и мерно вздымались они из глубин океана, застывая на миг, перед тем как снизиться, будто пытаясь достать низко летевший над ними самолет.

Появление солнца дало возможность определиться.

— Двадцать семь градусов широты! — воскликнул Сергиевский. — Мы взяли порядочно к югу... Самое важное для нас долгота, а с ней-то хуже — примерно семьдесят девять западной... Ну, товарищи, должна быть видна земля.

Пилот набрал высоту. Действительно, едва заметная, похожая на неподвижный гребешок высокой волны темная полоска возникла на горизонте. К ней жадно устремились взгляды воспаленных, усталых глаз. Емельянов поднял бинокль, и Сергиевский увидел, как летчик облегченно вздохнул. Полоска темнела и утолщалась. Вот ее верхний край стал неровным — обнаружили закругленные вершины гор или холмов. Еще двадцать минут — и белая пена прибоя стала отчетливо видна. Моторы, черная последние литры бензина, гулко ревели, набирая высоту для решающей минуты вынужденного спуска. Сесть

на воду у берега было нельзя — мощные волны бились о тупые выступы темных камней; крутятся в провалах и трещинах, отбегали назад извивы пенящихся струй.

Выше полосы прибоя берег вздымался гранеными уступами, с густым зеленым ковром по распахнутым вверх склонам ущелий и неглубоких долин. Здесь тоже ничто не указывало на возможность благополучной посадки. За прибрежными горами местность понижалась и, насколько хватал глаз, была покрыта сплошным лесом. Местами блестели на солнце зеркальные пятна болотной воды. Направо, в отблесках моря, очень далеко на севере, выступал узкий мыс, на котором угадывалось белое возвышение, сделанное человеческими руками, — возможно, башня маяка.

Сергиевский заметил уже ясно вырисовывавшиеся на берегу деревья. Это были пальмы. Стрелки бензиномеров трепетали на нуле, — товарищи Сергиевского из всех сил качали ручные насосы, не отрывая взгляда от своего командира. Слева берег заворачивал внутрь суни и отклонялся на запад. Самолет перелетел гребнистый и длинный, покрытый пальмами мыс, и в этот момент неожиданно наступила тишина. Моторы остановились. Только крайний левый еще издал несколько стреляющих всплесков, перед крыльями замахали лопасти пропеллеров, словно предупреждая о том, что больше держать корабль в воздухе они не могут.

— Прыгать по очереди через левую дверь. Емельянов, распорядись! — приказал Сергиевский, толкнул штурвал вперед и повел тяжелую машину вниз по пологой линии, стараясь протянуть спуск как можно дольше и в то же время избежать роковой потери скорости.

В грозной тишине спускался самолет. Он покачнулся. Справа взвились вверх зеленые выступы гор. Еще немного — и блестящий металл красивой птицы сомнется, разлетится на бесформенные куски вместе с исковерканными трунами летчиков. Но экипаж самолета безмолвствовал затаив дыхание, не решаясь расстаться с прекрасной машиной и надеясь на искусство пилота. А Сергиевский, отдав приказ, уже не думал о людях, весь уйдя в полное надежды усилие сохранить самолет и его груз. Две-три секунды земля приближалась... Но тут пилот заметил небольшую спокойную бухту, огражденную лесистыми выступами берега от ударов прибоя. Решение



В грозной тишине спускался самолет.

вспыхнуло мгновенно: поворот, еще больший наклон самолета вниз — и земля помчалась навстречу...

Сергиевский резко рванул штурвал на себя, осадив огромную машину, как послушного коня. Не выпуская шасси, самолет задел низкий лесок на выступе берега в грохоте ударов и треске ломающихся деревьев. Обессиленная серебряная птица смяла деревья, как траву, тяжело плюхнувшись в воду бухты и скользнула по ней среди брызг. Пробежав полторы сотни метров, она остановилась совсем близко от высокого противоположного берега. В последнюю секунду движения Сергиевский еще успел выпустить шасси, чтобы использовать малейшую возможность задержать инерцию тяжелого корабля. Маневр удался: огромная машина легла на прозрачную голубоватую воду, слегка накренившись на правое крыло.

Самолет еще покачивался и вздрагивал, когда летчики выбрались на крыло. Гнетущая тяжесть ответственности свалилась с души Сергиевского. Он расправил плечи, радуясь ослепительному солнцу, ласковой воде и буйной тропической зелени. Глубина воды под самолетом не превышала трех метров, колеса шасси уперлись в плотный песок постепенно поднимавшегося дна. Герметическая кабина не пропускала воды, а носовая пробоина находилась выше уровня осадки самолета.

— С прибытием, товарищи! — весело сказал Сергиевский. — Правда, не совсем к месту назначения, но это не беда. Могло быть и хуже. А сейчас мы где-то во Флориде...

Зной, причудливые формы незнакомых растений и без пояснений говорили о далеком юге.

Все происшедшее за последние сутки казалось быстро промелькнувшим сном.

— Ну, Робинзоны, еще раз осмотрим самолет и поспим немного. Рекомендую раздеться, не то сваримся в комбинезонах.

Посоветовавшись с механиком и вторым пилотом, Сергиевский решил после отдыха подпереть хвостовую часть и правое крыло какими-нибудь стойками для обеспечения полной безопасности машины от увязания в грунте во время отлива.

Полдненное солнце нагрело самолет, ослепительно отражаясь от его полированной поверхности. Летчики вылезли, отдуваясь, наружу. Раненому радисту стало лучше,

и он был удобно устроен на сквозняке между двумя вынутыми окнами.

Летчики разложили складную резиновую лодку, готовясь отправиться на берег за подпорками для машины. Сергиевский оставил одного из стрелков дежурить в самолете и, поднявшись на верхнюю часть левого крыла, оглядел бухту, выбирая наиболее подходящие деревья.

Гладкая вода бухты имела сердцевидный контур. В середине берегового выступа возвышалась крутая скала с тонкими, изогнутыми пальмами. Направо когтеобразный мыс порос перистыми деревьями, сплошь покрытыми белыми цветами. Мыс пересекала широкая дорога, проложенная самолетом. Обломанные вершины, вывороченные с корнем деревья и нагроможденные у края воды свежерасщепленные стволы привлекли внимание Сергиевского. «Много материала для стоек наготовили», — усмехнувшись, подумал летчик. Некоторые обломки деревьев были отброшены далеко в глубь бухты — такова была сила удара самолета, прочность его корпуса.

— Да, если бы не этот пружинящий забор... — вслух сказал сам себе Сергиевский и, не докончив мысли, поглядел на противоположный берег бухты, о который неминуемо бы разлетелась вдребезги длиннокрылая машина.

Погрузившись в лодку, летчики медленно двинулись по зеркальной воде, нехотя морщившейся вокруг. Там, где в прозрачной воде громоздились расщепленные обломки деревьев, придавленные сверху целым лесным завалом, летчиков поразила невероятная, незабываемая картина.

Ровный, плотный песок на дне давал однотонную, казавшуюся бурой поверхность сквозь голубеющую воду. Над ней во всех направлениях в пронизывающих воду солнечных лучах изгибались и двигались, переплетались и перемешивались струи глубочайшего синего и огненно-золотистого цвета.

Небольшой песчаный бугорок на дне, под грудой изломанных стволов, был окаймлен светло-синим полукольцом, заполненным клубами искрящегося золота и чистой сипи. Временами между золотом и синью мелькали извивы алых, пылающе-пурпурных и изумрудно-зеленых струй. Сказочная симфония сверкающих красок переливалась, отсвечивала, клубилась и струилась,

приковывая взгляд своим почти гипнотическим очарованием.

Ошеломленные невиданным зрелищем, летчики долго не могли отвести взгляд, пока наконец Сергиевский решительным толчком не ввел лодку прямо в клубящееся золото. Налево два облака, отброшенные в глубину бухты и воткнувшиеся в дно, стояли почти вертикально, и вокруг них извивались те же струи золота с синью, только более узкие и прозрачные.

Сладкое благоухание таинственных деревьев распространялось в воздухе, усиливая впечатление чудесного. Вода в этом уголке бухты опалесцировала слабыми, как бы разведенными во много раз, но такими же безупречно чистыми красками золота, сини и пурпура.

Сергиевский и его товарищи вошли в мелкую воду у берега и принялись выбирать подходящие для стоек обломки деревьев. Стволы не были толстыми — всего шесть-семь сантиметров в диаметре, — с очень плотной и тяжелой древесиной. Сердцевина дерева была темно-бурого цвета и окаймлялась почти белым наружным слоем.

Механик, найдя расщепленный пополам ствол, погрузил его для опыта в воду. Сначала — первые две-три минуты — в воде медленно распространилось едва заметное голубое опалесцирующее облачко, затем от ствола начали отделяться маленькие радужные струйки.

Так вот разгадка чудесных красок в воде бухты — присутствие расщепленной древесины загадочного дерева! Сергиевский внимательно смотрел на берег, стараясь запомнить очертания деревьев. Ничего особенного не было в их раскидистых ветвях, перистых листьях и гроздьях белых цветов.

Вдруг откуда-то из-за мыса донесся слабый, но отчетливый шум, который нельзя было спутать ни с каким другим звуком, — мотор! Далекое гудение было ровным и сильным, несомненно приближавшимся к бухте.

— К самолету! Скорее! — скомандовал Сергиевский.

С левого крыла, приподнявшегося над водой, виднелись волны, размеренно и непрерывно катившиеся на берег. Обогнув длинный восточный мыс, серый моторный катер неожиданно рассек плавные волны белым пенящимся буруном. Нос, высоко поднявшийся над водой, слабо покачивался, под ним лежала черная тень, а метал-

лические части оружейной и прожекторной установок горели туманными огоньками.

Катер повернул, моторы стихли, и маленькое судно подлетело к самолету. На носу его выросли крупные фигуры моряков береговой охраны в белых куртках и широких трусах, казавшихся легкомысленным нарушением необходимой суровости военной формы.

Переговоры не затянулись, и катер исчез так же быстро, как появился, а спустя некоторое время два куцых гидросамолета тяжело опустились на воду большой бухты, в километре к западу от «бухты радужных струй». Раненый и часть груза были взяты на гидросамолеты, в баки советской машины влило две тонны бензина. Оставалось ждать прибытия двух судов, для того чтобы во время отлива отбуксировать самолет из маленькой бухты через узкий проход между рифами.

Короткие сумерки сменились густой темнотой. Сергиевский спохватился, что нужно взять с собой образец волшебного дерева, иначе все виденное в бухте скоро покажется невероятным сном. В ожидании восхода луны летчик поднялся на крыло самолета и увидел отчетливое голубое сияние, распространившееся в воде вокруг стоек, подпиравших крыло и хвост самолета. Удивленный новым проявлением чудес бухты, пилот поглядел в сторону сокрушенного самолетом леса. Окруженное темной водой, яркое голубое пятно горело там, где днем сверкали извивы радужных струй.

Сергиевский опустился в лодку и поплыл к светящемуся пятну. Вокруг расщепленных стволов вода казалась облаком светящегося голубого газа, бросавшим серебристый отблеск на лицо и руки Сергиевского. Света, испускаемого водой, было достаточно, для того чтобы ориентироваться, и летчик быстро отобрал несколько кусков древесины, не забыв прихватить и ветки с листьями и цветами.

Во время работы по буксировке самолета из бухты Сергиевскому было не до расспросов, а потом, когда «бухта радужных струй» осталась позади, летчику уже не удалось узнать ничего вразумительного. Дерево, о котором он рассказывал, было знакомо местным жителям под названием «сладкое дерево». Оно встречалось здесь редко, и никто не слышал о чудесных свойствах его древесины.

Медленно и осторожно, вместе с отливом, серебряный корабль был выведен на простор спокойного моря, и рев моторов потряс безмятежный тропический берег.

Альбатрос покинул навсегда чудесную бухту и вскоре перенес обратно через океан всю маленькую группу людей, удостоенных судьбой увидеть одно из неизвестных чудес природы.

* * *

Профессор Кондрашев повернулся на высоком стуле к входившему в лабораторию Сергиевскому и молча протянул ему стойку с пробирками, на дне которых лежали маленькие кусочки волшебного дерева, привезенного летчиком.

В воде переливались и блестели струйки и облачка огненно-желтого и синего цветов, иногда переходившие в зеленовато-желтые или сверкающие голубые тона.

— Похоже на вашу бухту? — вопросительно улыбнулся профессор.

— Не совсем, — серьезно ответил летчик. — Там краски и свечение были куда ярче.

— А, конечно, — спохватился Кондрашев, — ведь в бухте вода-то морская! — и капнул в пробирки по нескольку капель какого-то раствора.

Синь тотчас сгустилась и из прозрачной стала почти непроницаемой для глаза, а желтые облачка показались отлитыми из червонного золота.

— Оказывается, — пояснил профессор, — добавление в пресную воду небольшого количества щелочей резко усиливает способность дерева окрашивать воду. Впрочем, это не краска, а какое-то особое вещество, еще не разгаданное наукой. Его способность светиться и опалесцировать может оказаться весьма ценной. Дерево мне удалось определить — оно сродни обыкновенным серым орехам, но является очень древним представителем этой группы и называется «эйзенгартия». Эйзенгартия существовала не менее шестидесяти миллионов лет назад. Сейчас это кустарник, широко распространенный на юге Соединенных Штатов и не обладающий никакими чудесными свойствами — очевидно выродившийся в неблагоприятных условиях жизни. И вот оказывается, что в Южной Мексике, на Юкатане, и очень редко там, где вы были, эта

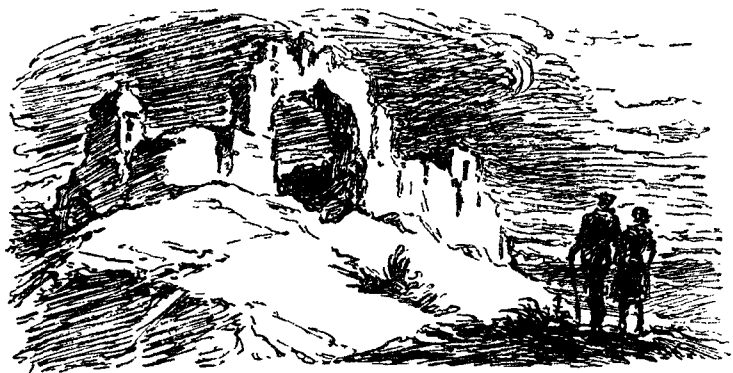
же самая эйзенгартия сохранилась в виде небольшого дерева, так же как в древние эпохи своего существования. Это дерево обладает особыми, уже знакомыми вам свойствами. Именно оно и представляет собою «коатль» ацтеков, или «дерево жизни» средневековых ученых. Вам, дорогой, принадлежит честь открытия — вернее, возобновления открытия этого ценного растения.

Профессор встал и торжественно извлек из стеклянного шкафчика небольшой бокал из темной древесины эйзенгартии.

— Вам, — продолжал он, наливая в бокал чистую воду из колбы, — по праву надлежит первому выпить волшебный напиток, сохранявший здоровье средневековых владык...

Вода в темном бокале казалась зеркальцем глубочайшей синевы. Сергневский, смущенно улыбаясь, принял бокал из рук профессора и, не колеблясь, осушил до дна.





ОБСЕРВАТОРИЯ НУР-И-ДЕШТ

В тормозах громко зашипел воздух, размеренный стук колес перешел в непрерывный гул. Облако снежной пыли поднялось за окном вагона.

Разговор оборвался, и подполковник выглянул в окно, порозовевшее в лучах низкого закатного солнца. Но поезд набирал скорость и безостановочно мчался, пesia пассажиров навстречу новым боевым судьбам нового, 1943 года.

Один из собеседников, военный моряк, вышел в коридор и сел на откидную скамеечку, думая о неизгладимой суровости войны, на все налагавшей свой отпечаток.

Около него остановился сосед по купе, молодой высокий майор-артиллерист. Еще при первой с ним встрече моряка поразила сдержанная энергия, исходившая от всей ловкой и стройной фигуры майора. Глаза, казавшиеся особенно светлыми на сильно загорелом лице, были удивительно спокойными, но в глубине их светилась какая-то сила, которую моряк с самого начала определил как проявление упорной радости жизни, надежно прикрытой привычной выдержкой.

Майор протянул моряку руку.

— Лебедев, — сказал он. — Я слышал ваш разговор с соседями и их нападки на вас. Мне понравилось, что вы

утверждаете право человека на радость. Я думаю, ваши противники правы. Но правы, разумеется, и вы. Такова жизненная диалектика. Чувство радости сейчас реже других чувств приходит к людям... Тем более что человеческая радость иной раз зависит от совершенно необъяснимых на первый взгляд причин.

Поколебавшись, он добавил:

— Я расскажу вам любопытное происшествие, одним из действующих лиц которого довелось быть мне самому, и совсем недавно.

Стемнело. Они вошли в купе и заняли свои места на верхних полках. Наглухо закрытые шторы придавали купе, едва освещенному единственной лампочкой, особенно уютный вид. Моряк лежал на верхней полке против майора и слушал рассказ, до того не подходящий к окружающей обстановке, что временами сознание как бы раздваивалось, улета в далекую солнечную и просторную страну...

— Я был призван на третьем месяце войны, — рассказывал майор Лебедев. — Прошел тяжелый путь отступления в непрерывных боях. Семь месяцев пули и осколки снарядов врага щадили меня. Не стоит рассказывать обо всем пережитом... До войны я был геологом, поклонником непокорной нашей природы, мечтателем. Трудная для тихой души военная страда, разрушения и зверства, чинимые на моей родной земле полчищами захватчиков, едва не сломили меня. Но все же я справился и скоро стал закаленным, подобно сотням моих боевых товарищей. И моя мечтательность, казалось, навсегда покинула меня. Я сделался жестким, мрачным. В душе осталась какая-то тяжкая пустота — пустота, которая заполнялась только в боевых схватках с врагом, только удачными налетами моих батарей.

В марте я был серьезно ранен и на несколько месяцев вышел из строя. После лечения в госпитале я получил отпуск и был направлен на отдых, на курорт в Среднюю Азию. Я протестовал, доказывал необходимость немедленной отправки меня на фронт, говорил о том, что совершенно одинок, — ничто не помогло.

Словом, в конце июля тысяча девятьсот сорок второго года я оказался в поезде, мчавшем меня по просторным казахстанским степям навстречу жаркому солнцу.

Я часто стоял по ночам у открытого окна. Ветер, пахнувший полынью, сухой и свежий, приветливо обвеивал меня. Легкая степная темнота подчеркивала древнее безлюдье равнины. Но я, я был весь там — далеко на западе.

Все же извечная безмятежность природы сделала свое дело, и к концу недели своей поездки я как-то внутренне немного смягчился, а главное — стал с большим вниманием смотреть на окружающий мир.

После Арыси дневная духота в раскаленном вагоне сделалась мучительной, и я с удовольствием высадился поздней ночью на небольшой станции. Автобус из санатория должен был прийти только утром. Мягкую прохладу южной ночи не хотелось менять на ночлег в станционном зале. Я уселся на чемодане у фонарного столба и, вдыхая ночную свежесть, оглядывался кругом. Поезд задерживался. Пассажиры прогуливались по хрустящему гравию в свете фонарей. Закурив папиросу, я разглядывал пассажиров.

Девушка, прошедшая несколько раз по перрону, привлекла мое внимание красивым сочетанием зеленого платья, красноватой бронзы загара и пепельных светлых волос.

В ней было что-то выделявшее ее из толпы. Я и сейчас помню свое первое впечатление: пожалуй, это была радостная свежесть, переполнявшая все ее существо.

Она несомненно кого-то искала. Вот она остановилась, встряхнула короткими волосами и, подняв к фонарю круглое лицо, забавно падула губы. Почувствовав мой пристальный взгляд, девушка открыто взглянула на меня, отвернулась и пошла обратно.

Поезд ушел. Красный огонь хвостового вагона затерялся среди темных бугров; фонари, за исключением двух, погасли. Я еще некоторое время посидел на своем чемодане в сумраке затихшей станции. На душе впервые после долгого времени было как-то спокойно — то ли от прохладной темноты вокруг, то ли от ощущения простора ночной степи.

Мне стало холодно, и я неохотно направился к станции. Крошечный зал был едва освещен. За низкой деревянной перегородкой, в отделении для раненых, никого не было. В открытое окно свободно врывался ветер. Я прилег на скамейку, но спать не хотелось. В полутемном зале прозвучали легкие шаги. Я обернулся и узнал

встреченную на перроне девушку. Она посмотрела на занятые спящими узбеками скамьи и нерешительно подошла к перегородке моего отделения. Я поднялся ей навстречу и пригласил устроиться на свободной скамье. Девушка поблагодарила и уселась на скамью, откинув назад голову и плотно сжав колени. С ее появлением мне показалось, что эта затерявшаяся в степи станция стала менее пустой. Девушка как будто не собиралась спать. Я решился задать ей несколько обычных дорожных вопросов, на которые она ответила коротко и с неохотой. И все же постепенно мы разговорились. Татьяна Николаевна, или просто Таня, была аспиранткой Института восточных языков в Ташкенте и сопровождала в экспедиции знаменитого профессора-археолога. Профессор исследовал развалины древней астрономической обсерватории, построенной около тысячи лет назад в предгорьях хребта, в двухстах километрах от станции. В обязанности Тани входило восстанавливать и переводить арабские надписи, попадавшие на стенах и камнях развалин.

— Вам не кажется смешным после фронта, после этого, — она легонько притронулась к моей руке, висевшей на перевязи, — что люди занимаются сейчас такими делами? — Она смущенно взглянула на меня.

— Нет, Таня, — возразил я. — Я бывший геолог и верю в высокое значение науки. А еще: значит, мы с товарищами хорошо защищаем нашу страну, раз вы имеете возможность заниматься своим делом, далеким от войны...

— Вот как вы думаете! — улыбнулась Таня и замолчала, погрузившись в задумчивость.

— Вы говорили, что обсерватория далеко в степи. Как же вы сюда попали? — возобновил я прерванный было разговор.

Таня довольно подробно рассказала мне об экспедиции на древнюю обсерваторию. Состав экспедиции был немногочислен: профессор, Таня и ее пятнадцатилетний брат, работавший в качестве съемщика планов. Рабочих достать, конечно, было очень трудно. Несмотря на желание помочь экспедиции, ближайший колхоз дал только двух стариков. Но после двух недель работы старики вернулись в свой колхоз. Другие отказались идти, и, таким образом, работа по расчистке развалин прервалась. Профессор послал письмо в свой институт с просьбой выслать

одного научного работника, оставшегося в Ташкенте для подготовки диссертации, чтобы произвести несколько несложных расчисток и завершить работу. Вот Таня и выехала встречать нового товарища. Прошли уже два поезда, но никто не приехал. Таня послала телеграмму в Ташкент с запросом и ждет утром ответа.

— Вот и все, — сказала девушка, сдерживая вздох огорчения. — Как все это неудачно! Если бы вы знали, какая интересная работа и какое чудесное место Нур-и-Дешт!.. Нур-и-Дешт — это название развалин обсерватории. Означает оно «Свет пустыни».

— А если место чудесное, как вы говорите, так чего же сбежали ваши старики?

— Там бывают подземные толчки, довольно сильные и частые. Кругом все дрожит, где-то глубоко в земле раздается сильный гул, мелкие камешки и земля сыплются со стен развалин. Наши рабочие считали эти толчки предвестниками большого землетрясения, от которого все погибнут...

Я задумался над ее словами и, когда снова хотел обратиться к ней с каким-то вопросом, увидел, что Таня тихо спит, склонив голову на плечо.

Я осторожно подсунул свернутую шинель под бок Тане, а сам перешел на соседнюю скамью, улегся и заснул...

Когда я проснулся, девушки не было. В зале прибавилось людей, заполнивших маленькое помещение своими пестрыми халатами и звуками незнакомой речи.

Я умылся и пошел узнавать насчет автобуса. Ничего утешительного я не узнал: автобус запаздывал, и его можно было ждать только после обеда. Я отправился бродить по станции, надеясь встретить где-нибудь Таню. Обошел кругом здания, вышел в степь, но начавшее сильно припекать солнце прогнало меня в тень деревьев станционного сада. Еще издали увидел я зеленое платье Тани у входа на телеграф. Девушка в раздумье сидела на каменном крыльце под акацией.

— Доброе утро. Получили телеграмму? — осведомился я.

— Получила... Семенов ушел в армию, и, значит, никто к нам не приедет. Что же я скажу Матвею Андреевичу? Он так надеялся!

— А кто это Матвей Андреевич?

— Мой начальник, профессор. О нем я вчера вам рассказывала, — с чуть заметной досадой сказала девушка.

Тут меня осенила идея, от которой мне стало сразу весело.

— Слушайте, Таня, возьмите меня в помощники! — сказал я. — Едва ли я буду хуже ваших стариков.

Таня удивленно взглянула на меня.

— Вас?.. Но ведь вы должны лечиться. И потом... — Девушка замаялась, остановившись взглядом на моей висевшей на перевязи руке.

Я поймал ее взгляд, вынул из перевязи руку и сделал несколько резких движений.

— Не беспокойтесь, Таня, рука у меня действует, а на перевязи висит, чтобы не затекала. Ее нельзя долго держать опущенной вниз, — пояснил я. — Я ведь еду не лечиться, а выздоравливать. Так не все ли равно, где? Вы же сами хвастались, что место хорошее этот ваш Нур-и-Депт.

Девушка колебалась. Серые глаза ее повеселели.

— Все будет хорошо, — шутливо продолжал я, — если только он, ваш профессор, не будет меня держать на пище святого Антония...

— Ну, что вы! Еды у нас много! Только как же все-таки с санаторием вашим? Потом, дорога к нам трудная...

— Чем это трудная? Ведь вы же в четвертый раз собираетесь проделать ее.

— А вы не смотрите, что я невысокая: я сильная, — отвечала Таня. — Туда знаете как ехать? Отсюда до совхоза ходят автомашины — это сто двадцать километров. От совхоза нам дают обычно лошадь до поселка Туз-Куль — маленький такой колхоз, дорога к нему прескверная: песок и камни. А от Туз-Куля приходится доставать верблюда и пробираться километров тридцать через безводные пески. Я терпеть не могу ездить на верблюде: сидишь, словно на огромной бочке, и качаешься взад и вперед, как маятник. А верблюд, вы знаете, идет ровно четыре километра в час, не меньше и не больше.

Долго убеждать Таню мне не пришлось, и еще задолго до захода солнца пустая трехтонка, мячиком подсакивая на выбоинах, понесла нас на юго-восток от голубоватой линии снежных гор, в противоположную от санатория сторону. Мы сидели на полу у кабины, весело переглядываясь: разговаривать было невозможно — отку-

спить язык. Рыжее облако густейшей пыли взвивалось за кузовом машины, расползалось и скрывало холмы, за которыми осталась станция. Часа через три пути темная полоска тополей, маячившая на горизонте, раздвинулась перед нами, открыв два ряда белых домиков, разделенных широкой, как площадь, прямой улицей. Пирамидальные тополя поднимали вверх правильные ряды зеленых башен, а справа и слева к поселку сбегали пологие склоны, щетинившиеся светло-желтыми пучками чия¹.

Машина остановилась у журчащего арыка, недалеко от конторы совхоза. Мне и сейчас приятно вспомнить простое, душевное гостеприимство в этом далеком совхозе. Мы решили ехать как можно позже: прохладная почва — самое хорошее время для пути. Увидев на дороге просторный тарантас, Таня тихонько засмеялась.

— Выгодный вы помощник, Иван Тимофеевич: почет какой — в тарантасе везут.

Агроном, тоже ехавший в колхоз, взял на себя обязанности ямщика; мы с Таней уселись в корзинку и двинулись навстречу слабому ветерку. Темная степь под низкими теплыми звездами окружила нас.

Вскоре я почувствовал, что плечо Тани стало часто прикасаться к моему. А затем и кудрявая головка ее мирно устроилась на моем плече. Время шло. Бархатный ветерок выпустил холодные когти. Предрассветный холод не дал нам уснуть как следует.

Туз-Куль не показался мне приятным местом. Голый бугор с редкими, недавно посаженными тополями был усеян низенькими домишками, обмазанными красно-бурой глиной. В шесть часов вечера мы двинулись в пески в сопровождении проводника с верблюдом, нагруженным продовольствием. Я решил последовать примеру Тани и пошел рядом с ней пешком. Невысокие песчаные бугры заросли какой-то колючкой голубого цвета. Идти было совсем нелегко, и я дивился выносливости моей спутницы. Ноги погружались в сыную массу, душный жар шел от песков, — легко можно было представить, каково идти здесь в жаркие часы дня. После короткого привала при свете высокой вечерней зари мы вошли в заросли сакса-

¹ Ч и й — высокий, растущий пучками злак среднеазиатских степей.

ула¹. Светящийся циферблат моих часов показал четверть первого, когда окончились пески и ноги с облегчением ощутили твердую почву каменистой полынной степи.

На высоте, вдалеке, виднелся красный огонек, окруженный облаком золотистой световой пыли.

— Это костер на площадке у палаток, — пояснила Таня. — Что-то наши долго не спят — должно быть, меня ждут.

В темноте раздался звонкий мальчишеский голос:

— Матвей Андреевич, Таня приехала!

Мое знакомство с профессором состоялось при свете костра. Это был маленький круглый человек с квадратным лицом. Умные глаза его прикрывали большие толстые стекла очков. Я несколько задержался, подгоняя ближе к костру унйравшегося верблюда. Профессор, поздоровавшись с Таней, крикнул в мою сторону:

— Показывайтесь, Семенов! Где вы там прячетесь? Рассказывайте, что в Ташкенте.

Я вышел в освещенный костром круг. Профессор откинулся назад, поправил очки и посмотрел на Таню:

— Кто это?.. А Семенов где?

— Семенов не приехал, Матвей Андреевич, — виновато, тонким голоском ответила Таня.

— Ничего не понимаю! Что за шутки? — начал сердиться профессор.

Я подошел к нему и, протягивая руку, назвал себя. Затем вкратце объяснил причину моего появления здесь.

— Что вы! Ну как же так? Вы майор, раненый, орденносец. Неудобно, мой друг, неудобно! — ворчал профессор, сердито поглядывая на Таню.

Та помалкивала.

— И, наконец, ваша рука... Гм! гм!.. Разве вы сможете работать?.. Вот уж не ожидал от вас, Таня, такого легкомыслия!

Я рассмеялся, схватил здоровой рукой тяжелый тук, снятый с верблюда, и легко поднял его над головой. Таня захлопала в ладоши. Профессор как будто смягчился.

— Ну, ну... Что мне с вами делать?

— Попробуйте на работе. Не подойду — выгоните, — смиренно произнес я.

¹ Са кса ул — очень своеобразное безлистное дерево, растущее в пустынных песках.

Таия фыркнула. Очки профессора блеснули, уставившись на нее.

— Ох, уж эти девы! Вечно они... Все ничего, а появится душка военный — и готово. Ну ладно, пейте чай, устраивайтесь, потом увидим.

В конце концов все обошлось. Когда профессор узнал, что я геолог и, следовательно, знаком с археологией, то и совсем забыл о неожиданности моего появления.

Наутро обсерватория Нур-и-Дешт показалась мне действительно на редкость приятным местом. На каменистом высоком холме стояла полукруглая стена с выступающей на ее задней стороне приземистой башенкой. Концы стены перекрывались сверху двумя массивными сводами, подпертыми толстыми кубическими основаниями. Между кубами сохранился красивый, в арабском стиле, портик, на котором еще оставались следы буквенной золотой вязи по бирюзовому фону. Между башенкой и сводами в почве была выкопана глубокая воронка, облицованная туфом. Большую часть воронки заполняла вогнутая вниз правильная мраморная дуга астрономического квадранта¹, спадавшая и снова подымавшаяся двумя полосами с углублением посередине. На боковых стенках дуги были высечены какие-то знаки и деления. Параллельно дуге спускались вниз мелкие, аккуратно высеченные ступеньки.

Профессор не стал задерживаться в обсерватории.

— Здесь мы уже все изучили, — сказал он мне. — Теперь место нашей работы будет вон там. — И он махнул рукой в оконечности правого крыла стены, около которой торчали остатки осыпавшихся сводов и стояла тонкая заостренная башенка. — Здание для астрономических наблюдений, как видите, хорошо сохранилось. Ну конечно, бронзовые части дуги квадранта и другие приборы давно расхищены, еще во времена монгольского нашествия. А тут, где мы будем продолжать изучение, должно быть, было хранилище инструментов, звездных карт и книг, а может быть, и жилище астрономов. Часть здания высечена в скале. Тут есть какие-то ходы, колодцы и подземелья, в назначении которых нам еще нужно разобраться. Верхняя надстройка рухнула, кучи щебня и песка загромаздают нижние ходы, и до сих пор у меня

¹ К в а д р а н т — четвертая часть окружности.

нет ясного представления об этом здании. Оно больше похоже на маленький форт, чем на обсерваторию... Ну что ж, приступим... — И с этими словами профессор нырнул под засыпанный пылью и покрытый засохшей травой свод.

Мы все трое последовали за ним.

В полумраке квадратного помещения под сводом была приятная прохлада. Я вооружился инструментом вроде широкой тяпки — кетменем — и по указаниям профессора принялся отгрести завал из земли и каменных обломков, образовавшийся от проседания следующего свода. Я старался вовсю; пот катился с меня градом, и груды отброшенной мной земли все увеличивались по обе стороны камеры. Профессор, очень довольный, велел мне отдохнуть и взялся сам за кетмень. Потом копала Таня, и снова я. Так мы рыли, в поту и пыли, еще долго, пока наконец не проникли в низкий просторный подвал, чуть освещенный сквозь щели в камнях под сводами, наверху. Внимание профессора и Тани сразу привлекли какие-то плитки из гладкого камня, кучкой сложенные в углу. Для меня в этом темном пустом подвале не было ничего интересного, и я принялся осматривать соседние с ним другие помещения. Узкие, как щели, проходы без дверей соединяли еще три подвала с высокими, в противоположность первому, потолками. Все они были совершенно пусты, только в конце второго помещения выступала толстым цилиндром какая-то постройка из плотно сложенных серых камней. По наружной стороне цилиндра вилась наверх обрушившаяся узкая лестница, верх которой исчезал в хаосе обломков, засыпавших квадратный люк. В нижней части цилиндра чернели крохотные оконца, проникнуть в которые не могла бы даже крыса. Я заглянул в одно из них и долго всматривался в тьму, пока мне не показалось, что я вижу какой-то слабый ответ. Я посмотрел снова и опять увидел едва заметный блеск. Я позвал профессора. Он с неохотой оторвался от разглядывания плиток и последовал за мной. Я обратил его внимание на цилиндрическую постройку, но профессор не выразил никакого интереса.

— Смотрите, Таня, — сказал он шедшей позади девушке, — это цоколь наружной башенки — той, что вроде минарета. Она одна только и уцелела: построена из крепчайшего диабаз.

На мое замечание о чем-то блестящем внутри профессор ответил:

— Ну что там может быть? Какая-нибудь изразцовая плитка завалилась. На башенку поднимались по наружной лестнице, а пустота внутри — только для экономии материала, хода внутрь нет.

Он двинулся было обратно, но вдруг остановился:

— Эге! Вот это на самом деле важно!

И профессор указал на завалившуюся стенку подвала за выступом щелеобразной двери. Из-под осыпи едва виднелась ступенька — очевидно, начало лестницы, шедшей куда-то вниз.

— Видите, Таня, я говорил вам, что должен быть еще третий этаж, самый нижний. Это первый ход вниз, который нам удалось обнаружить. Тут и будем копать... Сколько времени, Иван Тимофеевич? — спохватился профессор.

— Скоро пять.

— Ну-ну! То-то я так есть хочу! Пойдемте скорее.

Наверху нас встретил сухой жар и ослепительный свет. После сумрака под сводами зарябило в глазах. Я пропустил вперед Таню и профессора и остановился, чтобы получше осмотреть местность с высоты бугра обсерватории. На ровной площадке слева от бугра стояли две наши палатки. И бугор и площадка находились на плоской вершине широкого куполовидного холма. Этот холм возвышался посредине группы из восьми подобных же холмов, покрытых редкой и жесткой травой, совсем не похожей на веселую зеленую траву нашего севера. Сквозь ее щетинистый покров просвечивали угловатые выступы черных камней, присыпанных крупным песком. Камни, выступавшие из-под тонкого почвенного покрова на том холме, где стояла обсерватория, были другого, более светлого цвета. Поэтому бугор обсерватории довольно резко выделялся по окраске среди остальных черных собратьев.

Девять холмиков теснились на краю бесконечной, постепенно понижающейся к югу равнины, а с запада, справа, почти у самого горизонта, виднелась иззубренная полоса далеких снеговых гор. В той же стороне равнину пересекала узенькая, отливающая сталью извилистая лента; сбегавшая с гор речушка огибала холм обсерватории и, отклоняясь на восток, терялась в песках. Вокруг обсерватории, впризу, расстиралась желтая степь, испят-

нанная кустиками серебристой полыни и голубых колючек. Дальше, к северу, степь очерчивалась по краю песков темной лентой саксаульника.

Покой, простор, чистый горный воздух, синева тяжелого зноя над головой...

Как удачно сложилась судьба, приведшая меня сюда! И что еще нужно сейчас моей душе? Радостное чувство примирения с собой, с природой охватило меня.

— Иван Тимофеевич, — допелся крик Вячика, Тапного брата, — обедать!

— Куда вы девались? — встретила меня Тапя вопросом. — А я чудесно искупалась и вам предложить хотела. Сейчас будем обедать, а купание отложимте до вечера.

После обеда и небольшого отдыха мы опять отправились откапывать обнаруженную профессором лестницу. Она уходила в широкую выемку, высеченную в песчанике и доверху заваленную всяким мусором. По тому, как медленно подвигалась работа, было ясно, что понадобится несколько дней наших соединенных усилий, чтобы откопать лестницу.

Закончив намеченную на сегодня работу, я напомнил Тане о ее обещании. Она повела меня по узенькой тропинке вдоль берега речки к подножию второго холма. Я молча шел следом, прислушиваясь к ровному шуму быстрой воды, дробившей солнечный свет в быстрых струйках. У поворота речки Таня остановилась:

— Вы здесь посидите, подождите меня. Мы с Вячком сделали плотину, так что воды по пояс будет.

Таня скрылась за выступом берега, а я улегся на жесткой траве, подставив лицо прохладному слабому дуновению ветра. Журчание речки наводило дремоту.

— Уснули? Идите скорее. Как чудесно!

Свежая, веселая, Таня стояла передо мной — безупречная красота юности, дружной с водой и солнцем. Я вскочил и спустился под высокий берег, где нашел маленькую запруду против крохотного песчаного пляжа. Два искривленных деревца, как часовые, охраняли эту первобытную ванну со стороны низкого правого берега. Я быстро приспособился купаться лежа, борясь с напором холодной воды. Купание замечательно освежило меня. У палатки нас уже ждали профессор и Вячик с чаем.

— Как понравилось купание? — спросил профессор. — А ну-ка, испытаем геолога! Ничего в речке не заметили?

Нет? Ну, дорогой мой майор, повоевали и все забыли! Древнее название этой речки, сохранившееся в летописях, — «Экик», что значит сердолик. И в гальках русла иногда попадаются красные камешки. При случае посмотрите.

Раскопки нижнего этажа оказались сложнее, чем мы ожидали. Шедшая наклонно вниз выемка постоянно заваливалась осыпавшейся землей и щебнем. Я работал уже четыре дня с утра до позднего вечера. Мускулы паливались новой силой. Словно из неведомых мне самому уголков души поднимались новые, свежие, как весенняя зелень, чувства — такие же бесконечно спокойные и светлые, как окружающая природа. Уверенная радость жизни владела мной: я почти забыл про усталость и недовольство. Тело, как это и должно быть у всякого вполне здорового человека, не существовало для меня, ничем не давая знать о себе, кроме наслаждения избытком жизненной энергии.

Сейчас я разлагаю эти ощущения на отдельные элементы, тогда же это было иначе и выражалось, собственно, в чувстве обостренного восхищения местностью, где были расположены развалины Нур-и-Дешт. Я ломал голову, стараясь понять секрет очарования пустынных каменистых холмов и печальных развалин в жарком кольце стены и песков. Я поделился своими впечатлениями с Таней и профессором. Они согласились со мной.

— Я, признаться, ничего не понимаю, — сказал Матвей Андреевич. — Знаю только, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как здесь.

— Мало сказать — хорошо, — подхватила Таня. — Я, например, переполнена светлой радостью. Мне кажется, что эта древняя обсерватория — храм... ну, не могу этого ясно выразить... земли, неба, солнца и еще чего-то неведомого и прекрасного, неуловимо растворяющегося в свободном просторе. Я видела много гораздо более красивых мест, но ни одно из них не обладает таким могучим очарованием, как эти, казалось бы, равнодушные развалины...

Еще один трудовой день кончился затемно, но спать не хотелось.

Наступила ночь. Мы улеглись у костра. В зените черного купола над нами сияла голубая Вега; с запада, как

совиный глаз, горел золотой Арктур. Звездная пыль Млечного Пути светилась раскаленным серебром.

Вот там, низко над горизонтом, светит красный Антарес, а правее едва обозначается тусклый Стрелец. Там лежит центр чудовищного звездного колеса Галактики — центральное «солнце» нашей Вселенной. Мы никогда не увидим его — гигантская завеса черного вещества скрывает ось Галактики. В этих бесчисленных мирах, наверно, тоже существует жизнь, чужая, многообразная. И там обитают подобные нам существа, владеющие могуществом мысли, там, в недоступной дали... И я здесь, ничего не подозревая, смотрю на эти миры, тоскуя, взволнованный смутным предчувствием грядущей великой судьбы человеческого рода. Великой, да, когда удастся справиться с темными звериными силами, еще властвующими на земле, тупо, по-скотски разрушающими, уничтожающими драгоценные завоевания человеческой мысли и мечты.

— Вы спите, Иван Тимофеевич? — раздался голос профессора.

— Нет, я смотрю на звезды... Они здесь какие-то особенно ясные и близкие.

— Да, обсерватория выстроена с толком; здесь необыкновенная прозрачность воздуха. Впрочем, почти во всех местах Средней Азии прозрачное и яркое небо. Цедаром местные народы — хорошие наблюдатели звезд. Знаете, киргизы называют Полярную звезду Серебряным гвоздем неба. К этому гвоздю привязаны три коня. За конями вечно гонятся по кругу четыре волка и никак не могут догнать. А когда догонят, то будет конец света. Разве это не поэтическое изображение вращения Большой Медведицы?

— Очень хорошо, Матвей Андреевич! Помню, я читал где-то о небе Южного полушария. Высоко, где сияет Южный Крест, в Млечном Пути находится яркое звездное облако, а рядом с ним абсолютно черное пятно — огромное скопление темного вещества в форме груши. Первые мореплаватели называли его Угольным мешком. Так вот, древняя австралийская легенда называет это пятно зияющей ямой — провалом в небе, а другая легенда говорит, что это воплощение зла в виде австралийского страуса эму. Эму лежит у подножия дерева из звезд Южного Креста и подстерегает опоссума, спасающегося на ветвях

этого дерева. Когда опоссум будет схвачен эму, тогда наступит конец света.

— Да, похоже, только животные совсем различны, — лениво сказал профессор.

— Объясните мне, пожалуйста, Матвей Андреевич, кто и когда создал Пур-и-Дешт, эту «с толком выстроенную» обсерваторию, и почему она в таком пустынном месте?

— Работали здесь уйгурские астрономы, ученики арабских мудрецов. Ну, а место-то стало пустынным после монгольского нашествия. Тут кругом развалины — следы поселений. Семьсот лет назад здесь, без сомнения, было богатое, населенное место. Чтобы построить такую обсерваторию, нужно много знать и много уметь.

Речь профессора прервалась. Что-то случилось. Я сначала не сообразил, что именно. Второй толчок дал почувствовать, как заколебалась земля под нами, — словно по поверхности прошла каменная волна. Почти одновременно мы услышали отдаленный гул, будто исходивший из глубины под нашими ногами. Посуда в ящике дребезжала, головешки в костре развалились. Толчки следовали один за другим.

Все кончилось так же неожиданно, как и началось. В наступившей тишине было слышно, как катятся по склонам потревоженные камни и что-то сыплется в развалинах обсерватории.

Наутро, как только мы явились к месту ежедневной работы, нас встретили неожиданные изменения, вызванные почным землетрясением. Подрытый снизу в левой стороне земляной завал осел и рухнул, обнажив в правой стенке неглубокую нишу, обведенную заостренной стрельчатой аркой. В глубине ниши, из-под пыли и налипших комьев земли, виднелась каменная плита с вырезанным на ней совершенно неразборчивым для непривычного взора сплетением знаков арабского куфического письма¹. Обрадованные находкой и в то же время огорченные новым завалом лестницы, мы быстро расчистили надпись, столько веков скрывавшуюся под сухой и пыльной землей. На гладкой синеватой плите буквы были углублены

¹ Куфическое письмо — вид арабского шрифта. Отличается расширенными квадратными очертаниями тесно соединенных друг с другом букв.



Из-под пыли виднелась каменная плита.

и покрыты чем-то вроде глазури очень красивого оранжевого цвета с зеленым отливом. Таня и профессор принялись расшифровывать надпись, а мы с Вячиком опять взялись за расчистку лестницы.

Матвей Андреевич расправил плечи и шумно вздохнул:

— Жаль, ничего важного! Правда, подтверждение сохранившихся в истории сведений. Надпись гласит, что по указу такого-то в таком-то году, в месяце Ковус... это Стрелец по-арабски, Таня?

— Да.

— Значит, в ноябре окончена постройка в местности Нур-и-Дешт, у речки Эжик на холме... как это, Таня?

— Не совсем понимаю название — что-то вроде Светящейся чаши.

— Какая поэзия! На холме Светящейся чаши, на месте прежних разработок царской краски... Ага, это по вашей части, майор. Где же следы разработок и что могло здесь добываться?

— Не знаю, не заметил никаких выработок.

— Да вы были когда-нибудь геологом? — шутливо возмутился профессор.

— Погодите, Матвей Андреевич. Вот прокопаю вам лестницу, тогда отпустите несколько часов побродить. Может быть, и геолог пригодится. А то ведь мой ежедневный маршрут только один: речка — подвал, речка — палатка.

— Ага! — рассмеялся профессор. — Побывали в шкуре археолога — нос всегда в землю... А ведь вы правы: стоит объявить выходной день. Завтра не будем рыться — походите, поисследуйте. Таня, конечно, стиркой займется.. Нет? А что же? Тоже побродить, геологии поучиться? Гм!..

— А что там дальше в надписи, Матвей Андреевич? — перебил я профессора.

— А дальше следует: в память великого дела сделана эта надпись и замурована древняя ваза с описанием постройки.

— Но, профессор, ведь находка вазы имела бы большое значение для изучения обсерватории?

— Конечно. Но где она замурована, не сказано. Ясно, что в фундаменте. Как ее найдешь? Лестницу прокопать — и то не можем.

Утром я попросил у Вячика дробовую бердану в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Сопровождаемые насмешливыми напутствиями профессора, мы с Таней отправились в обход холмов Нур-и-Дешт. Оказалось, что никто из членов маленькой экспедиции не отходил далеко от развалин — работа отнимала все время. День был на редкость зноен и тих, ни малейшее дуновение не сгоняло сухого жара, шедшего от каменистой почвы. Мы долго ходили по холмам, карабкаясь по склонам, пока не изнемогли от жажды. Тогда мы спустились к речке, напились вволю и принялись бродить босиком по руслу. Крупные камешки разъезжались под ногами. В прозрачной воде среди черных и серых галек изредка резко выделялись разноцветные, сглаженные водой кусочки опала и халцедона. Охота за красивыми камнями увлекла нас обоих, и, только когда ноги совсем окоченели, мы вышли на берег и стали греться на теплых камнях, занимаясь разборкой добычи.

— Красные кладите сюда, Таня. Это сердолик — очень ценившийся в древности камень, якобы обладавший целебной силой.

— Красных больше всего. А вот смотрите, какая прелесть! — воскликнула девушка. — Это вы нашли? Прозрачный и переливается, как жемчуг.

— Гналит, самый ценный сорт опала. Можете сделать из него брошку.

— Я не люблю брошек, колец, серег — ничего, кроме браслетов. Но если вы мне подарите его просто так... спасибо... А зачем вы взяли эти три камня — мутные, нехорошие?

— Что вы, Таня! Разве можно так порочить самую лучшую мою находку? Смотрите. — И я погрузил невзрачную белую гальку в воду. Камень сделался прозрачным и заиграл голубоватыми переливами.

— Как красиво! — изумилась девушка.

— Ага, некрасивый камень оказался волшебным. Он и считался в древности волшебным. Это гидрофан, иначе называемый «око мира». Он сильно пористый и поэтому в сухом состоянии непрозрачен. Как только поры заполняются водой, он делается прозрачным и очень красивым.

Это всё разновидности кварца; их еще много сортов различных оттенков, ценности и красоты.

— Что же вам дала наша сегодняшняя экскурсия? — спросила Таня.

— Теперь я имею представление о строении всей этой местности. Правда, оно оказалось неинтересным: древние граниты и толща черных кварцитов, пронизанных жилами кварца. Холм, на котором стоит обсерватория, несколько отличается от других: он сложен какими-то очень плотными стекловидными кварцитами. Красивые камни в русле речки остались от размыва кварцитов — в жилах, в пустотах и натеках по трещинам, должно быть, довольно много халцедона и опала.

— А где же разработки, о которых говорится в надписи?

— Так и не знаю. Сами же видели — нигде ни малейших следов. Может быть, они скрыты под развалинами обсерватории.

— Плохо! Опять Матвей Андреевич будет смеяться... — заключила Таня. — Пора обратно. Смотрите, солнце садится. И так придет в темноте.

На красном огне заката круглые плечи холмов выступили резкими силуэтами. Полное отсутствие ветра подчеркивало глухое молчание окрестных песков. Когда мы добрались до холма обсерватории, с западной стороны уже погасли последние отблески зари.

Развалины, едва различимые при свете звезд, встретили нас молчанием. Только сплюшка¹ где-то вдали издавала свой мелодичный крик. Ночью здесь было неприветливо; неясное ощущение опасности овладело нами, и мы пошли, крадучись и шепчась, словно боясь разбудить что-то дремавшее среди угрюмых стен.

Внезапно я почувствовал, что дневная усталость куда-то отходит, уступая место бодрости. Сухой, неподвижный воздух, несмотря на тепло, исходившее от нагретых стен, казался необычайно свежим. Приятное, едва ощутимое покалывание изредка пробегало по коже.

— Я совсем не устала, — шепнула мне Таня, придвигаясь так близко, что почти касалась меня плечом, — Здесь что-то в воздухе.

¹ С п л ю ш к а — небольшой сыч; водится в южных районах Советского Союза.

— Да, я бы сказал, воздух — точно вблизи динамо-машины. Потрогайте-ка ваши волосы, Таня: они что-то очень распушились.

Таня провела рукой по волосам, стараясь пригладить их, и множество мельчайших голубых искорок замелькало под пальцами.

— Будто перед грозой, — сказала Таня, — только небо ясное и духоты совершенно не чувствуется, наоборот...

— Странно. Вообще в этом месте много необъяснимого... — начал я и вдруг увидел слабое зеленоватое свечение, мелькнувшее где-то в проломе стены.

Мы уже подходили к главному зданию с дугой квадранта. Я присмотрелся и заметил, что чуть видимым отблеском светится несколько букв надписи на внутренней стенке портика.

— Смотрите, Таня! — Я подвел свою спутницу к обрушенной части стены.

В непроглядной тьме сводов явственно выступали извивы букв, очерченные зеленовато-желтым сиянием.

— Что это такое? — взволнованно прошептала девушка. — Тут кругом много надписей, но ведь они не светятся.

— Все те надписи сделаны золотом. Так, кажется?

— Правильно, — подтвердила Таня.

— А это... Одну минуту...

Я осторожно проскользнул в портик и зажег спичку. Загадочное свечение мгновенно исчезло. Обветшавшая стена слепо встала передо мной. Но я все же успел заметить уцелевший кусок изразцовой плитки, покрытый гладкой глазурью, с выведенными на ней оранжево-зелеными буквами.

— Это сделано не золотом, а такой же эмалью, как у лестницы в подвале.

— Пойдемте скорее посмотрим! — живо предложила девушка.

— Пойдемте, — согласился я и спросил: — Вы бывали когда-нибудь ночью на обсерватории, вы или профессор?

— Нет, ни разу.

— Тогда вот что, пойдем сначала в лагерь — только не говорите пока ничего профессору, — мы поужинаем и, когда все заснут, продолжим исследование, если хотите. А если устали, я один займусь.

— Что вы! При чем тут усталость? Все так таинственно, интересно!

— Отлично. Только уговор, Таня: профессору ни слова. Я сам еще ничего не понимаю, но, если мы с вами додумаемся до какого-то объяснения, вот будет Матвею Андреевичу сюрприз наутро!

Теплая крепкая рука девушки сжала мою. Мы быстро спустились с холма к площадке, на которой, по обыкновению, горел небольшой костер. Поворчав на нас по поводу опоздания к ужину, профессор принялся расспрашивать меня о результатах похода. Как Таня и ожидала, добродушные насмешки профессора посыпались на мою бедную голову, едва Матвей Андреевич узнал, что я так и не нашел следов разработок красок.

— Ладно, лучше не буду спрашивать, что вы нашли в темноте вместе с Таней... Ну-ну, не сердитесь! Показывайте ваши камешки... Как много сердолика! Пожалуй, если несколько дней поработать, набрали бы целый мешок. Теперь сердолик мало ценится: еще один из многих примеров забытой с веками мудрости человеческого опыта. Раньше во всей Ближней Азии этот камень ценился наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки. И верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самое любопытное — оказывается, эта вера больше, нежели простое суеверие. Я недавно узнал... — Профессор замолчал, задумчиво разглядывая красный камень при свете костра.

— Что вы узнали, Матвей Андреевич, расскажите, — попросила Таня.

— Да очень просто: медики начинают пробовать лечение сердоликом. Оказывается, он почти всегда обладает радиоактивностью, слабой, можно сказать — ничтожной, равной сумме радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что радия в сердолике только ничтожные следы, он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс, что ли, — не знаю толком.

«Радий?» Меня пронзила неясная догадка, и в голове вихрем завертелись мысли об электрических разрядах, светящихся надписях, оранжево-зеленых красках. Я нетерпеливо вскочил, но сейчас же взял себя в руки и поспешно вытащил папиросы.

— Что это вы, словно вас кольнуло, Ивап Тимофеевич? — удивленно спросил профессор. — Пожалуй, и спать время. Завтра пораньше примемся — наверно, разгребем вход. Вы как хотите, а мы с Вячиком на боковую.

Я и Таня остались вдвоем. Я нервно курил, ожидая, пока профессор заснет и можно будет взять свечи для ночного исследования тайны обсерватории Нур-и-Дешт.

Наконец Таня достала две свечи, а я вытащил из кучи инструментов тяжелый лом.

— Это зачем? — удивилась девушка.

— Пригодится. Вдруг придется отвалить камень, вывернуть какую-нибудь плиту...

Внизу, в каменных подвалах, царил полнейший мрак. Хорошо знакомой дорогой мы пробирались ощупью, не зажигая света. Повернули направо, в щелевидный вход, добрались до лестничной площадки. Таня вскрикнула: большая доска очень слабо, но явственно светилась свечением куфических букв. Такая же золотистая светящаяся полоска шла по выступу лестничной арки.

— Так, понимаю, — подумал я вслух, — здесь днем мало света...

— Ну, и что же? — нетерпеливо спросила Таня.

— Не спрашивайте меня сейчас, пока не решу всю задачу. Пойдемте наверх, к квадранту. Наверно, мы встретим еще остатки светящихся надписей... Стоп! Дайте свечу. Заглянем сюда.

Я вспомнил загадочный отблеск внутри цоколя астрономической башни, виденный в первый день, и решил попробовать проникнуть в цоколь. Я принялся осторожно выворачивать ломом крепко спаявшийся с остальными брусок камня над узкой вентиляционной щелью. Уступая моим настойчивым усилиям, камень зашатался. Я надавил сильнее и, дернув камень к себе, извлек из кладки. Второй отделился легче. Образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть голову и руку со свечой.

Огонь свечи озарил тесную внутренность башни, круглую, уходящую высоко в темноту. Налево, против пробитой мною дыры, находился широкий обтесанный камень, а на нем, покрытый густой пылью, стоял большой широкогорлый сосуд, мутно поблескивая запыленной глазурью.

— Ваза, Таня, ваза! — воскликнул я и уступил девушке место у пролома.

— Не пролезть. Как достанем? — спросила она, подавая радостный вздох.

— Сейчас.

Воодушевленный находкой, я быстро справился еще с двумя камнями. Едва я проник внутрь башни, как поспешно отпрянул назад: правее и позади камня, на котором стояла ваза, зияла темнота колодца. В колодец шли узкие ступеньки, спиралью завивавшиеся до какого-то выступа внутренней части башенки. Я передал вазу девушке через пролом и сказал:

— Подождите меня, Таня. Я спущусь вниз.

— Нет, пет, я пойду за вами: кто знает, что там... — Она замолчала, смутившись.

Наши глаза встретились, и я... Ну, словом, я спустился, упираясь руками в стенки колодца, и помог следовавшей за мной Тане.

Колодец был неглубок. Впрочем, это оказался вовсе не колодец, а перовный, пемного наклонный ход, высеченный в скале. Холод охватил нас сквозь легкую одежду. Но это не был холодный, застоявшийся воздух подземелья — чистый и свежий, он походил на богатый озоном воздух горных вершин. На глубине нескольких метров ход расширился в неправильную большую пещеру с изрытыми степами, изборожденными узкими, просеченными в разных направлениях бороздками. Я уже знал, что искать: кое-где в трещинах кремнистых сланцев и кварцитов, на дне бороздок оставались небольшие охристые примазки лимонно-желтого и оранжевого цветов.

— Вот и рудник красок, Таня! Только краски-то не простые.

Мы поднялись наверх. Не слушая протестов Тани, я совершил кощупство — понес вазу, не дожидаясь дня. Крепко прижав к груди тяжелую вазу, я осторожно ступал, боясь споткнуться. Около портика мы оставили дорожную находку и медленно обошли все здание. Я оказался прав: еще в нескольких местах мы обнаружили свечение каких-то знаков. Светящиеся черточки были и на дуге квадранта.

Спустившись к речке, мы осторожно сняли крышку сосуда. Внутри него не было ничего, кроме пыли. Тогда мы обмыли вазу снаружи и бесшумно принесли в палатку, поставили у изголовья профессора, заранее наслаждаясь, как он будет удивлен и потрясен утром,

— Ну, а теперь рассказывайте! — шепнула мне на ухо Таня. — Я все равно спать не буду, пока не узнаю.

Отойдя от палатки, мы устроились на берегу речки, с мелодичным журчанием бежавшей в темную степь.

— Все, оказывается, очень просто, Таня: здесь имеется месторождение урановых руд, и, следовательно, присутствует радий. Эти желтые пятна — урановые охры. Они применяются в керамике для получения очень прочной глазури с яркими и чистыми цветами: оранжевым, желто-зеленым, оливковым. Урановые руды встречаются в на-теках, по трещинам кварцитов и были еще в древности выработаны, но радий — радий! — помимо урана, вероятно, рассеян в ничтожном количестве в кремнистой массе светлых кварцитов. И я думаю, что весь холм обсерватории, состоящий из этих кварцитов, излучает эмапацию радия. Кварциты, должно быть, слаборадиоактивны. Соли радия, смешанные с другими минералами, дают необычайно прочные светящиеся краски. Сейчас, особенно в войну, эти светящиеся составы имеют широкое применение. Оказывается, древние астрономы тоже знали этот секрет, и, может быть, самое название «Нур-и-Дешт» — «Свет пустыни» — тоже связано со странными явлениями на обсерватории. Радий все еще мало изучен. Мы знаем, что он ионизирует воздух, накапливает электричество и озон, убивает микробов, обезвреживает яды. Теперь я понимаю, в чем секрет необычайно радостного воздействия этого места: огромная масса радиоактивных кварцитов, не прикрытых сверху другими породами, создает большое поле слабого радиоактивного излучения, очевидно, в дозировке, наиболее благоприятной для человеческого организма. Вспомните, что профессор говорил про сердолик. А сегодня из-за отсутствия ветра получилось большее, чем обычно, накопление эмапации радия. Мы с вами сразу и заметили это ночью. Какое неожиданное и интересное открытие, правда? — И я положил свою руку на руку девушки.

— Да, интересно... — отчужденно произнесла Таня и быстро поднялась. — Ну, надо идти спать, уже поздно...

Немного озадаченный внезапной холодностью Тани, я остался на берегу. Все мои мысли вертелись вокруг неожиданного открытия. Я продолжал находить новые и новые факты в доказательство своей догадки и долго еще

сидел в темноте. Наконец я запутался в дебрях химии и побрел к своей постели.

Разбудили меня шумные возгласы профессора, звавшего всех нас. Ваза была извлечена на свет. Узор блестящей эмали бархатистого зелено-черного цвета шел между яркими оранжевыми, коричневыми и оливковыми полосами. Такие прекрасные тона глазури могли дать только соединения урана. Новое подтверждение почного открытия в ослепительном свете дня!

Я рассказал профессору все свои соображения. Надо было видеть радостное возбуждение ученого! Я прибавил, что радиовые излучения, может быть, способствуют еще большей прозрачности воздуха непосредственно над обсерваторией.

— Ну, это вы, пожалуй, хватили, — возразил профессор. — А что до нашего состояния, то я совершенно с вами согласен. Это место — не только место света, но и место радости. А вот почему Таня у нас сегодня грустная? Что случилось?

— Нет, Матвей Андреевич, со мной ничего...

После вторичного осмотра выработки мы вернулись к работе на лестнице. К концу дня удалось расчистить небольшое отверстие, в которое все мы поочередно пролезли. Там был подвал из нескольких камер. Я не знаю, что он дал археологу, но, на мой взгляд, подвал был так же пуст, как и все виденные мною ранее.

Закатный ветер мчался по степи; розовая пыль клубилась над стальным ковром полыни. Профессор с Вячиком шли впереди, а Таня в раздумье замедлила шаги, отстав от них. Я догнал девушку и осторожно взял ее за руку.

— Что с вами, Таня? Вы всегда такая веселая, оживленная, и вдруг... Мне кажется, вы изменились после вчерашнего нашего открытия.

Девушка пристально посмотрела мне в лицо.

— Не знаю, поймете вы или нет, но я скажу... Нур-и-Дешт действительно место радости. И я думала, что эта радость во мне, от меня, что я сильная, свободная, веселая. Тут появляетесь вы... — девушка загнулась, — суровый, ушедший в себя, опаленный огнем войны. И вы тоже делаетесь ясным, радостным... И вдруг оказывается, что всему причиной этот радий — и только... Значит, если бы не было радия, — голос девушки упал почти до шепота, —

не было бы и дивного очарования этих дней на древней обсерватории.

Таня отвернулась, вырвала руку и побежала вниз по склону холма. Я медленно пошел следом за ней. Остановился, оглянулся на развалины Нур-и-Дешта.

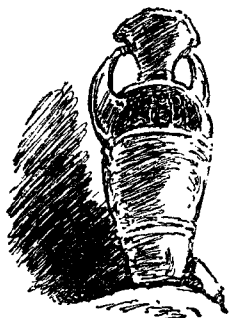
«Свет пустыни» — да, несомненно, свет и для пустыни моей души. Не пройдет, навсегда останется радость дней на обсерватории Нур-и-Дешт!

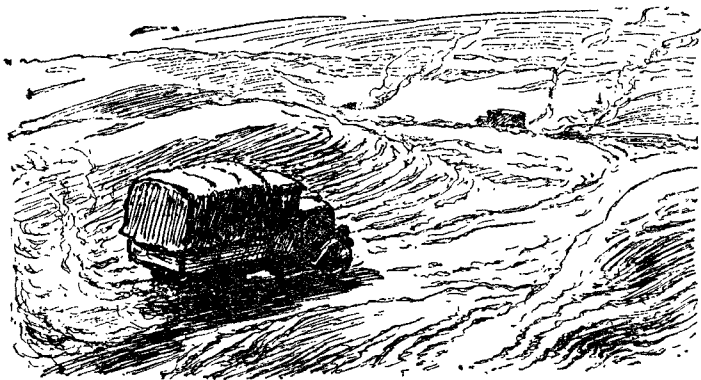
...И опять, как много раз до этого, угасал костер у палаток и около него сидели мы с Таней. А рядом излучала золотистое сияние древняя ваза, светящаяся чаша давно минувших, но не умерших человеческих надежд.

— Таня, дорогая, — говорил я, — здесь ожила моя душа, и она открылась... навстречу вам. Кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на нас будет понято еще более глубоко. И кто поручится, что на нас не влияют еще многие другие излучения — ну, хотя бы космические лучи. Вот там, — я встал и поднял руку к звездному небу, — может быть, есть потоки самой различной энергии, изливающейся из черных глубин пространства... частицы далеких звездных миров.

Таня поднялась и порывисто подошла ко мне. В ясных глазах девушки отразился пепельный звездный свет.

В высоте над нами, прорезая световые облака Млечного Пути, сиял распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полете к грядущему.





ТЕНЬ МИНУВШЕГО

— Наконец-то! Вечно вы опаздываете! — весело воскликнул профессор, когда в его кабинет вошел Сергей Павлович Никитин, молодой, но уже широко известный своими открытиями палеонтолог. — А у меня сегодня были гости. Прямо с сельскохозяйственной выставки. Два знатных чабана из восточных степей. Вот и подарок из уважения к ученым. Смотрите: дыня, большущая, желтая... и как пахнет! Давайте ее вместе того... за здоровье знатных пастухов.

— Вы меня за этим и звали, Василий Петрович?

— Уж очень вы нетерпеливы, молодой человек! Повернитесь-ка налево, вот к этому столику...

Никитин быстро подошел к маленькому столику в углу кабинета.

На сером картоне были аккуратно разложены гладкие темно-коричневые обломки крупных ископаемых костей. Палеонтолог схватил лежавшую слева кость, постучал по ней ногтем, повернул другой стороной. Поочередно пересмотрел все восемь кусков, тяжелых и плотных, пропитанных кремнием и железом.

Многолетняя практика в анатомии скелета давала возможность сразу же мысленно дополнять, восстанавливать

недостающие части костей и за их характерной формой угадывать полный скелет вымершего животного.

— Ну, теперь я все понимаю, Василий Петрович. На костях темная полированная корка — пустынный загар¹. Значит, чабаны их собрали прямо с поверхности, в пустыне... Василий Петрович, ведь это динозавры! Такой сохранности! Это первая находка в Союзе. Нужно что-то сделать, чтобы отблагодарить этих чабанов.

— Вы думаете — премию? Да они, мой дорогой, богаче всех нас! Спрашивали, не нужно ли нам чего от их колхоза... Нет, тут чистый интерес к науке. Они завтра придут опять — хотят с вами встретиться и еще принесут какое-то сыляу². Ну-ка, давайте дыньку разрежем да рассудим на досуге.

С ломтем ароматной дыни в руке Никитин присел на корточки перед огромной картой на стене кабинета, вглядываясь в левый нижний угол, испещренный мелкими точками — знаком грозных песков. Старый ученый перегнулся с кресла, следя за пальцем Никитина.

— Это огромное поле костей динозавров примерно здесь, — говорил палеонтолог. — Триста пятьдесят километров от родников Талды-сай. Поблизости — колодцы Биссекты. Ехать придется песками до бугров Лайили. Дальше — каменистая пустыня и местами степь...

Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин, болезненно щурясь, шел через просторный двор товарной станции по мягкому ковру желтой пыли.

Три новенькие автомашины уже выехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером, еще блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повернуты машины, по крупным камням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин.

¹ Пустынный загар — блестящая черная корка, которой покрываются долго находящиеся на поверхности в пустыне камни, даже кирпичи в развалинах старых городов.

² Сыляу — дружеский дар в Средней Азии.

Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца; косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины поплы в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшийся у северного склона опаленных солнцем холмов.

Никитин, возвращаясь с позднего заседания, медленно шел вдоль тихо шепчущего арыка. У домов, под густой листвой деревьев, стало темно.

Прямо перед ним выскользнула из тени аллеи, легко перескочила арык и пошла по дороге девушка в белом платье. Голые загорелые ноги почти сливались с почвой, и от этого казалось, что девушка плывет по воздуху, не касаясь земли. Толстые черные косы, резко выделяясь на белой материи, тяжело лежали на ее спине и спускались до половины бедер своими распушившимися концами.

Глядя на быстро удалявшуюся фигурку, Никитин остановился, поддавшись минутной задумчивости, потом зашагал быстрее и скоро очутился у больших дощатых ворот приютившего экспедицию дома.

На обширном дворе, освещенном электричеством, Никитин увидел всех участников своей экспедиции, собравшихся у машин. Люди весело смеялись над чем-то, даже угрюмый старший шофер добродушно ухмылялся.

К Никитину быстро подошла черноглазая Маруся, preparator экспедиции, на днях выбранная парторгом.

— Где вы пропадаете, Сергей Павлович? Мы собрание решили провести, а вас нет. Ждали, ждали, да как-то само собой и началось.

— Веселое собрание! — улыбнулся Никитин.

— Все из-за названий машин, — отозвалась Маруся.

— Каких названий?

— Вы знаете, мы решили начать соревнование между экипажами машин. А тут Мартын Мартынович и предложил: для удобства дать имя каждой машине.

— И на чем же порешили?

В разговор вмешался Мартын Мартынович, пожилой латыш в круглых очках, специалист по раскопкам.

— Вану назвали «Молния», а две другие — «Истребитель» и «Динозавр».

Мощный гудок в три тона раздался на улице; в воротах вспыхнули и снова погасли фары черного «ЗИЛа».

Никитин пошел навстречу секретарю обкома, с которым уже встречался по делам экспедиции.

— Недурно устроились, — огляделся тот. — Когда же в дорогу?

— Послезавтра.

— Отлично, товарищ Никитин! А у меня к тебе просьба... — Секретарь сделал паузу. — Я прямо с заседания... Там, как раз у Биссекты, оказывается, есть место-рождение асфальта. Необходимо исследовать. Мои геологи настаивают... Короче, нужно захватить сотрудника из Геологического управления...

Никитин озабоченно нахмурился. Секретарь взял его под руку, и оба пошли в глубину двора.

— Как будто все?

— Все, Сергей Павлович. Можно приступать к погрузке.

— Действуйте вместе с Мартыном Мартыновичем. На нашу «Молнию», передовую, — горючее и инструменты, на «Динозавра» — горючее, доски и оборудование лагеря, на «Истребителя» — воду, продукты и резину.

В низкую открытую дверь врывалось знойное дыхание дня. Никитин собирал в сумку разбросанные по столу бумаги, торопясь на телеграф.

— Можно? — раздался со двора мягкий женский голос.

В слепящем ярком четырехугольнике двери возник стройный черныш силуэт, обведенный горящим ореолом по освещенному краю белого платья. Пришедшая слегка наклонилась, вглядываясь в полумрак комнаты, и перед Никитиным мелькнули вчерашние черные косы.

Смутное предчувствие чего-то хорошего заставило забиться сердце Никитина. Он поднялся навстречу гостье, державшей в руке небольшой чемоданчик, и знакомство состоялось.

— Мириам... а дальше как? — спросил палеонтолог.

— Нургалиева. Но достаточно Мириам, — улыбнулась девушка.

— Так вас не пугает, Мириам, что экспедиция наша трудная и далекая?

Черные глаза насмешливо блеснули.

— Нет, не пугает. Ваша экспедиция так снаряжена...

Вчера диспетчер заявил мне, что эта поездка может заменить путевку на курорт.

— Ну, хорошо. — Никитин протянул ей руку. — Выберите себе машину, какая понравится.

— Мне, если можно, на «Истребитель», к Марусе, — попросила девушка.

— Как это женщины успели сговориться? — рассмеялся палеонтолог, выходя во двор вместе с Мириам. — Да, — спохватился он, — ведь я, собственно, с вами познакомился еще вчера вечером, на улице Энгельса...

Он поклонился и пошел к воротам, а девушка недоуменно посмотрела ему вслед.

Машины шли гуськом, раскачиваясь и пыряя по бездорожью. Сероватая плоская степь, поросшая полынью, сгорала под высоким солнцем. Однообразным, бескрасочным было блеклое грозное небо без единой тучки, тяжело нависшее над равниной. Четыре дня ровно шумели моторы. Несмотря на медленный ход машин, экспедиция удалилась на четыреста километров от белого города и железной дороги.

На протяжении четырехсот километров, развертываясь, высокие барханы песков сменялись каменистыми холмами, ровной полынной степью, желто-белыми солончаками.

Надрывно скрежетали шестерни передач. Гудели моторы, черные круги рулей скользили в потных, усталых руках шоферов. И летели, летели легким сизым дымком в необъятную степь сотни литров драгоценного бензина.

Только один раз на этом пути, поздним вечером, из-за высоких холмов встало приветливое зарево электрического света — серный завод. А дальше лишь изредка попадались круглые войлочные юрты — временное жилье человека здесь, где вечно лишь неизменная и безликая пустыня...

Миновав завод, ехали долго, пользуясь яркой луной и последним участком сносной дороги. Гладкие такыры¹ блестели в лунном свете, как бесчисленные маленькие озера; машины ускоряли ход на их твердой поверхности. Ночью степь казалась таинственной и приветливой.

¹ Такыр — участок степи, покрытый засохшей гладкой и твердой глиной, без растительности.

Никитин дал распоряжение остановиться на ночлег только тогда, когда машины снова начали нырять, вздымая густую пыль на кочковатой поверхности пухлых глин.

Ярко осветили бивак электрические лампочки, прицепленные к задкам автомобилей. Но место ночлега оказалось неприветливым. Ноги проваливались, как в плотный снег, в кочковатую пыльную почву, из которой кое-где торчали хрупкие голые стебли какой-то высохшей травы.

Впереди, еле различимые за завесой лунного света, виднелись бугры Лайили — начало наиболее безводной каменистой пустыни, скрывающей в своей глубине кладбище ископаемых чудовищ.

За бесконечными рядами бугров, усыпанных серым щебнем, особенно сильно чувствовалась оторванность от мира. В неисчислимых поворотах, объездах, спусках и подъемах экспедиция потерялась, словно ушла в небытие. Три серые машины миновали холмы и вышли на мертвую бескрайнюю равнину, занесенную тонким слоем мелкого песка. Над пустыней дрожала дымка разогретого воздуха, дрожащие струи которого скрывали и затушевывали неприглядный пейзаж.

Перед участниками экспедиции возникали манящие голубые озера, чудесные рощи, мерцающие вдали зубцы снежных гор. Иногда перед тупыми носами машин совсем близко плескалось море, легкие туманные волны взметывали белую пену... Через несколько минут на месте моря появлялись ряды белых домов, затененных густыми деревьями, похожие на оставшийся далеко на юге, за песками, город. Да и очертания самих машин, такие строгие и отчетливые, расплывались, то удлиняясь до невероятных размеров, то, наоборот, росли в высоту и вздымались подобно исполинским слонам.

Темнело. В последний раз в багровых лучах заката показались высокие голубые и зеленые башни нового призрачного замка и исчезли.

«Молния», вздымая столбы пыли и далеко освещая равнину своими сильными фарами, продолжала путь во главе колонны — здесь можно было ехать и ночью. «Дипозавр» и «Истребитель» отстали, чтобы не тонуть в скрывающей дорогу пыли, как это всегда делалось при езде по пыльной местности.

Равномерно шумел мотор, навевая сон. Никитин за-спул, сидя в кабине, но был скоро разбужен резкими гуд-ками педшего позади «Динозавра». «Молния» остано-вилась; медленно подошли две другие машины.

— Что случилось? — спросил Никитин у водителя «Динозавра».

— Не могу ехать, товарищ начальник, — смущенно от-ветил шофер. — Мерещится разная чепуха...

— Что такое?

— Да ведь верно, Сергей Павлович, — поддержал шо-фера Мартын Мартынович. — Днем миражи видятся вда-ли, а сейчас — прямо под носом, ужас берет.

— Но я-то еду! — бросил старший шофер, водитель «Молнии».

— Ты едешь впереди, Владимир, — сказал подошед-ший шофер «Истребителя», — а мы за твоей пылью. Фары на пыль светят, и черт те что видится. Нельзя ехать.

— Чушь городите! — обозлился старший шофер. — Я знаю, иной раз на пыли мерещится, но чтобы ехать нельзя было...

— Попробуй сам. Давай я вперед поеду! — обиженно крикнул водитель «Динозавра».

— Ладно, давай, — угрюмо согласился старший.

Люди разошлись по кабинам, зажужжали стартеры. «Динозавр», покачивая высоким верхом, медленно миновал «Молнию» и исчез в туче пыли, пабирая ход. Води-тель «Молнии» подождал, пока пыль, осев, не начала зо-лотиться редкими пылинками в лучах фар, и двинулся следом.

Заинтересованный, Никитин следил за дорогой, про-терев ветровое стекло. Несколько километров они проле-тели, ничего не встретив, и шофер начал насмешливо фыркать, что-то бурча себе под нос. Машина шла ровно, внимание стало ослабевать. Вдруг Никитин почувствовал, что водитель резко повернул руль и машина вильнула в сторону. Впереди отчетливо виднелась огромная круглая яма, обложенная белыми изразцами. Никитин изумленно протер глаза — по обе стороны коридора, проложенного светом фар, в кружащихся пылинках выстроились ряды высоких домов. Видение было так правдоподобно, что па-леонтолог вздрогнул и тут же услышал злобное «тьфу» шофера.

Дома исчезли, степь разбежалась узором черных и желтых полос, а на дороге зияла черная трещина. Стиснув зубы, шофер вцепился в руль, стараясь преодолеть обман зрения. Несколько минут — и впереди выгнулся невероятно крутой сводчатый мост, совершенно ясно видимый, настолько реально, что Никитин тревожно повернулся к шоферу, но тот уже тормозил машину. Сзади раздавались настойчивые сигналы «Истребителя». Остановив машину, шофер покурил, промыл глаза, поднял стекло и упрямо двинулся дальше. И снова перед машиной вставали всё новые пыльные призраки, пугающие, близкие и реальные. Нервное напряжение росло. «Молния» тормозила и вертелась в попытках избежать несуществующие препятствия, и наконец шофер застонал, плюнул и, остановив машину, стал сигналить «Дипозавру» о сдаче. Когда улеглась пыль, подошел и давно уже остановившийся «Истребитель».

На стоянках безумный, призрачный мир исчезал. Ночь раздвигала горизонт в темную бесконечность. Огромные звезды спокойно светились, и привычные очертания созвездий радовали своей неизменностью. А днем в рокоте моторов и покачивании машин вновь мерцали и переливались фантастические видения. И все начинало казаться несуществующим.

Никитин очень обрадовался, когда из-за переливчатой стены очередного миража внезапно поднялись угрюмые черные контуры гор Аркарлы. Сперва их вершины долго держались на уровне пробки радиатора «Молнии», потом они стали быстро вырастать, закрывая собой весь горизонт на северо-западе. Проводник показал на испещренную трещинами гору, чей крутой передний склон имел очертания правильной трапеции. «Молния» немедленно направилась прямо к ней. Почва опять становилась неровной, вздымаясь каменными валами все выше и выше.

Но вот наконец, кренясь на склоне, «Молния» сделала поворот, закрипели тормоза, и машина медленно спустилась на обширную равнину — дно огромной древней межгорной впадины.

С запада угрюмо торчали темные утесы, обрывистые склоны восточных холмов были сложены ярко-красными

песчаниками. В высоте над равниной медленно кружили два орла.

По указанию проводника экспедиция двинулась вдоль красных утесов к северу. Там, в месте стыка темных и красных пород, должен был находиться родник Биссекты с выкопанным в незапамятные времена колодцем.

Ровная поверхность долины была кое-где изборозжена неглубокими промоинами и обильно усеяна гладкой галькой, покрытой пустынным загаром. Эти гальки придавали почве неестественно темный цвет, на фоне которого мириадами огоньков сияли на солнце бесчисленные кристаллы прозрачного гипса, рассыпанные между гальками.

— Стой, стой! — вдруг закричал Никитин и быстро выскочил из машины.

Следом за ним ринулись его верные помощники, тоже увидевшие ископаемых.

Слева от пути машин лежали под углом друг к другу два больших ствола окаменевших деревьев. В ярком свете солнца отчетливо выступали их прямослойная древесина и следы сучьев. Вокруг стволов и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью.

Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением они отыскивали всё новые и новые сокровища.

Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шоферы и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивляясь необыкновенному зрелищу.

Только часть костей свободно лежала на поверхности, другие еще находились в темном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнаженную на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями.

Знатные пастухи были совершенно правы — они открыли невиданное по размерам кладбище гигантских вымерших ящеров, где скопились остатки сотен тысяч разнообразных животных.

Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погуб-

лепных потоком гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей.

— Не прибавилось?

— Нет, Сергей Павлович.

— Нужно копать еще глубже.

— Глубже некуда, там пошла скала.

Никитин бросил записи, вскочил и устремился к роднику. Убедившись в правоте латыша, палеонтолог почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. Скрывая страх, Никитин медленно пошел от лагеря к горам, чтобы поразмыслить наедине.

Страшное открытие пришло уже на вторые сутки их пребывания в долине: количества воды, даваемой родником Биссекты, не хватало для экспедиции. Если воды было достаточно для двух-трех путников с их верблюдами, ее было мало для большой экспедиции с рабочими и машинами. Может быть родник был хорош сто лет назад, а теперь иссяк. Пришлось начать аварийный запас. А вода на обратный путь? Нужно, бросив все, как можно скорее пробиваться на восток — в двухстах километрах отсюда, наверно, есть хорошие колодцы. Если привезти воду оттуда? Но тогда не хватит горючего на возвращение.

Ошеломленный внезапным ударом судьбы, ученый остро почувствовал всю свою беспомощность перед окружающей беспощадной природой. Что может сделать он, вся его великолепно снаряженная экспедиция без воды? Откуда взять ее здесь, в опаленных камнях, оживляемых только крохотной струйкой древнего колодца?

Попытки расчистить источник ни к чему не привели. Неужели эта неожиданная беда сорвет всю так тщательно организованную экспедицию, лишит успеха, заставит рисковать людьми?

Погруженный в безотрадные думы, Никитин машинально углубился в горы. Он тихо шел вверх по небольшому ущелью, глубоко врезавшемуся в черный бок седловидной горы. Накаленные черные обрывы обдали ученого душным жаром. Никитин остановился и увидел Мириам.

Девушка сидела на камне, подобрав ноги и изогнув тонкий стан. Она держала на коленях раскрытую записную книжку и так глубоко задумалась, что не слыхала

приближения Никитина. Тяжелые косы, казалось, обременяли ее склоненную голову, лицо было обращено к туманящей жаркой дали. Весь облик девушки и ее поза вдруг поразили палеонтолога соответствием с окружающей природой. Никитин впервые почувствовал, что Мириам — дитя своей страны: от нее веяло спокойной твердостью, скрытой под маской внешней покорности. Никитин застыл на месте, боясь потревожить Мириам.

Страна палящего мертвого простора, где ничего не дается сразу... Только упорный труд многих поколений приносит победу над жестокой природой. Идти напролом в страстном порыве нельзя — этот путь не приведет здесь к цели. Нужно медленно, терпеливо и верно продвигаться вперед, быть всегда наготове для борьбы с новыми и новыми трудностями, подавляя волей свойственную каждому человеку жажду чудесного, внезапного счастья...

Девушка, почувствовав взгляд Никитина, оглянулась, вскочила и пошла к нему навстречу. Мириам пытливо заглянула в глаза молодого ученого.

— Что с вами, Сергей Павлович? — как всегда медленно, произнесла она.

Ученый уловил неподдельную заботу в ее тоне. В безотчетной потребности быть откровенным с ней он рассказал Мириам о крахе, ожидающем экспедицию. Девушка молчала и, только когда они возвращались обратно, у самого лагеря, смущаясь, сказала будто сама себе:

— Я слыхала, что в прошлом году при работах на Дюрт-Кыре удалось увеличить дебит¹ источников... — Мириам сделала паузу, — с помощью динамита. Вот если бы у нас был...

— Черт возьми, ведь аммонал у нас есть! — вскричал Никитин. — Подорвать место выхода родника — это не всегда помогает, но иногда получается! Совсем упустил из виду... Попробуем сейчас же! — повеселел палеонтолог, убыстряя шаги. — Рискнем на самый большой заряд.

...Громоподобный удар взрыва потряс мертвые горы. Высокий столб пыли взвился над родником, и несколькими секундами позже что-то со страшным грохотом обрушилось

¹ Дебит — количество воды, даваемой источником в определенный промежуток времени.

в горах. Все участники экспедиции бросились к роднику и стали молча разбирать завал породы, снова раскапывая выход ключа. Еще типе стало в лагере, когда Никитин и Мириам начали замерять приток воды. Начальник экспедиции вдруг выпрямился.

— Спасибо, Мириам! — Он схватил руку девушки и крепко пожал.

— Качать Мириам! — раздался дружный крик.

Девушка стрелой помчалась искать спасения за спиной старшего шофера. Тот, расправив могучие плечи, грозно заявил:

— Не дам!

— Как ваши дела с асфальтом, Мириам? — весело спросил Никитин.

— Здесь очень интересное месторождение, Сергей Павлович. Это не асфальт, а какая-то особенная, очень твердая смола.

— Покажите мне ее завтра, хорошо? А сейчас советую познакомиться и с нашими успехами.

На равнине повсюду виднелись горки парытой земли. Поднимался легкий дымок костра, на котором варился жидкий столярный клей. Мартын Мартынович, в одних трусах, загорелый до черноты, усердно пропитывал клеем рыхлые кости. Ближе к центру равнины работало несколько человек. Большая площадка расчищенной сверху породы была обрыта глубокими канавками. Двое рабочих осторожно ковыряли рыхлый песчаник большими ножами, разделяя окопанную глыбу на три части. Маруся заканчивала расчистку черепа, поливая шеллаком¹ поврежденные участки.

Никитин повел Мириам к глыбе, и удивленная девушка увидела на ее поверхности распластавшийся скелет огромного ящера. Он лежал на боку, подвернув длинный хвост и скрестив тяжелые задние лапы. На позвонках, ребрах, даже на тупых копытцах — всюду виднелись четко написанные цифры. Череп чудовища, около двух метров длины, на затылке переходил в огромный костяной воротник, усаженный тупыми шипами. Над глазами торчали два длинных, косо направленных вперед рога, третий рог сидел на носу, а морда оканчивалась огромным клювом.

¹ Шеллак — индийская смола; после растворения в спирте дает прочный лак.

— Это трицератопс — трехрогий травоядный динозавр, хорошо вооруженный против хищников, — пояснил Никитин. — Скелет сохранился полностью, и мы его разделим на три части, заделаем в крепкие рамы, — палеонтолог указал на приготовленные брусья, — зальем гипсом и увезем в виде тяжелых монолитов, чтобы окончательно освободить от породы уже на месте, в лаборатории.

— Каковы же были хищники, если против них такое страшное вооружение? — спросила Мириам.

— Хищники! — воскликнул палеонтолог. — Ну вот, например. — И он выбрал из ящика плоский зуб с загнутой верхушкой и пильчатой нарезкой по обоим краям, около пятнадцати сантиметров в длину. — Это тиранозавр¹, владыка ящеров, ходивший на задних лапах исполн... Скоро переедем с раскопками к самым горам, — продолжал ученый, — там Мартын Мартынович нашел сразу три скелета панцирных динозавров с костяной броней, усаженной шипами. Настоящие танки, только без пушек, в отличие от современных танков, которые являются оружием нападения. Ведь травоядное животное может только пассивно защищаться: оно прячется за броней или выставляет рога, не нападая само.

Не доходя до восточного ущелья, Мириам свернула налево и повела Никитина вдоль подножия горы, меж разбросанных каменных глыб.

Перед палеонтологом и его спутницей неожиданно встала плотная стена красновато-черных пород. Ее пересекал узкий проход, похожий на след от удара исполинского меча. По обе стороны этой каменной щели возвышались две скалистые башни, высоко вверху снабженные нависающими над проходом выступами.

Узкий проход был прям, как ружейный ствол, с гладкими, словно отполированными, стенами. Пройдя по нему несколько десятков шагов, Мириам и Никитин попали в просторную долину, замкнутую со всех сторон крутыми утесами. Противоположная проходу сторона изгибалась правильным полукругом, в самой середине которого выступал огромный куб очень твердого бурого песчаника.

¹ Тиранозавр (в переводе с греческого — владыка ящеров) — самый крупный из всех хищных динозавров.

Подножие куба утопало в гряде плоских, по-видимому, недавно обрушившихся глыб, а на скошенной поверхности блестело громадное черное зеркало. Палеонтолог в недоумении осматривался вокруг.

— Месторождение асфальта, — тихо заговорила Мириам, — вернее, затвердевшей смолы, здесь. Смола залегает ровными слоями в твердых железистых песчаниках, по всей вероятности отложенных ветром, — нечто вроде древних дюн. Когда мы взорвали источник, здесь обвалились скалы и открыли свежий пласт ископаемой смолы. Его гладкая поверхность еще не повреждена выветриванием и блестит, как зеркало.

— Когда, по вашему мнению, отлагались смола и песчаник? — быстро спросил палеонтолог.

— Примерно одновременно с костями динозавров, — ответила Мириам. — Все эти отложения накапливались тут, в долинах этих древних гор, и остались почти неприкосновенными.

Никитин одобрительно кивнул головой и уселся на крупный хрустящий песок. Девушка устроилась напротив в своей любимой позе, поджав под себя ноги.

В закрытой со всех сторон долине почему-то было не очень жарко. Удивительная тишина стояла вокруг. Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала. Никитин впервые в жизни услышал их шелестящий печальный зов и удивленно посмотрел на Мириам. Девушка наклонила голову и приложила палец к губам. Вскоре в этот слабый, точно призрачный звон впились такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал.

Под эту едва различимую музыку молчаливой пустыни Никитин погрузился в глубокую задумчивость.

Травы звенели и звали заглянуть в глубину природы, говорили о том скрытом, что обычно проходит мимо нашего сознания, притушенного укоренившимися привычками и лишь в редкие минуты жизни раскрывающегося с настоящей остротой.

Никитин думал о том, что природа безмерно богаче всех наших представлений о ней, но познание ее никогда не дается даром. В тесном общении, в постоянной борьбе с природой человек подходит вплотную к ее скрытым тай-

пам. Но и тогда нужно, чтобы душа была ясной и чистой, подобно тонко настроенному музыкальному инструменту, и она отзовется на звучание природы...

Медленно поднял Никитин свой взгляд и увидел устремленные прямо на него глаза Мириам. Палеонтолог неловко поднялся на ноги и голосом, показавшимся ему самому грубым, погасил нежные зовы трав:

— Пора идти, Мириам!

Девушка безмолвно встала.

Уходя, Никитин с удовольствием оглядел полную покой долинку.

— Что же вы раньше не говорили об этом хорошем месте? — укорил он девушку.

— Вы были поглощены своей работой, — тихо ответила Мириам.

— Я перенесу лагерь к подножию каменных башен завтра же, — решил Никитин. — Кстати, главные раскопки теперь будут совсем рядом.

Уверенным, щегольским ударом Мартын Мартынович вогнал последний гвоздь в длинный ящик.

— Конец, Сергей Павлович! — весело воскликнул латыш и вытер потное лицо.

— Конец! — откликнулся Никитин. — Завтра отдых и сборы, вечером — в путь, домой! Больше задерживаться нам нельзя.

— Сергей Павлович, — просительно вмешалась Маруся, — вы давно уже обещали рассказать про этих... — девушка показала на лежавшие повсюду ящики, — зверей, да все некогда было. Что бы сегодня? Еще три часа только.

— Хорошо. После обеда пойдем в ту долинку, там побеседуем, — согласился начальник экспедиции.

Все четырнадцать человек сотрудников внимательно слушали своего начальника. Никитин говорил хорошо, с подъемом. Он рассказал, как еще в древние эпохи развития наземной жизни медленно, в миллионах поколений, совершенствовался организм животного, как появлялись подчас причудливые, странные формы четвероногих земноводных и пресмыкающихся. Как в борьбе за существо-

вание, в преодолении влияния окружающих условий постепенно отмирали все менее совершенные, менее жизнедеятельные виды; жестокая гребенка естественного отбора прочесывала поток поколений во времени, отмечая все слабое и непригодное.

К началу мезозойской эры, около ста пятидесяти миллионов лет назад, на древних материках повсюду расселялись пресмыкающиеся и одновременно от них же возникли наиболее совершенные из всех животных — млекопитающие, развивавшиеся в суровых условиях конца палеозойской эры. Но вскоре сравнительно резкий и сухой климат повсюду сменился влажным и жарким, обильная, пышная растительность покрыла сушу. Эти условия существования были более легкими, более благоприятными, и вот по всей земле распространились огромные пресмыкающиеся. Они завоевали сушу, море и воздух, достигли небывалой величины и численности.

Гигантские травоядные для защиты от хищников имели чудовищные рога или броню из костяных шипов и щитков. Другие, не защищенные броней, прятались в воде прибрежных морских лагун или озер. Они достигали двадцати пяти метров длины и шестидесяти тонн веса. В воздухе реяли летающие ящеры; из всех летающих животных они имели наибольшее удлинение крыла и, следовательно, были лучшими летунами.

Хищники ходили на задних ногах, опираясь на толстый хвост. Их передние лапы превращались в слабые, почти ненужные придатки. Для нападения служила огромная голова с большими острыми зубами в пасти. Это были чудовищные треножки, до восьми метров высоты, безмозглые боевые машины страшной силы и беспощадной свирепости.

В окружении исполинских ящеров жили древние млекопитающие — маленькие зверьки, похожие на ежа или крысу. Пресмыкающиеся в благоприятных условиях мезозойской эры подавили эту прогрессивную группу животных, и с этой точки зрения мезозой был эпохой мрачной реакции, длившейся около ста миллионов лет и замедлившей прогресс животного мира. Но, едва только начали вновь изменяться климатические условия, стала происходить смена растительности, — сразу же плохо пришлось громадным ящерам. Травоядные великаны требовали обильной, легко усвояемой пищи. Изменение кормо-

вой базы явилось катастрофой для травоядных и одновременно для гигантских хищников. Естественный баланс животного населения резко нарушился. Произошло великое вымирание пресмыкающихся и бурный расцвет млекопитающих, которые стали хозяевами Земли и в конце концов дали мыслящее существо — человека. — Представьте себе на миг бесконечную цепь поколений без единой мысли, прошедших за эти сотни миллионов лет, — закончил палеонтолог, — все невообразимое число жертв естественного отбора по слепому пути эволюции...

Ученый умолк. Высоко в уже посиневшем небе раздался клекот орла. Слушатели продолжали тихо сидеть, глядя на палеонтолога.

Никитин задумчиво улыбнулся и снова заговорил:

— Да, величие моей науки — в необъятной перспективе времени. В этом отношении палеонтология сравнима разве только с астрономией. Но у палеонтологии есть одна слабая сторона, очень слабая, мучительная для стремящихся к глубокому познанию: неполнота материала. Только очень малая часть ранее живших животных сохраняется в пластах земной коры, и сохраняется лишь в виде неполных остатков. Возьмем наши раскопки — мы добыли только кости. Правда, по этим костям мы можем восстановить полный внешний облик животных, но только в известных пределах. Хуже всего то, что мы никогда не сможем узнать в подробностях внутреннее строение животного, полностью представить его живым. Тем самым мы никогда не сможем проверить точность наших представлений, установить ошибки. Физические законы неизблемы. Сила человеческого разума и заключается в том, чтобы прямо взглянуть им в лицо, не обольщаясь сказками...

Глубокая тоска зазвучала в голосе Никитина, передаваясь слушателям. Палеонтолог резко встал:

— Ничего. Для вас, не искушенных в науке, остается вольная и могучая фантазия писателей. Не стесненные узостью точных фактов, они ярко и убедительно воскрешают исчезнувший животный мир. Советую вам прочитать «Затерянный мир» Конан-Дойля и «Борьбу за огонь» Рони-Старшего. Это мой любимый писатель, который даже на палеонтолога может действовать силой своего воображения, прекрасным описанием древней жизни, удачно схваченной тенью минувшего... — Палеонтолог,

увлекшись, начал цитировать: — «Вместе со сгустившимися сумерками упала смутная тень минувшего, и по степи, весь красный, катился зловеющий поток...»

Легкий вскрик Маруси заставил ученого прервать цитату и обернуться. В следующее мгновение дыхание его остановилось и он замер, потрясенный.

Над отливающей синью плитой ископаемой смолы встал откуда-то из ее черной глубины гигантский зелено-серый призрак. Громадный динозавр замер неподвижно в воздухе, над верхним краем скалистого обрыва, вздыбившись на десять метров над головами остолбеневших людей.

Чудовище высоко несло свою горбоносую голову; большие глаза тускло и мрачно смотрели куда-то вдаль; безгубая широкая пасть обнажала длинный ряд загнутых назад зубов. Спина животного, слегка согнутая, круто спадала в невероятно мощный хвост, подпиравший динозавра сзади. Огромные задние лапы, согнутые в суставах, не уступали в мощности хвосту, подобные двум колоннам, трехпалые, с широко распластанными пальцами, вооруженными кривыми исполинскими когтями. И почти под самой шеей, на наклонно нависшей над землей передней части туловища, нелепо и беспомощно торчали две тонкие когтистые передние лапки, такие крошечные по сравнению с гигантским туловищем и головой.

Сквозь призрак просвечивали черные утесы гор, и в то же время можно было различить малейшую подробность тела животного. Испещренная мелкими костными бляшками спина чудовища, его шероховатая кожа, местами обвисшая тяжелыми складками, странный вырост на горле, выпуклости исполинских мышц, даже широкие фиолетовые полосы вдоль боков — все это придавало видению изумительную реальность. И неудивительно, что пятнадцать человек стояли онемевшие и зачарованные, пожирая глазами гигантскую тень, реальную и призрачную в одно и то же время.

Прошло несколько минут. В неувловимом повороте солнечных лучей видение неподвижного динозавра растаяло и угасло. Перед людьми не было ничего, кроме черного зеркала, потерявшего синий отлив и отблескивавшего медью.

Громкий вздох вырвался одновременно у всех. Никитин облизнул пересохшие губы.

Долгое время никто не был в состоянии произнести хотя бы слово. Невероятное появление призрака чудовища разрушило все установленные образованием и жизненным опытом представления. Каждый чувствовал, что в его жизнь ворвалось неожиданно нечто совсем необычайное. Более всех потрясен был сам Никитин — учешый, привыкший анализировать и объяснять загадки природы. Но сейчас никакое разумное объяснение происшедшего не приходило ему в голову.

Все терялись в догадках. Лагерь шумел до поздней ночи, пока наконец Никитин не успокоил страсти заявлением, что в этой стране миражей нет ничего удивительного увидеть мираж чудовищного ископаемого. Этот призрак, по определению Никитина, никем иным, как тиранозавром, не мог быть.

Гудели проверяемые перед дальней дорогой моторы. Голубоватый дымок стлался над коричневыми гальками равнины.

Никитин взглянул на часы и поспешно направился к узкой щели в скалах.

Черпое зеркало взглянуло на него глубоко и бесстрастно. Препней тишины не было в этом месте покоя — из-за скалистых стен неся шум моторов. Неясное ощущение чего-то оборвавшегося, утраченного охватило Никитина. Он ожидал появления вчерашнего призрака, но призрак не появлялся. Должно быть, Никитин неточно заметил время его появления и опоздал.

Сожалея об упущении и сам удивляясь силе своего огорчения, Никитин долго стоял перед грудой камней, образовавших пьедестал зеркала. Позади него послышался хруст песка — Мириам быстро подошла к нему.

— Мартын Мартынович говорит, можно ехать. Я вы-звалась сбегать за вами... захотелось еще раз взглянуть... — отрывисто и быстро проговорила запыхавшаяся девушка.

— Сейчас иду, — перешительно отозвался палеонтолог, помолчал и добавил: — Подождите, Мириам!

Девушка послушно приблизилась и стала так же, как и он, всматриваться в черное зеркало.

— Что вы будете делать, когда вернетесь, Мириам? — вдруг спросил Никитин.



*Над плитой ископаемой смолы встал гигантский
зелено-серый призрак.*

— Работать, учиться, — коротко ответила девушка. — А вы?

— Тоже работать... над этими динозаврами и думать... — ученый запнулся и неожиданно резко закончил: — о вас!

Мириам опустила голову, ничего не ответив.

— Если бы я была на вашем месте, я бы все силы отдала на решение загадки с призраком динозавра. Ведь это не просто мираж... — заговорила она через минуту.

— Я и сам знаю, что не мираж! — недовольно воскликнул Никитин. — Но ведь я только палеонтолог. Если бы я был физиком...

Никитин оборвал разговор с неясной досадой на самого себя и подошел ближе к пласту удивительной окаменевшей смолы. Он долго вглядывался в его черную безответную глубину, и почти нестерпимое, дикое желание нарастало в его душе. На секунду раскрылась непроницаемая, недоступная человеку завеса времени. Из всего огромного числа людей только ему и его спутникам было дано заглянуть в прошлое. И из них только он достаточно вооружен знаниями, опытом научной работы. Мириам права... Никитина охватило властное стремление раскрыть тайну природы.

Внезапно Никитин сообразил, что видит какие-то серебристые тени, всплывающие из черной глубины. Палеонтолог стал вглядываться уже осмысленно, напрягая зрение и внимание. Разрозненные части быстро сложились в неясное, но цельное изображение; оно было подобно плохо проявленному снимку огромных размеров. В центре проступала перевернутая фигура вчерашнего тиранозавра, однако сильно уменьшенная, слева виднелась группа огромных деревьев, а позади и внизу совсем смутно угадывались вершины каких-то скал.

Достав записную книжку, Никитин окликнул Мириам и стал зарисовывать новое призрачное видение. Оба жадно вглядывались в серебристо-серые тени, но изображение не становилось яснее. Скоро перед уставшими от напряжения глазами поплыли световые пятна, и снова глубокая чернота зеркала стала слепой и беспредметной.

С усилием Никитин заставил себя уйти из загадочного места. Он сознавал, что следовало бы остаться еще на несколько дней для наблюдения над зеркалом.

По редкому капризу судьбы, ему довелось встретиться с невероятным, из ряда вон выходящим явлением. Очень скоро, может быть через несколько дней, солнце и ветер разрушат гладкую поверхность слоя смолы, и навсегда исчезнет загадка, так и не понятая им. Долг ученого — да что долг! — весь смысл существования — не упустить случайно открывшееся ему, передать всем людям.

И, вопреки всему, приходится оставить чудесное око в прошлое у далеких, трудно доступных гор. У него больше нет времени. Оттягивать отъезд опасно. И без того для полноты раскопок экспедиция работала до последнего дня. Впереди — трудный обратный путь с перегруженными машинами. Рисковать из-за полубредового, необъяснимого явления человеческими жизнями, доверенными ему? Нет, нельзя.

Никитин быстро, почти бегом, вернулся к машинам.

Подойдя к «Молнии», он еще раз оглянулся на Мириам. Она неподвижно стояла у «Истребителя», повернувшись ко входу в ущелье. Это было последним впечатлением палеонтолога, которое он увозил с собой, покидая это загадочное место.

— Посехали! — громко крикнул он и, захлопнув дверцу кабины, стал смотреть, как засверкали, убегая под крылья машины, искры гипса в долине костей.

Холодный, пасмурный свет быстро мерк в свинцовом небе. Сквозь двойные рамы виднелась черная обледенелая крыша с большими пятнами снега. Выходивший из трубы дым срывало резкими порывами ветра.

Никитин отодвинул книгу и выпрямился в кресле, охваченный глухой тоской.

Упрямый разум ученого не хотел сдаваться, но где-то внутри уже зрело горькое сознание бессилия.

С грустью вспоминал Никитин, что только безупречная репутация спасла его от явных насмешек, даже подозрений в ненормальности. Помощь, за которой он обратился к физикам, вылилась в шутливое недоумение — мало ли, в конце концов, какие бывают обманы зрения, миражи, галлюцинации! И, ставя себя на их место, Никитин не мог осудить ученых.

Еще там, в горах, у кладбища динозавров, Никитин понял, что гладкая поверхность черной смолы хранила в

себе что-то вроде фотографического снимка, непонятным образом отразившегося в воздухе. Но как мог получиться снимок без бромосеребряных пластинок, без проявления и фиксирования? И, главное, обычный рассеянный свет не создает никакого изображения — нужна камера-обскура, то есть темная камера с узкой щелью или отверстием, проходя через которое световые лучи дают перевернутую картину того, что находится в фокусе. И тиранозавр в глубине черного зеркала казался перевернутым! Но...

Чтобы разгадать эту тайну, нужен был необычайный порыв, страстное напряжение ума и воли, слившихся в достижении единственной цели. Нужно было вдохновение, но вдохновение здесь, в размеренном, привычном существовании, не приходило. Более того — все дальше отодвигалось случившееся там, за четыре тысячи километров отсюда, за степью и буграми знойных песков. Разве можно рассказать кому-нибудь, разве можно самому верить в призрачное видение страны миражей здесь, в бледном и трезвом свете холодного зимнего вечера? И Мириам... Разве не ушла Мириам из его жизни, не стала таким же исчезнувшим миражем?

Никитин закрыл глаза. Миг — и исчезло потемневшее окно, снег и холод. Перед мысленным взором Никитина возникали одна за другой картины.

Слепящие, яркие белые стены, темная, пронизанная горячим золотом зелень листвы, журчащие арыки, медные клубы пыли... Снова плли, покачиваясь, машины под мерный гул моторов в дрожащем, жарком воздухе, прорезая голубые цепи причудливых миражей. Сквозь дымку фантастического, ускользающего мира, повисшего над беспредельной сожженной равниной, все ярче выступал такой знакомый облик далекой Мириам. Палеонтолог вскочил, громыхнув креслом.

«Как я не понял этого сразу? Почему не сказал ей тогда? — думал он, шагая по комнате. — Но ведь можно и сейчас поехать, написать...»

Никитин заволновался — к сердцу подступало что-то властное, требовавшее немедленного решения... Он поедет к ней, скажет все. Теперь же.

Никитин неуклюже взмахнул рукой и задел позвонок динозавра, лежавший недалеко от края стола. Тяжелая кость с грохотом упала на пол, разбилась на несколько кусков. Ученый опомнился и бросился подбирать рассы-

павшиеся осколки. Ему стало стыдно, точно его сокровенные грезы подглядел кто-то чужой. Никитин торопливо оглянулся, и окружавшее его опять неумолимо заполнило душу. Это его мир, спокойный, простой и светлый, хотя временами, может быть, и слишком узкий. Высокий шкаф со стеклянными дверцами хранит на своих полках еще много неизученных сокровищ — остатков древней жизни...

И, кроме всего этого, великая загадка тени минувшего. Разве это мало для него, неповоротливого тяжелодума, вечно опаздывающего, как говорил его учитель? Вот и с Мириам — он опоздал, безнадежно опоздал сказать ей там, в горах Аркарлы, в долине звенящих трав... А сейчас, чтобы завоевать Мириам, ему нужно все свои помыслы, все силы отдать этому. Как раз тогда, когда так много времени и энергии требует от него разгадка тени минувшего. Разве он сумеет, разве его хватит на все? Да и почему он так уверен, что Мириам готова полюбить его? А если она любит другого?

Никитин внезапно успокоился и снова сел в кресло. Человеческий ум не мог опустить свои мощные крылья перед непостижимым. Призрак динозавра должен был иметь какое-то объяснение!

Эта непреклонность перед самыми трудными задачами, протест против слепой веры и есть самая замечательная черта человеческого ума...

И все же думы Никитина невольно возвращались к экспедиции в пустыню. Он припоминал все до мелочей, особенно последние дни перед возвращением в Москву. Цепкая память натуралиста неожиданно оказала ему большую услугу.

Никитин вспомнил, как он в день отъезда из белого города ожидал машину в гостинице. Он растянулся на широком диване. Окно комнаты выходило на улицу, залитую могучим южным солнцем. Ставни были закрыты, в полумрак комнаты из щели между ставнями вонзался прямой и слабый световой луч.

На стене против окна промелькнули какие-то тени. Невольно проследив их движение, Никитин вдруг увидел ясное перевернутое изображение противоположной стороны улицы. Совершенно четко вырисовывались голые ветви тополей, приземистый дом с новой крышей, решетка железных ворот. Вот быстро прошел человек, скидывая

полами халата, смешной, маленький, перевернутый вверх ногами...

Подобно свежему ветру, в голове Никитина пронеслось быстрое соображение: маленькая, замкнутая, затененная нависшими скалами впадина в горах Аркарлы... узкая щель — проход на просторную равнину и точно напротив нее смоляное зеркало... Ведь это огромная естественная камера, фокус, который можно вычислить! Теперь для него ясно, как могло получиться изображение, но... но главное все еще непонятно: как же запечатлелся снимок, как могла сохраниться в тысячах веков мимолетная игра света и теней? Фотография не дала пока никакого ответа.

А! Стой!..

Никитин вскочил и зашагал по комнате.

Изображение было цветным! Нужно тщательно посмотреть теорию цветной фотографии.

Весь следующий день Никитин, забыв обо всем на свете, изучал толстую книгу по цветной фотографии. Он уже успел ознакомиться с теорией цветов и анализом человеческого зрения и теперь, просматривая последний отдел, «Особые способы цветной фотографии», внезапно наткнулся на письмо Ниспса к Дагерру¹, написанное еще в 30-х годах прошлого столетия.

«...причем оказалось, что лакировка (асфальтовая смола) пластинки изменялась под действием света, что давало в проходящем свете нечто подобное изображению на диапозитиве, и все цветные оттенки можно было видеть очень отчетливо», — писал Ниспс.

Никитин глухо вскрикнул и, стиснув виски, как будто сдерживая разбегающиеся мысли, стал читать дальше:

«Когда полученное изображение рассматривалось под определенным углом в падающем свете, то можно было видеть очень красивый и интересный эффект. Явление это следовало бы поставить в связь с ньютоновским явлением цветных колец: возможно, что какая-либо часть спектра действует на смолу, создавая тончайшие различия в толщине слоев...»

¹ Дагерр Луи — французский изобретатель и ученый; разработал первые методы фотографии. Ниспс Жозеф — французский физик; ему принадлежат самая идея фотографии и изобретение камеры-обскуры.

Драгоценная нить объяснения призрака тиранозавра потянулась через страницы. Вначале тонкая и хрупкая, она постепенно становилась крепче и надежнее.

Никитин узнал, что под воздействием стоячих световых волн изменяется структура гладкой поверхности фотографических пластинок, что эти стоячие волны создают определенные цветовые отпечатки, не зависящие от обычного черного изображения, получаемого в результате химического воздействия света на бромистое серебро фотопластинки. Эти отпечатки сложных отражений световых волн, совершенно не видимые даже при сильных увеличениях, отличаются только одной способностью — избирательно изображать свет только определенного цвета, при освещении изображения под одним, строго определенным углом. Сумма этих отпечатков и дает великолепное изображение в естественных цветах.

Значит, в природе существует непосредственное воздействие света на некоторые материалы, достаточное для получения изображения и без помощи разлагаемых светом соединений серебра. Именно это и было той зацепкой, которой так не хватало ученому.

Никитин ускорил шаги. С подтаявших крыш падали редкие капли. Ученый, волнуясь, спешил в институт. Три месяца работы не прошли даром — он знал, что и где искать, и теперь помощь оптиков, физиков и фотографов далеко продвинула решение задачи. И вот сегодня он впервые решается выступить перед ученым миром.

Тема доклада и имя Никитина собрали значительную аудиторию. Палеонтолог рассказал о невероятном случае с призраком тиранозавра и сейчас же заметил веселое оживление собравшихся. Никитин нахмурился, но продолжал исторопливо и четко:

— Этот свежевскрытый слой ископаемой смолы, оказывается, хранил в себе световые отпечатки — снимок одного момента существования природы мелового периода. Солнечные лучи, отражаясь от этого черного зеркала под определенным углом, отбросили, вроде проекционного фонаря, на какие-то создающие мираж струи воздуха гигантский призрачный облик живого динозавра уже не в перевернутом виде. Получилось своеобразное слияние от-

раженного изображения с миражем, увеличившее размеры светового отпечатка.

Без сомнения, выдержка, нужная для получения светового отпечатка в смоле, была велика... Но, возможно, сила солнечного освещения в те времена в районах тропическим климатом была несколько больше, а может быть, и динозавры могли целыми часами стоять неподвижно. Современные крупные пресмыкающиеся — крокодилы, черепахи, змеи, большие ящерицы — по несколько часов остаются неподвижными, не меняя положения. Их нельзя сравнивать с бурлящими энергией млекопитающими. Поэтому при условии большой выдержки вполне возможны снимки живых ящеров, что и доказано виденным мною динозавром.

Я рассчитал место, с которого был запечатлен снимок, — ученый показал на большой план местности, приколотой к доске, — оно в ста тридцати девяти метрах от подножия каменных башен. Полученный благодаря сильному освещению, или особенному расположению облаков, или еще каким-либо другим условиям снимок, очевидно, был немедленно закрыт натеками последующих слоев асфальтовой смолы и таким образом сохранен от уничтожения. Сотрясение от взрыва отделило все верхние слои, вскрыв непосредственно асфальтовый снимок...

Никитин помолчал, стараясь преодолеть охватившее его волнение.

— В конце концов, — продолжал он, — важно не это чудесное происшествие, не то, что несколько человек впервые в мире увидели живой облик ископаемого животного. Величайшее значение только что доложенного вам наблюдения заключается в реальном существовании световых отпечатков древнейших эпох, запечатленных в горных породах и сохраняющихся десятки, может быть, сотни миллионов лет. Это реальные тени минувшего из таких глубин времени, которых мы даже не можем охватить своим разумом. Мы не подозревали об их существовании. Никому и в голову не приходило, что природа может фотографировать самоё себя, поэтому мы и не искали этих световых отпечатков.

Конечно, снимки минувшего требуют такого количества совпадений различных условий, что могут получиться и сохраниться только в невероятно редких случаях. Но ведь за огромное количество прошедшего времени и число

таких случаев должно быть очень большим! К примеру: каждый случай сохранения ископаемых костей тоже требует очень редких совпадений. Тем не менее мы знаем уже очень много вымерших животных, и их число возрастает чрезвычайно быстро по мере развития палеонтологических исследований.

Световые отпечатки, снимки минувшего, могут образоваться и сохраниться не только на асфальтовых смолах. Без сомнения, мы можем искать их в некоторых распространенных веществах горных пород — солях окиси и закиси железа, марганца и других металлов. Давно известно фотографирование методом выцветания, путем разрушения светом какой-нибудь нестойкой к нему краски и получения таким образом дополнительного цвета. Где искать их, эти картины прошлого? В тех отложениях горных пород, где мы можем предполагать очень быстрое наслоение на открытом воздухе или в очень мелкой воде. Вскрывая без повреждения поверхность напластований и улавливая световые отражения какими-нибудь приборами, облегчающими восприятие световых отпечатков, мы должны научиться понимать эти следы световых волн минувших времен.

Наконец, мы вправе предположить, что природа фотографировала свое минувшее не только с помощью света. Вспомните еще не объясненные наукой до конца снимки окружающего, которые оставляет изредка молния на деревянных досках, стекле, коже пораженных ею людей. Можно представить себе запечатление изображений с помощью электрических разрядов, невидимых излучений вроде радия. Отдайте себе только ясный отчет в том, что вы ищете, и вы будете знать, где искать, и найдете!..

Никитин закончил доклад. Последовавшие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступление Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую «палеофантазию». Но все нападки не задели ученого. У него давно уже окрепло твердое решение.

Металлические удары глухо разносились по огромному залу. Никитин остановился у входа. В двух стоявших друг против друга витринах приземистые ящеры

скалили черные зубы. За витринами пол был завален брусьями, железными трубами, болтами и инструментами. Посредине на скрещенных балках поднимались вверх две высокие вертикальные стойки — главные устои большого скелета динозавра. К задней стойке уже присоединились сложно изогнутые железные полосы. Два препаратора осторожно прикрепляли к ним громадные кости задних лап чудовища. Никитин скользнул взглядом по плавному изгибу трубы, обрамлявшей каркас сверху и щетинившейся медными хомутиками. Здесь будут установлены все восемьдесят три позвонка тиранозавра по контуру хищно изогнутой спины.

У передней стойки Мартын Мартынович с большим газовым ключом балансировал на шаткой стремянке. Другой препаратор, мрачный и худой, в холщовом халате, карабкался по противоположной стороне лестницы с длинной трубой в руках.

— Так не выйдет! — крикнул палеонтолог. — Осторожнее! Не лепитесь передвинуть леса.

— Да ну, что тут канителиться, Сергей Павлович! — весело отвечал сверху латыш. — Мы — да не сумеем? Старая школа!

Никитин, улыбнувшись, пожал плечами. Мрачный препаратор вставил нарезку трубы в верхний тройник, которым закапчивалась стойка. Мартын Мартынович энергично повернул ее ключом. Труба — опора массивной шеп — повернулась и повлекла за собой мрачного препаратора. Он и латыш столкнулись грудь с грудью на узенькой верхней площадке стремянки и рухнули в разные стороны. Грохот упавшей трубы заглушил звон стекла и испуганный крик. Мартын Мартынович поднялся, смущенно потирая свежую шишку на лысой голове.

— Падать — это тоже старая школа? — спросил палеонтолог.

— А как же ж! — подхватил находчивый латыш. — Другие бы покалечились, а у нас пустяк — одно стекло, и то не зеркальное... Леса-то придется передвинуть, неладно же ж, — как ни в чем не бывало закончил Мартын Мартынович.

Никитин надел халат и присоединился к работающим. Наиболее медленная часть работы — предварительная сборка скелета и изготовление железного каркаса — была уже пройденным этапом. Теперь каркас был готов, оста-

валось собрать его и прикрепить на уже припаянных и привинченных к нему упорах, хомутиках и болтах тяжелые кости — тоже результат многомесячного труда; препараты освободили их от породы, склеили все мельчайшие отбитые и рассыпавшиеся части, заменили гипсом и деревом недостающие куски.

Каркас был прилажен удачно, исправления в ходе монтировки скелета оказались незначительными. Ученые и препараты работали с энтузиазмом, задерживаясь до поздней ночи. Всем хотелось скорее восстановить в живой и грозной позе вымершее чудовище.

Через неделю работа была закончена. Скелет тиранозавра поднялся во весь рост; задние лапы, похожие на ноги гигантской хищной птицы, застыли в полушаге; длинный выпрямленный хвост волочился далеко позади. Громадный ажурный череп был поднят на высоту пяти с половиной метров от пола; полураскрытая пасть напоминала согнутую под острым углом пилу с грубыми редкими зубьями.

Скелет стоял на низкой дубовой платформе, сверкающей черной полированной поверхностью подобно крышке рояля.

Косые лучи вечернего солнца проникали через высокие сводчатые окна, играя красными отблесками на зеркальных стеклах витрин и утопая в черноте полированных постаментов.

Никитин стоял, облокотившись на витрину, и придирчиво оглядывал в последний раз скелет, стараясь найти какую-нибудь незамеченную ранее погрешность против строгих законов анатомии.

Нет, пожалуй, все достаточно верно. Огромный динозавр, извлеченный из кладбища чудовищ в пустыне, теперь стоит доступный тысячам посетителей музея. И уже заготавливаются каркасы для других скелетов рогатых и панцирных динозавров — великолепный результат экспедиции...

Блеск солнца на черной крышке постамента живо напомнил палеонтологу смоляное зеркало в горах Аркарлы... Да, конечно, скелет поставлен им в той же позе, в какой неизгладимо врезался в память призрак живого тиранозавра. И эта поза производит впечатление полной естественности, чего нельзя сказать про монтировки других музеев.

«Если бы мои уважаемые коллеги знали, чем я руководствовался! — усмехнулся про себя Никитин. — Впрочем, победителей не судят».

И снова мысли ученого, подобно стрелке компаса, повернулись к разгаданной тени минувшего. Призрак перестал быть загадкой, явление было ясно ученому. Исчезла и страстная напряженность мысли, возмущение разума перед непостижимой тайной природы. Ход размышлений стал спокоен, холоден и глубок.

Ученый хорошо понимал, что до тех пор, пока он не докажет миру действительное существование световых отпечатков прошлого, ему придется работать одному. У него, по всей вероятности, не будет ни специальных средств, ни лишнего времени — все ему придется делать попутно со своей основной работой. Огромная, непосильная задача! И сама геология против него.

В процессах, созидających осадочные горные породы, то есть те наслоения, которые могут воспринимать световые отпечатки, чрезвычайно редки случаи быстрого отложения одного слоя за другим. Тем более на поверхности, а не в глубинах озер и морей! Нужно отыскать наслоения, отложенные со скоростью, достаточной для того, чтобы избежать последующего воздействия света. И это должно совпасть с условиями, хотя бы отдаленно подобными камере-обскуре, чтобы на поверхность слоя упал не просто рассеянный свет, а световое изображение. А сколько уже полученных снимков может погибнуть в дальнейшем при уплотнении, перекристаллизации или других химических изменениях осадочных пород!

Какие шансы найти в бесконечно большом числе напластований именно ту поверхность, которая одна из миллионов ей подобных сохранила снимок минувшего?

Неужели глубины времен навсегда останутся безответными и недостижимыми для нас?

Нет, именно эта бесконечная, бездонная глубина прошлого должна помочь нам. Нужна редчайшая случайность, та, которая может быть раз в тысячу лет, и нет никаких шансов наткнуться именно на нее. Но если этих тысячелетий прошли миллионы, то миллион случайностей — это уже вполне доступное для наблюдений число... И оно во много раз увеличивается еще тем, что поверхность Земли огромна.

Территория нашей Родины — это сотни миллионов квадратных километров, сложенных разными горными породами, образовавшимися в самых различных условиях. Имея дело с большими числами, нужно отказаться от узких, рожденных житейским опытом представлений... «В поисках мпнувшего моя родина за меня, — думал ученый. — Где же еще обнаружить новые снимки прошлого, как не на ее необозримых просторах!»

Уверенность и стремление к новым поискам, новой борьбе снова воскресли в душе Никитина.

Прежде всего необходим аппарат, улавливающий отраженный от слоя породы свет. Может быть, камера с очень светосильным и в то же время широкоугольным объективом. Очень важно правильно установить угол отражения... Может быть, сделать вращающуюся призму?

Никитин, не взглянув более на скелет тиранозавра, поспешил в свой кабинет.

— Нет, не сюда, товарищ профессор. — Бородатый колхозник с суровым лицом остановил шедшего в задумчивости Никитина. — Тропинка эта верховая, а нам надо налево, в овраг.

— А далеко еще до красных обрывов? — спросил один из помощников Никитина.

— Как спуститься оврагом до реки — с километр, да берегом километра четыре. — И проводник деловито зашагал вперед.

Огромные, толстые ели стеснили тропинку. В промежутках между серовато-зелеными стволами и косыми замшелыми нижними ветками глубоко внизу поблескивала река, как разбросанные осколки разбитого зеркала. Воздух был насыщен сладковатым запахом еловой смолы, более мягким и приторным, чем запах сосны. Овраг, заросший ольхой, походил на длинный крытый коридор, устланный толстым слоем побуревших старых листьев. Листья становились все чернее и мокрее, под ними захлопала вода. Овраг кончился. Исследователи оказались на берегу быстрой и холодной реки, узкое русло которой пролегало в высоких крутых берегах. Каждый поворот реки и тихое плесо обозначались издали ярким блеском солнца. Быстрины были тусклые и от этого казались хмурыми и холодными. Невдалеке виднелись крутые обрывы темно-

пурпурных глип, окаймленные сверху зелеными арками заросшей верхней кромки склона.

Вскоре маленький отряд достиг обрывов, и рабочие приступили к делу. В дюжих руках быстро замелькали лопаты и кирки. Глина крупными зернами, шурша, катилась в реку, словно дождь орехов. Осторожно подбивая клипья, обнажили блестящую, гладкую поверхность слоя глины. Пласт лежал с небольшим наклоном, и Никитину пришлось соорудить помост и установить свой аппарат высоко над вскрытым слоем. Кончив свое дело, рабочие ушли, помощники отправились вверх по берегу с удочками, и палеонтолог остался один.

Часы шли, Никитин дежурил у аппарата, изредка позволяя себе па две-три минуты закрыть усталые глаза. Ученый не волновался, почти совершенно уверенный в очередной неудаче. Неоднократно и в разных местах Никитин устапавливал свой прибор, в томительном ожидании вглядываясь в мертвую гладь камня. С каждым разом волнение и ожидание нового открытия слабели, угасала надежда, но ученый упорно продолжал свои наблюдения во всех подходящих, по его мнению, местах. Так и теперь, почти без интереса, связанный лишь взятым на себя тяжелым долгом, Никитин наблюдал в аппарат свежевскрытый слой затвердевшей пурпурной глины. Солнце медленно изменяло углы освещения, могучие ели слабо качали своими верхушками, чуть слышно плескала вода в прибрежной осоке. И вдруг в однообразном ровном освещении появились редкие темные пятна, стали резче, разбросались по всему вскрытому слою. Подбирая наклон отражения с помощью вращающейся призмы, Никитин добился наконец ясной видимости.

Перед ним был очень светлый берег необычайно прозрачного зеленого моря. Почти идеальная плоскость серебряно-белого песка неумовимо переходила в изумрудную воду. Длинные прямые гребешки маленьких волн застыли в своем взлете, прочертив кристально ясную поверхность воды яркими синева-зелеными полосами. На более далеком плане полосы дробились в треугольники, заостренные верхушки волн заворачивались вниз, показывая вспышки ослепительно белой, тоже серебряной пены. В чистой зелени воды даль казалась голубой, чувствовались дивная прозрачность воздуха и поразительная яркость света.

Почти со страхом смотрел Никитин на этот кусочек несказанно светлого и ясного мира, сознавая, что гребешки волн застыли в солнечных лучах, светивших более четырехсот миллионов лет назад. Это был берег силурийского моря...

Видение исчезло очень скоро с ничтожным поворотом солнца. Дневной свет, вызывая видение, сам же и гасил его, не давая возможности пустить в ход фотографический аппарат.

Никитин остался ночевать тут же, под помостом. Только завтра в этот же час солнце снова могло вызвать к жизни призрачные тени.

Но напрасно дрожал ученый от ночной сырости, отбивался от надоедливых комаров. Переменчиво северное лето: пасмурное утро закончилось дождем. В промозглом тумане ученый с отчаянием следил, как струилась вода по гладкой поверхности глины, как струйки дождя постепенно краснели и как, наконец, снимок чудесного силурийского моря превратился в липкую бурую грязь.

Второй раз удалось Никитину увидеть тень минувшего, только на миг восхитившись прекрасным видением. Но все же, если поиски удались однажды, нужно пробовать снова и снова!

Теперь Никитин решил попытаться искать снимки прошлого на стенах пещер — этих естественных камерах-обскурах. Там снимок защищен от капризов погоды, от изменений солнечного освещения. А он, наученный горьким опытом, будет теперь готовить фотоаппарат заранее, перед наблюдением. Тогда минувшее не ускользнет. Нужно искать в неглубоких пещерах, где в известковых патеках окажутся изменяющиеся от света вещества.

Над густой масляной водой медленно полз редкий серый туман. Берега светились от илея, а круто спадавшие горные склоны угрюмо чернели, оттаяв в лучах поднимающегося солнца. Тупой нос неуклюжего карбаза, закрытый просмоленным брезентом, был направлен на далекую отвесную скалистую кручу, вставшую поперек могучей реки.

Широкое плесо дышало пронизывающим холодом, струилось беззвучно и быстро. Издалека неся рокочущий, тяжелый рев. Никитин стоял на ослизлых досках руле-

вого помоста рядом с лоцманом, крепко державшимся за деревянные колышки, вбитые в бревно рулевого весла.

Лоцман потер неуклюжей рукавицей покрасневший нос.

— То Боллоктас ревет, — хрипло сказал он, придвигаясь к Никитину, — самый страшный порог!

— За поворотом? — медленно спросил Никитин.

Лоцман хмуро кивнул.

— Там и есть пещера? — продолжал Никитин. — На левом берегу?

— Взаправду причаливаться хотите? — тревожно прохрипел лоцман.

— Да, другого выхода нет, берегом по кручам не пройти, — твердо ответил ученый.

Поверхность воды начала вспучиваться длинными и плоскими волнами. Карбаз — тяжелый плоскодонный ящик с треугольным носом — стал медленно покачиваться и нырять. Под носом захлюпала вода. Рев приближался, нарастая и отдаваясь в высоких скалах. Казалось, самые камни грозно ревели, предупреждая пришельцев о неминуемой гибели.

Лоцман подал команду, гребцы заворочали тяжелыми веслами. Карбаз повернулся ныряя. Река входила в узкое ущелье, сдавившее ее мощный простор. Гигантские утесы, метров четырехста высотой, надменно вздымались, сближаясь все больше и больше. Русло реки напоминало широкий треугольник, вершина которого, вытягиваясь, исчезала в изгибе ущелья. У основания треугольника высокий пенистый вал обозначал одиночный большой камень, а за ним треугольник пересекался рядом острых, похожих на черные клыки камней, окруженных неистово крутящейся водой. Ущелье вдали было заполнено острыми стоячими волнами, точно целый табун вздыбленных белых коней протискивался в отвесные темные стены. На лево в каменную стену вдавался широкий полукруглый залив, искривляя левую сторону треугольника, и туда яростно била главная струя реки, взметывая столбы сверкающих брызг.

Никитин опустил бинокль и схватился за рулевое весло, помогая лоцману. Павстречу летел, оглушительно шумя, средний камень. Карбазу пужно было пройти не по сливу, а с опасной левой стороны, иначе непреодолимая сила воды отбросит судно к гряде камней и... к пещере

можно будет попасть лишь в будущем году. А это значит — никогда, потому что работы экспедиции были закончены, предстояло спешное возвращение.

— Бей пуще! Пуще! — заорал лоцман.

Карбаз взлетел на гребень высокого вала — за камнем вода падала в глубокую темную яму. Карбаз рухнул туда. Раздался тупой стук днища о камень, рывок руля едва не сбросил Никитина и лоцмана с мостков, но оба крепко уперлись в бревно и пересилили. Судно слегка повернуло и несло теперь под тупым углом к берегу, отклоняясь к грозным каменным клыкам. Карбаз, заливаемый водой и пеной, отчаянно дергался, прыгая на высоких волнах.

— Гребите! — надсаживался лоцман.

Промокшие и вспотевшие гребцы — рабочие и сотрудники экспедиции Никитина — изо всех сил рвали непослушные весла. Менее опытные со страхом ожидали крушения, взглядывая на упрямого начальника. Его лицо, обросшее темной бородой, казалось грозным.

Никитин стоял, широко расставив ноги, на дрожащих мостках, мысленно измеряя и рассчитывая расстояние до белой пенной линии — границы отраженного обратного течения. Лоцман, закусив губу, смотрел туда же. Карбаз замедлил ход, потом снова рванулся вперед и бросился прямо в кипящую пену. Хотелось зажмурить глаза и сжаться в комочек — секунда, и судно неминуемо разобьется в щепы о скалы. Однако ход карбаза снова стал замедляться. С резким толчком судно остановилось и, подхваченное обратным течением, вошло в глубокую черную воду, тихо плескавшуюся у подножия гнейсовых уступов, круто спадавших в реку.

Никитин не сдержал вздоха облегчения. В конце концов, рискованное исследование пещер Боллоктаса вовсе не входило в задание его экспедиции, и если бы в погоне за тенью минувшего случилось несчастье... Но карбаз уже причалил, мягко ткнувшись в скалу. Коллектор лихим прыжком соскочил на выступ скалы и закрепил за камень причальный канат.

— С благополучным прибытием, товарищ начальник! — шутливо согнулся перед Никитиным лоцман.

— Лихо прошли! — одобрительно отозвался ученый.

— По-русски, верняком! — отрубил лоцман.

Крутые склоны поднимались над карбазом метров на полтора. Выше склон образовал широкий уступ, длин-

ную площадку, полукольцом огибавшую выступ берега. Над площадкой склон горы становился пологим. У его основания располагалось девять черных отверстий — входы в пещеры. Весь склон зарос невысокими кудрявыми соснами, белел сухим оленьим мхом.

Никитину и его помощникам без особого труда удалось поднять наверх все нужное снаряжение. Весь остаток дня провел палеонтолог в пещерах, пока не убедился, что был прав в своих предположениях.

На плоской задней стене пещеры тонкие гладкие натски наслаивались последовательно. Порода была окрашена в густой желто-зеленый цвет. Никитин надеялся, что примеси солей железа и хрома, изменившись под действием света, могут сохранить в каком-либо слое световой отпечаток той эпохи, когда здесь били горячие ключи и еще не потухла окончательно вулканическая деятельность, — около шестидесяти тысяч лет назад.

Помощники ученого расчистили вход. Круглое отверстие отбрасывало свет на заднюю стену. Пещера и в самом деле была похожа на внутренность фотографического аппарата.

С бесконечным терпением и тщательностью Никитин приступил к работе. Счищая слой за слоем, он освещал поверхность каждого слоя специально сконструированной им магнeвой лампой.

Ученый поворачивал то лампу, то призму, меняя углы освещения и отражения, но ни малейшего намека на видение не проступало в стеклах прибора.

Больше десяти тонких слоев уже было осмотрено и сбито со стены. Оставалась очень тонкая корка патека. Никитин незаметно проработал всю ночь, но, озлобленный неудачей, не чувствовал усталости. Только рябило в глазах от яркого света да подходил к концу запас магнeвой смеси.

Неужели еще одно потерянное лето — сейчас, когда он достаточно вооружен для поимки тени прошлого!

Одиннадцатый слой показался Никитину еще более гладким, чем все прежние. Ученый снова зажгe магнeвую лампу. Несколько поворотов шаровой головки — и в приборе проступило круглое смутное изображение. Серая, неясная тень в правом углу походила на согнутую человеческую фигуру с какой-то косой линией за плечом; налево смутные пятна очерчивали нечто округленное и



*Никитин и его помощники подняли наверх все
нужное снаряжение.*

непопятное. Никитин регулировал прибор, но видение не становилось яснее. Он понимал, что перед ним новый снимок минувшего, однако настолько неясный, что было бы затруднительно даже описать его, не только сфотографировать. Никитин всыпал новую порцию магниевой смеси, увеличив до предела свет лампы. Да, это, без сомнения, человеческая фигура. Значит, все дело в силе освещения. Хотя магниевый свет и дает спектр, подобный солнечному, но сила его недостаточна. Только могучее солнце может дать жизнь им же порожденным теням! И чувствительность его аппарата недостаточна — он слишком прост, этот копирующий фотокамеру прибор.

Перегретая лампа, вспыхнув в последний раз, погасла. В тьме пещеры явственно выделялось круглое отверстие входа... Рассвет! Обычное спокойствие оставило ученого — в ярости он стукнул кулаком по ни в чем не повинному прибору.

Никитин совсем разъярился. В пещере ему не хватало воздуха, он бросился наружу и, сильно стукнувшись головой о свод, упал на колени. Удар несколько образумил ученого, но ярость, клокотавшая в нем, не угасла. Прищуренным глазом он оглядел нависшую над входом глыбу. Так, его лампа не годится! Но он увидит тень минувшего при солнечном свете! Он всегда имел при себе аммонал, чтобы при случае быстро вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу.

Палеонтолог деловито осмотрел склон над пещерой, заметил длинные вертикальные трещины, рассекавшие гнейсовые глыбы. Обрушить этот каменный занавес — пустяки!

Ученый начал спускаться к берегу, где расположились на ночлег его спутники, но передумал и вернулся в пещеру. Там он определил угол, под которым падал на поверхность известкового слоя свет его лампы, и взял по компасу направление. Отлично! Солнце будет тут между двумя и тремя часами. Можно успеть выспаться как следует, а то глаза так устали, что и при солнце он ничего не увидит. Хорошо, что утро обещало погожий день!

Как только рассеялась пыль от взрыва, Никитин стал поспешно устанавливать аппарат, балансируя на грудах каменных осколков. Гладкая зеленоватая стена, не повре-

жденная взрывом, влажно отблескивала в ярком дневном свете.

Нет, теперь он не будет наивен — приготовленная кассета крепко зажата в руке. Едва мелькнет в стекле прибора рожденное солнцем изображение — и он установит фокус, сразу же кассета будет вставлена в аппарат. В результате удачного снимка будет доказано существование, более того — возможность сохранения и передачи теней минувшего. Решительный поворот в трудном пути — дальше он пойдет уже не один! Что значат усилия одиночки в сравнении с дружной работой многих людей, очень хорошо известно каждому, кто пытался проложить новые дороги в науке или технике.

Никитин посмотрел на часы — два часа двадцать три минуты — и прильнул к стеклу, вцепившись в поворотный винт призмы. Снова медленно потянулось время, но сейчас ожидание было напряженным — ученый знал, что увидит минувшее.

Медленно, очень медленно солнце изменяло свое положение на небе. Никитин забыл про все окружающее...

Вот серая согнутая тень направо постепенно вырисовалась четким контуром человеческой фигуры. Косая линия обрисовала копьё.

Вобрав голову в широкие плечи со вздутыми, напряженными мускулами, человек уселся, пригнувшись, выставил вперед длинное копьё. Широкое, изборозженное морщинами лицо было наполовину повернуто к Никитину, но глаза устремлены на синеющие вдали округлые, заросшие лесами горы, открывавшиеся за обрывом площадки. Никитин успел заметить густые всклокоченные волосы, обрамлявшие довольно высокий лоб, выдающиеся скулы, массивные челюсти. Ученому показалось, что на лице человека он прочел тревожное и мучительное раздумье, словно тот в самом деле пытался заглянуть в будущее. Все это Никитин рассмотрел за несколько мгновений. Несмотря на жгучий интерес к другим деталям картины, палеонтолог не мог разрешить себе дольше всматриваться в аппарат, ему нужен был снимок. Никитин быстро вставил кассету и схватился за шибер, чтобы открыть пластинку, но замер на месте, так и не сделав нужного движения. Блеск гладкой стены внезапно потух, вокруг потемнело, и, оглянувшись, Никитин увидел массивную длинную тучу, медленно наползавшую на солнце.

А за ней сомкнутыми рядами, оседая на вершины окрестных сопок, ползли из-за гор тяжкие свинцовые облака того зловещего лилового оттенка, который предвещает сильный снегопад.

С отчаянием в душе ученый осматривал небо. Если пойдет снег, то он больше ничего не увидит — тончайшие отпечатки света неминуемо будут стерты.

Затаив смутную надежду, Никитин покрыл аппарат плащом, оставив его на месте до следующего дня, и апатично поплелся к палаткам. Нелепая случайность, новая неудача отравили сознание, обессилили тело.

Спутники Никитина притихли, глядя на подавленного, молча сидящего начальника; они переговаривались вполголоса, как у постели тяжелобольного.

В скалах жалобно завыл ветер, закрутились крупные хлопья снега.

Никитин палил себе спирту, выпил и приказал припести сверху аппарат. Не только погибла всякая надежда увидеть снова образ древнего человека — больше нельзя было допускать ни одного лишнего часа задержки. Приходилось взять себя в руки: запоздание могло привести к тому, что карбаз попадет в ледостав и застрянет в замерзшей реке ниже порогов, среди безлюдной тайги.

Наутро, едва лишь на небе резко выступили вершины сопки, люди засуетились, укладывая вещи.

Причальный капат тихо плеснул, упав в воду; карбаз едва заметно продвигался к пенной границе главной струи. Вдруг словно чудовищная мягкая лапа подхватила судно. Карбаз рванулся вперед и понесся в ущелье, где исчез, прыгая, как щетка, в реве и пене острых волн.

Настольная лампа с глубоким колпаком бросала круг света на заваленный книгами стол. В большом кабинете было полутемно. Никитин в напряженном раздумье неподвижно сидел у стола.

Три года, как он не знает покоя... Прежняя работа кажется ему теперь такой спокойной и ясной, так манит снова отдаться ей целиком! А он не может и разрывается между старым и новым, стараясь добросовестно выполнять свои прежние задачи, в то время как вся душа его — в погоне за тенью минувшего. За эти три года еще дважды минувшее было у него в руках, два раза он видел

то, что не дано было никому увидеть. И он так же далек от выполнения задачи, как в тот незабываемый момент в горах Аркарлы. И аппарат... он не годится. Он слишком груб.

Должно быть, он сделал ошибку в прошлом. Человек не должен быть одинок...

Никитин зажег верхний свет и, щурясь, стал собирать разбросанные бумаги. Бросил взгляд на свой прибор, стоявший на отдельном столике, потертый и исцарапанный в путешествиях. На секунду сравнил себя с ним, горько усмехнулся и вышел.

В музее было темно. Кабинет Никитина находился в конце огромного зала, заполненного витринами и скелетами вымерших животных. Выйдя из освещенной комнаты, Никитин как бы ослеп. Он знал проходы между витринами, но знал также, что в нескольких местах в проходе выступают рога и оскаленные пасти скелетов, стоящих на открытых платформах. В темноте легко было ушибиться или, что еще хуже, разбить хрупкие кости.

Ученый остановился и стал ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Вот едва заметно заблестели стекла витрин, но темные кости скелетов сливались с темным пространством зала, который казался пустым. Многолетней привычкой Никитин чувствовал незримое присутствие мертвого населения музея. Странное впечатление овладело палеонтологом — словно зал был наполнен призраками, ощущаемыми, но невидимыми.

Никитин двинулся вперед, ворча на несовершенство собственных глаз. Он знает все, что здесь находится, знает, что где стоит, и ничего не видит. Не хуже тени минувшего! Скелеты существуют и в то же время исчезли — для глаз слишком мало света...

И вдруг Никитин остановился — сравнение с тенью минувшего поразило его. Как он был наивен, надеясь только на свои глаза! Почему он упустил из виду, что топчайшие отпечатки световых волн могут в огромном большинстве случаев отражать лишь ничтожные количества света, количества, не воспринимаемые обычным зрением? Потому и искусственное освещение не могло вызвать вполне отчетливо запечатлевшиеся картины минувшего. А сколько, значит, пропущено более слабых отпечатков!

Никитину стало стыдно. Он, ученый, действовал при создании своего прибора кустарно, по-дилетантски! Он забыл про мощь современной техники, обладающей приборами, чувствующими самые ничтожные количества света!

Медленно переступая, двигался палеонтолог по темному залу музея, и с каждым шагом крепло представление о новой конструкции его аппарата. Он обратится снова к физикам и техникам. Ему нужно получить восприятие отраженного от снимка света не непосредственно, а через комбинацию чувствительных фотоэлементов, перевести свет в электрический ток, усилить его и снова превратить в свет, уже видимый глазом.

Затруднение предвидится в точной передаче цветов, но тут можно комбинировать. Можно дать усиление коптуров, а цвет получится из непосредственного отражения.

Никитин задел плечом витрину и шархнулся в сторону... Да, тут есть над чем подумать, но, кажется, ключ к решению вопроса найден. «Если удастся создать такой аппарат, — продолжал думать ученый, — мне ничего не страшно. На открытом воздухе я делаю навес, даю искусственный свет. А под землей и говорить нечего! Тогда тень минувшего — тут! — Палеонтолог сжал пальцы в кулак. — С несколькими фотоэлементами я могу менять настройку аппарата, повышая или понижая чувствительность к разным лучам спектра».

...Веселый молодой машинист придвинулся поближе к инженеру, провожавшему в шахту группу явно наземных людей.

— Как их, Андрей Яковлевич? — шепотом спросил он. — С ветерком или с подпояской? — Машинист выразительно подмигнул на пришедших.

— Что ты, что ты! — ужаснулся инженер. — Это ведь знаменитый ученый! — Он украдкой указал на замешкавшегося Никитина. — И аппарат их повредишь... Посмей только! — угрожающе закончил инженер.

Никитин, отличавшийся тонким слухом, расслышал весь этот короткий и непонятный для непосвященных разговор и поспешил вмешаться.

— Давайте и с ветерком и с подпояской! — громко обратился он к машинисту. — Ни мне, ни аппарату ничего

не сделается. Люблю вспомнить старые времена! А моим ребятам полезно — пусть привыкают.

Смутившийся машинист удивленно посмотрел на ученого, потом широко улыбнулся и кивнул головой.

Клеть медленно начала спускаться и внезапно рухнула вниз, точно оборвался канат. Ноги отделились от пола, сердце, казалось, подступило к горлу, дыхание оборвалось. Падение клетки все ускорялось, затем так же внезапно и резко замедлилось. Огромная тяжесть придавила людей к полу. словно невидимые руки перетянули каждого широким, неумолимо стягивающим поясом.

Это ощущение длилось не более секунды, и снова пол ушел из-под ног, тело стало невесомым, а замирающее сердце устремилось вверх.

— Ох! — вскрикнул помощник Никитина.

Но клеть уже плавно замедляла свой спуск и остановилась на одном из наиболее глубоких горизонтов шахты.

— Чтоб им пусто было! — выругался помощник, стараясь унять дрожь в коленях.

Никитин задорно расхохотался, к негодованию своих перепуганных сотрудников.

Палеонтолог спускался в шахту с небывалой уверенностью в успехе. Причиной этой уверенности был и запово переконструированный аппарат, и то, что здесь горняки обнаружили слой окаменевшей смолы, подобный черному зеркалу, впервые показавшему ему призрак динозавра, и... только что полученное письмо.

Никитин улыбнулся, перебирая в памяти немногие строки. Писала Мириам, не забывшая ни его, ни тени минувшего.

Она писала, что через год ей удалось снова побывать на асфальтовом месторождении. Черное зеркало оказалось разрушенным, но ничто не могло разрушить впечатления от призрака динозавра, глубоко запавшего ей в душу... Ей удалось заинтересовать тенью минувшего талантливого исследователя Каржаева. И теперь у них ведутся поиски слоев, сохранивших отпечатки световых волн.

Она не писала ему раньше потому, что это не было ему нужно — тут Никитин почувствовал скрытый между строками упрек, — но она все время следила за его работой и верила в то, что он доведет дело до конца.

А теперь они нашли интересное наслоение и просят его приехать к ним.

Никитин еще не успел осознать все значение для него письма Мириам. Слишком мало времени было у него для размышлений в последний день подготовки к исследованию. Только вернулась к нему легкость прежних молодых дней, и эта возвращенная молодость удивляла окружающих его людей.

Из длинного старого штрека тянуло пощипывающей горло гарью, тихо шелестел всасываемый мощным вентилятором воздух. Никитин спешил приступить к испытанию сразу после отпалки¹ заложенных по его указанию шпуров². Здесь, в старых выработках, в стороне от оживленного движения электровозов, грохота вагонеток, мелькания фонарей, было пусто и тихо. Беспросветный подземный мрак, плотно обняв идущих, сливался с безымянной чернотой угольных степ.

Где-то едва слышно сочилась вода, далеко в стороне мерно потрескивала крепь, предупреждая горняков о тяжком давлении породы.

— Кто показал это замечательное место? — вполголоса спросил Никитин шедшего рядом помощника.

Тот кивнул на маленького старика, замыкавшего шествие вместе с инженером.

— Он редкостный горный мастер, знает каждый слой во всех забоях. Если бы не он, потребовались бы годы поисков в этих бесконечных выработках...

Палеонтолог посмотрел с немой благодарностью на старого горняка.

Впереди забелела чистая колоннада новых крепежных столбов. Уже по их числу можно было догадаться, что ход заканчивался обширной камерой. Действительно, черные стены разошлись, открывая большое пустое пространство с высоким потолком.

Помощники Никитина замешкались, протаскивая громоздкий аппарат между столбами. Инженер выступил вперед и высоко поднял сильный фонарь. Истерзанная взрывами толща углистых сланцев окружила исследова-

¹ Отпалка — взрыв шпура.

² Шпур — скважина глубиной до двух метров, пробуренная в горной породе для закладки взрывчатого вещества.

телей, грозя бесчисленными острыми выступами и отсвечивая сталью на гладких сколах...

В самом начале камеры по обеим сторонам стояли чуть покачнувшиеся толстые рубчатые стволы. Вросшие одной стороной в массу угля, они выделялись лишь ромбическим узором коры. На расчищенной поверхности пола распластались, словно громадные пауки, могучие пни с разветвленными корнями. Корни стлались по древней почве, служившей им опорой в бесконечно давно минувшие времена. Все пни были срезаны под один уровень — уровень воды в затопленном каменноугольном лесу. В уцелевших больших стволах мрачно зияли большие дупла.

Участок мертвого, превращенного в уголь и известь леса подавлял глубокой древностью, как будто над головами людей висела не двухсотметровая толща пород, а почти ощутимая глубина сотен миллионов лет, прнесшихся над этими стволами и пнями.

В конце камеры гряда обвалившихся сланцев обозначала место произведенного взрыва. Над ними блестела косая черно-бурая плита — затвердевший натек битума. Это и был намеченный к испытанию прослой, отлагавшийся в крутом склоне небольшого холма в каменноугольном лесу.

Скоро магнисвая лампа уперлась ярким белым лучом в плиту, и Никитин установил фокус отражательной камеры. Ученый, волнуясь, кашлянул и хрипло сказал:

— Будем пробовать...

Что скажет сейчас эта так тщательно выбранная поверхность слоя? Палеонтолог включил фотоэлементы и усилил ток. Повернув винт призмы, Никитин снова посмотрел в аппарат: порода уже не была черной — на прозрачном сером фоне проступали неясные вертикальные штрихи.

Терпеливо и осторожно ученый регулировал прибор, пока с невиданной ясностью не проявилась четвертая тень минувшего, открытая им, — тень, которую теперь увидят тысячи людей!

Никитин смотрел на прогалшну в чаще затопленного леса. Бледно-серые стволы деревьев с насеченной ромбиками корой обступили маслянистую черную воду. Вверху каждое дерево разделялось на две расходившиеся под углом толстые ветки, исчезавшие в густой тени плотно

стеснившихся крон. Толстый чешуйчатый ствол лежал поперек воды, упав на небольшой бугорок, выступавший налево. Бугорок зарос странными растениями, похожими на грибы, высокие и узкие фиолетовые бокалы которых усеивали мокрую красную почву. Мясистые отвороты чашечки каждого гриба показывали маслянистую желтую внутренность. За бугорком, над резко изогнутыми стеблями без листьев, виднелся просвет, заполненный вдали мутным, слабо розовеющим туманом. Впереди из тумана торчал какой-то искривленный голый сук, а на нем съежилось, втянув голову, непонятное живое существо.

Всматриваясь в изображение, Никитин вздрогнул — из-под фиолетовых грибов, скрывая тело в их гуще, выступала широкая параболическая голова, покрытая слизистой лиловато-бурой кожей. Огромные выпуклые глаза смотрели прямо на Никитина, бессмысленно, непреклонно и злобно. Крупные зубы выступали из нижней челюсти, обнажаясь во впадинах края морды. Справа лился, освещающая всю картину, какой-то тусклый жемчужный свет. Освещенный воздух казался черноватым, словно через закопченное, но прозрачное стекло...

Долго смотрел Никитин в это волшебное окно в прошлое, в жизнь мира каменноугольной эпохи. Триста пятьдесят миллионов лет легли уже между настоящим и тем временем, когда в редкой игре случая световые волны запечатлели свой снимок. Невероятно отчетливо виднелись злобные глаза невиданной твари, фиолетовые грибы, неподвижная вода и странный серый воздух. А в шахте слабо шипел прожектор и слышалось прерывистое дыхание людей...

Никитину показалось, что он сходит с ума. Он отшатнулся от аппарата. Реальные, грубо изломанные угольные стены, древние пни — может быть, остатки тех самых деревьев, которые сейчас, живые и стройные, видны в его аппарат... Сосредоточенные лица окружающих людей... Овладев собой, ученый поспешно приготовил камеру и сделал несколько цветных снимков.

На столе высилась стопка оттисков статьи Никитина, и к каждому была приложена цветная репродукция пойманной тени прошлого. Написав последний из назначенных к рассылке оттисков, палеонтолог вздохнул.

Давно уже не было ему так легко и радостно.

Теперь по его дороге пойдут многие, более молодые, может быть, более талантливые. Раскрыта первая страница тайной книги природы. Кончилось одиночество на долгом и трудном пути! Но одиночество — оно было только в познании... В работе ему помогали многие десятки людей, не говоря уж о его сотрудниках, совсем чужие, казалось бы, люди, далекие от науки...

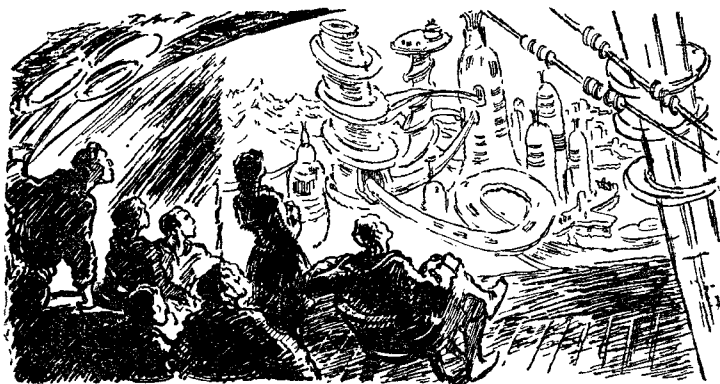
Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему пайти и схватить тень минувшего.

Значит, он работал и пользовался их помощью в долг... Да, и теперь этот долг уплачен — вот откуда громадное облегчение!

Никитин вспомнил, как в этом же кабинете он не раз тосковал и сомневался в правильности своего жизненного пути.

Ученый улыбнулся, быстро набросал текст телеграммы Мириам, извещавшей ее о завтрашнем выезде. Уверенность в дальнейшем пути переполняла его радостью. Нет, он не сделал ошибки, не зря потратил годы на трудную борьбу с загадкой природы!





СЕРДЦЕ ЗМЕИ

Сквозь туман забытья, обволакивающий сознание, прорвалась музыка. «Не спи! Равнодушие — победа Энтропии черной!..» Слова известной арии пробудили привычные ассоциации памяти и повели, потащили за собой ее бесконечную цепь.

Жизнь возвращалась. Громадный корабль еще содрогался, но автоматические механизмы неуклонно продолжали свое дело. Вихри энергии вокруг каждого из трех защитных колпаков остановили невидимое вращение. Несколько секунд колпаки, похожие на большие ульи из матового зеленого металла, оставались в прежнем положении, затем внезапно и одновременно отскочили вверх и исчезли в ячейх потолка, среди сложного сплетения труб, поперечин и проводов.

Два человека остались недвижими в глубоких креслах, окруженных кольцами — основаниями исчезнувших колпаков. Третий осторожно поднял отяжелевшую голову и вдруг легко встряхнул темными волосами. Он поднялся из глубины мягчайшей изоляции, сел и наклонился вперед, чтобы прочитать показания приборов. Они во множестве усеивали наклонную светлую доску большого пульта, протянувшегося поперек всего помещения в полуметре от кресел.

— Вышли из пульсации! — раздался уверенный голос. — Вы опять очнулись раньше всех, Кари? Идеальное здоровье для звездолетчика!

Кари Рам, электронный механик и астронавигатор звездолета «Теллур», мгновенно повернулся, встретив еще затуманенный взгляд командира.

Мут Анг, с усилием двигаясь, облегченно вздохнул и встал перед пультом.

— Двадцать четыре парсека...¹ Мы прошли звезду. Новые приборы всегда неточны... вернее, мы плохо владея ими... Можно выключить музыку. Тэй проснулся!

Кари Рам услышал в наступившей тишине лишь ровное дыхание очнувшегося товарища.

Центральный пост управления звездолета напоминал довольно большой круглый зал, надежно скрытый в глубине гигантского корабля. Выше пультов приборов и герметических дверей помещение обегал синеватый экран, образуя полное кольцо. Впереди, по центральной оси корабля, в экране был вырез, в котором находился прозрачный, как хрусталь, диск локатора диаметром почти в два человеческих роста. Огромный диск как бы сливался с космическим пространством и, отблескивая в огоньках приборов, походил на черный алмаз.

Мут Анг сделал неуловимое движение, и тотчас все три человека, находившиеся в посту управления, почти одинаковым жестом прикрыли глаза. Колоссальное оранжевое солнце загорелось с левой стороны на экране. Его свет, ослабленный мощными фильтрами, был едва переносим.

Мут Анг покачал головой.

— Еще немного, и мы пронеслись бы через корону звезды. Больше не буду прокладывать точный курс. Гораздо безопаснее пройти стороной.

— Тем и страшны новые пульсационные звездолеты, — ответил из глубины кресла Тэй Эрон, помощник командира и главный астрофизик. — Мы делаем расчет, а затем корабль мчится вслепую, как выстрел в темноту. И мы тоже мертвы и слепы внутри защитных вихревых полей. Мне не нравится этот способ полета в космос, хотя он и быстрее всего, что могло придумать человечество.

¹ Парсек — единица измерения звездных расстояний: 3,26 светового года.

— Двадцать четыре парсека! — воскликнул Мут Анг. — А для нас прошел как будто миг...

— Миг сна, подобного смерти, — хмуро возразил Тэй Эрон, — а вообще на Земле...

— Лучше не думать, — выпрямился Кари Рам, — что на Земле прошло больше семидесяти восьми лет. Многие из друзей и близких мертвы, многое изменилось... Что же будет, когда...

— Это неизбежно в далеком пути с любой системой звездолета, — спокойно сказал командир. — На «Теллуре» время для нас идет особенно быстро. И, хотя мы забираемся дальше всех в космос, вернемся почти теми же...

Тэй Эрон приблизился к расчетной машине.

— Все безупречно, — сказал он несколько минут спустя. — Это Кор Серпентис, или, как его называли древние арабские астрономы, Упук аль Хай — Сердце Змеи.

— А где же ее близкий сосед? — спросил Кари Рам.

— Скрыт от нас главной звездой. Видите, спектр К — поль. С нашей стороны — затмение, — ответил Тэй.

— Раздвиньте щиты всех приемников! — распорядился командир.

Их окружила бездонная чернота космоса. Она казалась более глубокой, потому что слева и сзади горело оранжево-золотым огнем Сердце Змеи, затмившее все звезды и Млечный Путь.

Только внизу, споря с ней, сияла пламенем белая звезда.

— Эпсилон Змеи совсем близко, — громко сказал Кари Рам.

Молодой астронавигатор хотел заслужить одобрение командира. Но Мут Анг молча смотрел направо, где выделялась чистым белым светом далекая и яркая звезда.

— Туда ушел мой прежний звездолет «Солнце», — медленно проговорил командир, почувствовав за своей спиной выжидательное молчание, — на новые планеты...

— Так это Альфекка в Северной Короне?

— Да, Рам, или, если хотите европейское название, — Гемма... Но пора за дело!

— Будить остальных? — с готовностью спросил Тэй Эрон.

— Зачем? Мы сделаем одну-две пульсации, если убедимся, что впереди пусто, — ответил Мут Анг. —

Включайте оптические и радиотелескопы, проверьте настройку памятных машин. Тэй, включите ядерные моторы. Пока будем двигаться на них. Дайте ускорение!

— До шести седьмых световой?

И в ответ на молчаливый кивок командира Тэй Эрон быстро проделал необходимые манипуляции. Звездолет даже не вздрогнул, хотя ослепительное, радужное пламя полыхнуло во весь обзор экранов и совсем скрыло слабые звезды ниже сверкающего Млечного Пути. Среди тех звезд было и земное Солнце.

— У нас несколько часов, пока приборы завершат наблюдения и окончат четырехкратную проверку программы, — сказал Мут Анг. — Надо поесть, потом каждый из нас может уединиться и отдохнуть немного. Я сменю Кари.

Звездолетчики вышли из центрального поста. Кари Рам пересел во вращающееся кресло посредине пульта. Астронавигатор закрыл кормовые экраны, и пламя ракетных моторов исчезло.

Огненное Кор Серпентис продолжало мерцать дерзкими отблесками на бесстрастной полировке приборов. Диск переднего локатора оставался черным, бездонным колодезцем, но это не смущало, а радовало астронавигатора. Расчеты, занявшие шесть лет труда могучих умов и исследовательских машин Земли, оказались безошибочными.

Сюда, в широкий коридор пространства, свободного от звездных скоплений и темных облаков, был направлен «Теллур» — первый пульсационный звездолет Земли. Этот тип звездолетов, передвигавшихся в нуль-пространстве, должен был достигнуть гораздо больших глубин Галактики, чем прежние ядерно-ракетные, анамезонные звездолеты, летавшие со скоростью пять шестых и шесть седьмых скорости света. Пульсационные корабли действовали по принципу сжатия времени и были в тысячи раз быстрее. Но их опасной стороной было то, что звездолет в момент пульсации не мог быть управляем. Люди также могли перенести пульсацию лишь в бессознательном состоянии, скрытые внутри мощного магнитного поля. «Теллур» передвигался как бы рывками, всякий раз тщательно изучая, свободен ли путь для следующей пульсации.

Мимо Змеи, в почти свободном от звезд пространстве высоких широт Галактики, «Теллур» должен был пройти в созвездие Геркулеса, к углеродной звезде.

«Теллура» послали в неимоверно далекий рейс, чтобы его экипаж изучил загадочные процессы превращения материи непосредственно на углеродной звезде, очень важные для земной энергетики. Подозревалось, что звезда была связана с темным облаком в форме вращающегося электромагнитного диска, обращенного ребром к Земле. Ученые ожидали, что они увидят повторение истории образования нашей планетной системы сравнительно недалеко от Солнца.

«Недалеко» — это сто десять парсеков, или триста пятьдесят лет пути светового луча...

Кари Рам проверил приборы-охранители. Они показывали, что все связи автоматов корабля в исправности. Молодой астролетчик предавался размышлениям.

Далеко-далеко, на расстоянии семидесяти восьми световых лет, осталась Земля — прекрасная, устроенная человечеством для светлой жизни и вдохновенного творческого труда. В этом обществе без классов каждый человек хорошо знал всю планету. Не только ее заводы, рудники, плантации и морские промыслы, учебные и исследовательские центры, музеи и заповедники, но и милые сердцу уголки отдыха, одиночества или уединения с любимым человеком.

И от этого чудесного мира человек, предъявляя к себе высокие требования, углублялся все дальше в космические ледяные бездны в погоне за новыми знаниями, за разгадкой тайн природы, не покорявшейся без жестокого сопротивления. Все дальше шел человек от Луны, залитой убийственным рентгеновским и ультрафиолетовым излучением Солнца, от жаркой и безжизненной Венеры с ее оксанами нефти, липкой смоляной почвой и вечным туманом, от холодного, засыпанного песками Марса с чуть теплящейся подземной жизнью. Едва началось изучение Юпитера, как новые корабли достигли ближайших звезд. Земные звездолеты посетили Альфу и Проксиму Центавра, звезду Барнарда, Сириус, Эту Эридана и даже Тау Кита. Конечно, не сами звезды, а их планеты или ближайшие окрестности, если это были двойные звезды, как Сириус, лишённые планетных систем.

Но межзвездные корабли Земли еще не побывали на планетах, где жизнь уже достигла своей высшей формы, где обитали мыслящие существа — люди.

Из далеких бездн космоса ультракороткие радиоволны несли вести населенных миров; иногда они приходили на Землю через тысячи лет после того, как были отправлены. Человечество только училось читать эти передачи и стало представлять, какой океан знаний, техники и искусства совершает свой круговорот между населенными мирами нашей Галактики. Мирами, еще не достижимыми. Что уж говорить про другие звездные острова — галактики, разделенные миллионами световых лет расстояния!.. Но от этого становилось только больше стремление достичь планет, населенных людьми, пусть не похожими на земных, но тоже построившими мудрое, правильно развивающееся общество, где каждый имеет свою долю счастья, наибольшего при их уровне власти над природой. Впрочем, было известно, что есть совершенно похожие на нас люди, и этих, вероятно, больше. Законы развития планетных систем и жизни на них однородны не только в нашей Галактике, но и во всей известной нам части космоса.

Пульсационный звездолет — последнее изобретение гения Земли — дает возможность прийти на призывы далеких миров. Если полет «Теллура» окажется удачным, тогда... Только, как все в жизни, новое изобретение имеет две стороны.

— И вот другая сторона... — Задумавшись, Кари Рам не заметил, что произнес последние слова вслух.

Вдруг позади раздался приятный и сильный голос Мут Апга:

Другая сторона любви —
Что глубоко и широко, как море,
То отзовется душным коридором,
И этого не избежать — оно в крови!

Кари Рам вздрогнул.

— Я не знал, что вы тоже увлекаетесь старинной музыкой, — улыбнулся командир звездолета. — Этому романсу не меньше пяти веков!

— Я вовсе ничего не знаю! — воскликнул астронавигатор. — Я думал о нашем звездолете. О том, когда мы вернемся...

Командир стал серьезным.

— Мы проделали только первую пульсацию, а вы думаете о возвращении?

— О нет! Зачем бы я старался попасть в число избранных для полета? Мне показалось... ведь мы вернемся на Землю, когда там пройдет семьсот лет и, несмотря на удвоившееся долголетие человека, даже правнуки наших сестер и братьев уже будут мертвы...

— Разве вы этого не знали?

— Знал, конечно, — упрямо продолжал Рам. — Но мне пришло в голову другое.

— Я понял. Кажущаяся бесполезность нашего полета?

— Да! Еще до изобретения и постройки «Теллура» ушли обычные ракетные звездолеты на Фомальгаут, Капеллу и Арктур. Фомальгаутская экспедиция ожидается через два года — уже прошло пятьдесят. Но с Арктура и Капеллы корабли придут еще через сорок — пятьдесят лет: до этих звезд ведь двенадцать и четырнадцать парсеков. А сейчас уже строят пульсационные корабли, которые могут оказаться на Арктуре в одну пульсацию. За то время, пока мы совершим свой полет, люди окончательно победят время, или пространство, если хотите. Тогда наши земные корабли окажутся гораздо дальше нас, а мы вернемся с грузом устарелых и бесполезных сведений...

— Мы ушли с Земли, как уходят из жизни умершие, — медленно сказал Мут Анг, — и вернемся отсталыми в развитии, с пережитками прошлого.

— Об этом я и думал!

— Вы правы и глубоко неправы. Развитие знаний, накопление опыта должны быть непрерывны. Иначе нарушатся законы развития, которое всегда неравномерно и противоречиво. Представьте, что древние естествоиспытатели, кажущиеся нам наивными, стали бы ожидать, ну, скажем, изобретения современных квантовых микроскопов. Или земледельцы и строители давнего прошлого, обильно полившие пашу планету своим потом, стали бы ждать автоматических машин и... так и не вышли бы из сырых землянок, питаясь крохами, уделяемыми природой!

Карл Рам звонко рассмеялся. Мут Анг продолжал без улыбки:

— Мы так же призваны выполнить свой долг, как и каждый член общества. За то, что мы первые прикоснемся к невиданным еще глубинам космоса, мы умерли на семьсот лет. Те, кто остался на Земле, чтобы пользоваться всей радостью земной жизни, никогда не испытают великих чувств человека, заглянувшего в тайны развития Вселенной. И так все. Но возвращение... Вы напрасно опасаетесь будущего. В каждом этапе своей истории человечество в чем-то возвращалось назад, несмотря на общее восхождение по закону спирального развития. Каждое столетие имело свои неповторимые особенности и вместе с тем общие всем черты... Кто может сказать, может быть, та крупица знания, что мы доставим на нашу планету, послужит новому взлету науки, улучшению жизни человечества. Да и мы сами вернемся из глубины прошлого, но принесем новым людям наши жизни и сердца, отданные будущему. Разве мы придем чужими? Разве может оказаться чужим тот, кто служит в полную меру сил? Ведь человек — это не только сумма знаний, но и сложнейшая архитектура чувств, а в этом мы, испытывавшие всю трудность долгого пути через космос, не окажемся хуже тех, будущих... — Мут Анг помолчал и со всем другим, насмешливым тоном закончил: — Не знаю, как вам, а мне так интересно заглянуть в будущее, что ради этого одного...

— ...можно временно умереть для Земли! — воскликнул астронавигатор.

Командир «Теллура» кивнул головой.

— Идите мойтесь, ешьте, следующая пульсация уже скоро! Тэй, вы зачем вернулись?

Помощник командира пожал плечами.

— Хочется скорее узнать путь, проложенный приборами. Я готов сменить вас.

И без дальнейших слов астрофизик нажал кнопку в середине пульта. Вогнутая полированная крышка беззвучно отодвинулась, и из глубины прибора поднялась скрученная спиралью лента серебристого металла. Ее пронизывал тонкий черный стержень, означавший курс корабля. Как драгоценные камни, горели на спирали крохотные огоньки — звезды разных спектральных классов, мимо которых шел путь «Теллура». Стрелки бесчисленных циферблатов начали хоровод почти осмысленных движений. Это расчетные машины уравнивали пря-

мую линию следующей пульсации так, чтобы проложить ее в возможно наибольшем удалении от звезд, темных облаков и туманностей светящегося газа, которые могли скрывать еще неизвестные небесные тела.

Увлеченный работой, Тэй Эрон не заметил, как прошло несколько молчаливых часов. Громадный звездолет продолжал свой бег в черную пустоту пространства. Товарищи астрофизика тихо сидели в глубине полукруглого дивана, поблизости от массивной тройной двери, изолировавшей пост управления от других помещений корабля.

Веселый звон маленьких колокольчиков сигнализировал окончание вычислений. Командир звездолета медленно подошел к пультам.

— Удачно! Вторая пульсация может быть почти втрое длиннее первой...

— Нет, тут тридцатипроцентная неопределенность! — Тэй показал на конечный отрезок черного стержня, едва заметно вибрировавшего в такт колебаниям связанных с ним стрелок.

— Да, полная определенность — пятьдесят семь парсеков. Отбросим пять на возможность скрытых ошибок — пятьдесят два. Готовьте пульсацию.

Снова проверялись все бесчисленные механизмы и связи корабля. Мут Анг соединился с каютами, где находились погруженные в сон остальные пять членов экипажа «Теллура».

Автоматы физиологического наблюдения отметили, что организмы спящих в нормальном состоянии. Тогда командир включил защитное поле вокруг жилых помещений корабля. На матовых панелях левой стены побежали красные струи — потоки газа в спрятанных позади них трубах.

— Пора? — слегка хмурясь, спросил командира Тэй Эрон.

Тот кивнул. Трое дежурных молча опустились в глубокие кресла, закрепляя себя в них воздушными подушками. Когда был застегнут последний крючок, каждый достал из ящичка в левом подлокотнике прибор для впрыскивания, готовый к употреблению.

— Итак, еще на полтора года земной жизни! — сказал Кари Рам, приложив аппарат к обнаженной руке.

Мут Анг зорко посмотрел на него. Глаза юноши светились легкой насмешкой, свойственной здоровому и

вполне уравновешенному человеку. Командир подождал, пока его товарищи откинулись в креслах и закрыли глаза, впали в бессознательное состояние. Тогда он включил рычажки на маленькой коробке у своего колена. Бесшумно и неотвратно, как сама судьба, спустились с потолка массивные колпаки. За минуту до этого Мут Анг включил механических роботов, управлявших пульсацией и защитным полем. Под колпаком в слабом свете голубоватого ночника командир прочитал показания контрольных приборов и только после этого усыпил себя...

* * *

Звездолет вышел из четвертой пульсации. Теперь загадочное светило — цель полета — выросло на экранах правой, «северной» стороны до размеров Солнца, видимого с Меркурия.

Колоссальная звезда из редкого класса «темных» углеродных звезд подвергалась детальному изучению. «Теллур» шел на субсветовой скорости в расстоянии меньше четырех парсеков от гигантской тусклой звезды КНТ-8008, едва видимой с Земли даже в мощные телескопы. Подобные звезды, их поперечник равнялся ста пятидесяти — ста семидесяти диаметрам нашего Солнца, отличались обилием углерода в своих атмосферах. При температуре в две-три тысячи градусов атомы углерода соединялись в особые молекулы-цепочки, из трех атомов каждая. Атмосфера звезды с такими молекулами задерживала излучение фиолетовой части спектра, и свет гиганта был очень слабым сравнительно с его размерами.

Но центры углеродных гигантов, разогретые до ста миллионов градусов, были могучими генераторами нейтронов и превращали легкие элементы в тяжелые и даже заурановые, вплоть до калифорния и россия, как был назван самый тяжелый из элементов с атомным весом 401, созданный уже четыре столетия назад. Ученые считали, что фабриками тяжелых элементов Вселенной были углеродные звезды. Они рассеивали эти элементы в пространстве после периодических взрывов. Обогащение общего химического состава нашей Галактики идет именно за счет действия темных углеродных гигантов.

Пульсационный звездолет дал наконец человечеству возможность изучить углеродную звезду с близкого рас-

стояния, понять существо происходящих в ней процессов превращения материи. К их разъяснению физики Земли еще не подобрали всех ключей.

Экипаж звездолета проснулся, и каждый занялся теми исследованиями, ради которых он умер для Земли на семьсот лет. Движение корабля казалось теперь очень медленным, но более скорый бег и не был нужен.

«Теллур» шел, слегка отклоняясь к югу от углеродной звезды, чтобы держать экран локатора вне ее излучения. И его черное зеркало недели, месяцы и годы оставалось по-прежнему беспросветно темным. «Теллур», или, как он значился в реестре космофлота Земли, «ИФ — I (Зет—685)», первый звездолет обращенного поля, или шестьсот восемьдесят пятый по общему списку космических кораблей, не был так велик, как субсветовые звездолеты дальнего действия. От их постройки отказались лишь недавно — с изобретением пульсационных кораблей.

Те колоссальные корабли несли экипаж до двухсот человек, и смена поколений давала возможность проникать довольно глубоко в межзвездное пространство.

С каждым возвращением дальнего звездолета на Землю появлялось несколько десятков выходцев из другого времени — представителей далекого прошлого. И, хотя уровень развития этих пережитков прошлого был очень высок, все же новые времена оказывались для них чуждыми, и часто глубокая меланхолия или отрешенность становилась уделом космических скитальцев.

Теперь пульсационные звездолеты забросят людей еще дальше. Пройдет немного времени, по мерке астролетчиков, и в человеческом обществе появятся тысячелетние Мафусаилы. Те, кому выпадет на долю отправиться на другие галактики, вернутся на родную планету миллионы лет спустя. Таковой оказалась оборотная сторона дальних космических рейсов, коварная прелесть, поставленная природой своему неугомонному сыну. На новых звездолетах экипажи насчитывали всего восемь человек. Этим путешественникам в безмерные дали космоса и одновременно в будущее было запрещено, в отмену прежних поощрительных постановлений, иметь детей во время путешествия.

И хотя «Теллур» был меньше своих предшественников, все же он представлял собою огромный корабль, где просторно разместился его малочисленный экипаж.

Пробуждение после продолжительного сна вызвало, как всегда, подъем жизненной энергии. Экипаж звездолета — преимущественно молодые люди — проводил свободное время в гимнастическом зале.

Они придумывали труднейшие упражнения, фантастические танцы или, надев отталкивающие пояса и кольца на руки и на ноги, совершали головокружные трюки в антигравитационном углу зала. Астролетчики любили плавать в большом бассейне с ионизированной светящейся водой, сохранившей прекрасную голубизну колыбели народов Земли — Средиземного моря.

Кари Рам сбросил рабочий костюм и устремился к бассейну, но его остановил веселый голос:

— Кари, помогите! Без вас не получается этот поворот.

Высокая девушка-химик, Тайна Дан, в короткой тунике из зеленой, в тон ее глазам, сверкающей ткани была самой веселой и молодой участницей экспедиции. Она не раз возмущала спокойного Кари своей порывистой резкостью, но танцы он любил не меньше Тайны, прирожденной плясуньи. Он с улыбкой подошел к ней.

Слева, с высоты помоста над бассейном, его приветствовала Афра Деви, биолог звездолета. Она старательно укладывала массу своих черных волос перед упражнением на трапеции. К Афре приблизился, осторожно ступая по пружинящей пластмассе, Тэй Эрон, протягивая за спиной девушки мускулистую, сильную руку. Расслабиваясь в такт движениям доски, Афра откинулась назад, на эту надежную опору. На секунду оба замерли, смуглые, сильные и уверенные, с гладкой кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце. Едва уловимым движением молодая женщина выгнулась еще сильнее, сделала полный оборот вокруг руки помощника командира, и оба полетели над залом, сплетаясь точно в танце.

— Он все забыл! — пропела Тайна Дан, прикрывая глаза механика кончиками горячих пальцев.

— Разве не красиво? — ответил тот вопросом и притянул к себе девушку в первом движении танца, войдя в полосу звукового фона.

Кари и Тайна были лучшими танцорами корабля. Только они умели отдавать себя полностью мелодии и ритму, выключая все другие думы и чувства. И Кари

унесся в мир таща, не ощущая ничего, кроме наслаждения согласованными легкими движениями. Рука девушки, лежавшая у него на плече, была сильна и нежна. Зеленые глаза потемнели.

— Вы и ваше имя — одно, — шепнул Кари. — Я запомнил, что «тайна» на древнем языке — это неведомое, неразгаданное.

— Вы радуете меня, — без улыбки ответила девушка, — мне всегда казалось, что тайны остались только в космосе, а на нашей Земле их нет более. Нет их у людей — все мы просты, ясны и чисты!

— И вы жалеете об этом?

→ Иногда. Мне хотелось бы встретить такого человека, как в давнем прошлом: вынужденного скрывать свои мечты, свои чувства от окружающей злобы, закалять их, выращивать неколебимыми, полными невероятной силы.

— О, я понимаю! Но я думал не о людях и жалел лишь о неразгаданных тайнах... Как в древних романах: повсюду таинственные развалины, неведомые глубины, непокоренные высоты, а еще раньше — заколдованные, проклятые и обладающие загадочными силами рощи, источники, заповедные тропы, дома.

— Да, Кари! Хорошо бы и здесь, в звездолете, найти тайные уголки, запрещенные проходы.

— И они вели бы в неведомые комнаты, где скрывалось...

— Что скрывалось?

— Не знаю, — помолчав, признался механик и остановился.

Но Тайна вошла в игру и, нахмурившись, потянула его за рукав. Кари последовал за девушкой, и они вышли из спортивного зала в тускло освещенный боковой проход. Указатели вибрации равномерно и неярко мигали, будто стены корабля боролись с надвигавшимся сном. Девушка сделала несколько быстрых, бесшумных шагов и замерла. Тень скуки мелькнула на ее лице так быстро, что Кари не мог бы поручиться, что он действительно заметил у нее этот признак душевной слабости. Незнакомое чувство больно резнуло его. Механик снова взял руку Тайны.

— Пойдемте в библиотеку. Мне два часа до смены.

Она послушно направилась к центру корабля,

Библиотека, или зал общих занятий, находилась непосредственно за центральным постом управления, как на всех звездолетах. Кари и Тайна открыли герметическую дверь третьего поперечного коридора и вышли к двустворчатому эллипсу люка центрального прохода. Едва только Кари наступил на бронзовую пластинку и тяжелые створки беззвучно разошлись, как молодые люди услышали могучий вибрирующий звук. Тайна радостно сжала пальцы Кари.

— Мут Анг!

Оба скользнули в библиотеку. Рассеянный свет, казалось, вился дымкой под матовым потолком. Два человека ютились в глубоких креслах между колонками фильмотек, скрытые в тенях углублений. Тайна увидела врача Свет Сима и квадратную фигуру Яс Тина, инженера пульсационных устройств, грезившего о чем-то, закрыв глаза. Слева, под гладкими раковинками акустических устройств, склонился над серебристым футляром ЭМСР сам командир «Теллура».

ЭМСР — электромагнитный скрипкорояль — давно уже заменил жестко звучащий темперированный рояль, сохранив его многоголосую сложность и придав ему богатство скрипичных оттенков. Усилители звука этого инструмента могли придавать ему в нужные моменты потрясающую силу.

Мут Анг не заметил вошедших. Он немного подался вперед, подняв лицо к ромбическим панелям потолка. Как и в старинном рояле, пальцы музыканта определяли все оттенки звучания, хотя производили звук не при помощи молоточка и струны, а тончайшими электронными импульсами почти мозговой тонкости.

Гармонично сплетенные темы единства Земли и космоса стали раздваиваться, отдаляться. Противоречия спокойной печали и жестокого дальнего грома накапливались, прерываясь звенящими нотами, словно криками отчаяния. И вдруг мерное, мелодическое развертывание темы замерло. Удар столкновения был сокрушителен, и все рассыпалось лавиной диссонансов, скользнув, как в темное озеро, в нестройные жалобы невозвратной утраты.

Неожиданно под пальцами Мут Анга родились ясные и чистые звуки прозрачной радости, она слилась с тихой печалью аккомпанемента.

В библиотеку беззвучно скользнула Афра Деви в белом халате. Свет Сим, врач корабля, стал делать командиру какие-то знаки. Мут Анг поднялся, и тишина со знала власть звуков, как быстрая ночь тропиков — вечернюю зарю.

Врач и командир вышли, провожаемые встревоженными взглядами слушателей. Со вторым астронавигатором на дежурстве случилась очень редкая беда — приступ острого аппендицита. Вероятно, он не выполнил абсолютно точно программы врачебной подготовки к космическому путешествию. И теперь Свет Сим запросил разрешение командира на срочную операцию.

Мут Анг выразил сомнение. Современная медицина, овладевшая методами импульсного первого регулирования человеческого организма, как в электронных устройствах, могла устранять многие заболевания.

Но врач звездолета настоял на своем. Он доказал, что у больного останется залеченный очаг, который может дать новую вспышку при огромных физиологических перегрузках, переносимых звездолетчиками.

Астронавигатор лег на широкое ложе, опутанный проводами импульсных датчиков. Тридцать шесть приборов следили за состоянием организма. В затемненной комнате размеренно замигал и слабо зазвенел гипнотизирующий прибор. Свет Сим окинул взглядом аппараты и кивнул Афре Деви, помощнику врача. Каждый член экипажа «Теллура» совмещал несколько профессий.

Афра придвинула прозрачный куб. В синеватой жидкости лежал членистый металлический аппарат, похожий на крупную сколопендру. Афра извлекла из жидкости аппарат и из другого сосуда вытащила коническую втулку с присоединенными к ней тонкими проводами, или шлангами. Легкий щелчок зажима — и металлическая сколопендра зашевелилась, издавая едва слышное жужжание.

Свет Сим кивнул, и аппарат исчез в раскрытом рту астронавигатора, продолжавшего спокойно дышать. Засветился полупрозрачный экран, косо поставленный над животом больного. Мут Анг придвинулся ближе. В зеленоватом сиянии серые контуры внутренностей были совершенно отчетливы, и по ним медленно двигался членистый прибор. Легкая вспышка мелькнула, когда прибор дал импульс запирающей мышце — сфинктеру желудка, проник в двенадцатиперстную кишку и стал ползти по

сложным извилинам тонких кишок. Еще немного — и тупой конец сколопендры уперся в основание червеобразного отростка.

Здесь, в области нагноения, боли были сильнее, и от давления прибора произвольные движения кишок так усилились, что пришлось прибегнуть к успокоительным лекарствам. Еще несколько минут, и апалитическая машина выяснила причину заболевания — случайное засорение отростка, — установила характер нагноения и рекомендовала нужную смесь антибиотиков и обеззараживающих лекарств. Членистый аппарат выпустил длинные гибкие усики, глубоко погружившиеся в аппендикс. Гной был отсосан, попавшие в аппендикс песчинки удалены. Последовало энергичное промывание биологическими растворами, быстро заживившими слизистую оболочку отростка и слепой кишки. Большой мирно спал, пока внутри него продолжал действовать замечательный прибор, управляемый автоматами. Операция кончилась, и врачу оставалось лишь извлечь прибор.

Командир «Теллура» успокоился. Как ни велико было могущество медицины, все же нередко непредусмотренные особенности организма (ибо заранее определить их среди миллиардов индивидуальностей было невозможно) давали неожиданные осложнения, нестрашные в огромных лечебных институтах планеты, но опасные в небольшой экспедиции.

Ничего не случилось. Мут Анг вернулся к скрипко-роялю, в обезлюдевшую библиотеку. Командиру не захотелось играть, и он погрузился в размышления.

Не раз уже командир звездолета возвращался к мыслям о счастье, о будущем.

Четвертое путешествие в космос... Но еще никогда он не думал совершить такой далекий прыжок через пространство и время. Семьсот лет! При той стремительности жизни, нарастании новых достижений, открытий, при тех горизонтах знания, какие уже достигнуты на Земле! Трудно сравнивать, но семьсот лет значили мало в эпохи древних цивилизаций, когда развитие общества, не подстегнутое знаниями и необходимостью, шло лишь к дальнейшему распространению человека, заселению еще пустых пространств планеты. Тогда время было безмерным и все изменения человечества текли медленно, как некогда ледники на островах Арктики и Антарктики.

Столетия как бы проваливались в пустоту бездействия. Что такое одна человеческая жизнь, что такое сто, тысяча лет?

Почти с ужасом Мут Анг подумал: каково было бы людям древнего мира, если бы они могли знать наперед медлительность тогдашних общественных процессов, понять, что угнетение, несправедливость и неустроенность планеты будут тянуться еще так много лет? Вернуться через семьсот лет в Древнем Египте означало бы попасть в то же рабовладельческое общество, с еще худшим угнетением; в тысячелетнем Китае — к тем же войнам и династиям императоров, или в Европе — от начала религиозной ночи средневековья попасть в разгар костров инквизиции, разгула свирепого мракобесия.

Но теперь попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познанием семь столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям.

И если подлинное счастье — движение, изменение, перемены, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И все же не так просто! Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший ее мир. Наряду со стремлением к вечным переменам нам всегда жаль прошлого, вернее, того хорошего в нем, что отфильтровывается памятью и что прежде выросло в представления о минувших золотых веках.

Тогда невольно искали хорошее в прошлом, мечтали о его повторении, и только сильные души могли предвидеть, почувствовать поступь неизбежного грядущего улучшения и устройства человеческой жизни. С тех пор в душе человека глубоко лежит сожаление о минувшем, печаль о невозвратно ушедшем, чувство грусти, охватывающее нас перед руинами и памятниками прошлой истории человечества. Это сожаление о прошедшем особенно усиливалось у людей зрелых, пожилых, накапливало печаль у вдумчивого и чуткого человека.

Мут Анг поднялся из-за инструмента и потянулся сильным телом.

Да, все это так ярко и интересно описано в исторических новеллах. Что же может пугать молодежь звездолета в момент, когда она совершает прыжок в будущее? Одиночество, отсутствие близких? Пресловутое одиночество человека, попавшего в будущее, столько раз обсуждалось

и описывалось в старых романах. Одиночество всегда мыслилось как отсутствие близких, родных, а эти близкие составляли ничтожную кучку людей, связанных часто лишь формальными родственными узами. Но теперь, когда близок любой из людей, когда нет никаких границ или условностей, мешающих общению людей в любых уголках планеты?!

«Мы, люди «Теллура», потеряли всех своих близких на Земле. Но там, в наступающем грядущем, нас ждут не менее близкие, родные люди, которые будут знать и чувствовать еще больше, еще ярче, чем покинутые нами навсегда наши современники», — вот о чем и какими словами должен говорить командир с молодыми людьми своего экипажа.

В центральном посту управления Тэй Эрон установил излюбленный им режим вечера. Неярко горели только самые необходимые лампы, и большое круглое помещение казалось уютнее в сумеречном свете. Помощник командира мурлыкал простую песенку, занимаясь неустанной проверкой вычислений. Путь звездолета подходил к концу — сегодня надо было повернуть корабль в направлении созвездия Змееносца, чтобы пройти мимо исследованной углеродной звезды. Приближаться к ней стало опасно. Лучевое давление начинает возрастать настолько, что при субсветовой скорости корабля может панести страшный, непоправимый удар.

Почувствовав чье-то присутствие за спиной, Тэй Эрон обернулся.

Мут Анг наклонился над плечом помощника, читая суммированные показания прибора в квадратных окошечках нижнего ряда. Тэй Эрон вопросительно посмотрел на своего командира, и тот кивнул головой. Повинуясь едва заметному движению пальцев помощника, по всему кораблю зазвучали сигналы внимания и стандартные металлические слова:

— Слушайте все!

Мут Анг придвинул к себе микрофон, зная, что во всех отделениях звездолета люди замерли, невольно обратив лица к замаскированным отверстиям звучателей: человек еще не отвык смотреть по направлению звука, когда хотел быть особенно внимательным.

— Слушайте все! — повторил Мут Анг. — Корабль начинает торможение через пятнадцать минут. Всем, кроме

дежурных, лежать в своих каютах. Первая фаза торможения окончится в восемнадцать часов, вторая фаза, при шести «Ж», будет продолжаться шесть суток. Поворот корабля произойдет после сигналов УО — ударной опасности. Все!

В восемнадцать часов командир поднялся с кресла и, пересиливая обычную боль торможения в пояснице и затылке, объявил, что, пожалуй, отправится спать на все шесть суток замедления хода. Весь экипаж «Теллура» теперь не оторвать от приборов: ждут последних наблюдений углеродной звезды.

Тэй Эрон хмуро посмотрел на удалявшегося командира. С каждым усовершенствованием возрастали надежность и сила космических звездолетов. Трудно даже сравнить мощь «Теллура» с теми скорлупками, плававшими по морям Земли, которые издавна получили название кораблей. И все же его звездолет тоже не более как скорлупка в бездонных глубинах пространства... Как-то спокойнее, когда командир бодрствует во время маневра.

* * *

Кари Рам чуть не подскочил от неожиданности, услышав веселый смех Мут Анга. Несколько дней назад весь экипаж был встревожен известием о внезапной болезни командира. В его каюту допускался лишь врач, и все невольно понижали голос, проходя мимо гладкой двери, плотно закрытой, как во время аварии. Тэй Эрон вынужден был провести всю намеченную программу — поворот корабля, новый разгон его, чтобы уйти из области лучевого давления углеродной звезды и начать пульсацию назад, к Солнцу. Помощник шел рядом со своим командиром и сдержанно улыбался. Оказалось, командир в сговоре с врачом намеренно устроился от командования, чтобы дать возможность Тэй Эрону провести всю операцию самому, ни на кого не надеясь. Помощник ни за что не признался бы в жестоких сомнениях перед поворотом, но корил командира за причиненное всему экипажу волнение.

Мут Анг шутливо оправдывался и убеждал Тэй Эрона в полной безопасности звездолета в пустоте космического пространства. Приборы не могли ошибиться, четырехкратная проверка каждого расчета исключала возмож-

ность неточности. Пояса астероидов и метеоритов у звезды не могло быть в зоне сильного лучевого давления.

— Неужели вы более ничего не ждете? — осторожно осведомился Кари Рам.

— Неучтенная случайность, конечно, возможна. Но великий закон космоса, названный законом усреднения¹, за нас. Можно быть уверенным, что здесь, в этом пустом уголке космоса, ничего нового не встретится. Мы вернемся немного назад и войдем в пульсацию испытанным нами направлением, прямо к Солнцу, мимо Сердца Змеи... Уже несколько дней, как мы идем к Змесносцу. Теперь скоро!

— Даже странно: нет ни радости, ни ощущения хорошего дела, ничего, что бы оправдывало нашу смерть для Земли на семьсот лет. — задумчиво сказал Кари. — Да, я знаю — десятки тысяч наблюдений, миллионы вычислений, снимков, памятных записей. Новые тайны материи раскроются там, на Земле... Но как незримо и невесомо все это! Зародыш будущего, и ничего более!

— Сколько же борьбы, труда и смертей вынесло человечество, а до него триллионы поколений животных на слепом пути исторического развития из-за вот этих зародышей будущего! — с азартом возразил Тэй Эрон.

— Все так для ума. А для чувства мне важен только человек — единственная разумная сила в космосе, которая может использовать стихийное развитие материи, овладеть им. Но мы, люди, так одиноки, бесконечно одиноки! У нас есть несомненные доказательства существования множества населенных миров, но никакое другое мыслящее существо еще не скрестило своего взгляда с глазами людей Земли! Сколько мечтаний, сказок, книг, песен, картин в предчувствии такого великого события, и оно не сбылось! Не сбылась великая, смелая и светлая мечта человечества, рожденная давным-давно, едва рассеялась религиозная слепота!

— Слепота! — вмешался Мут Анг. — А знаете, как наши недавние предки уже в эпоху первого выхода в космос представляли осуществление этой великой мечты?

¹ Закон усреднения — математическое выражение, в котором конечные результаты подсчетов обозначаются неким средним числом. Крайние наибольшие и крайние наименьшие величины отбрасываются.

Военное столкновение, зверское разрушение кораблей, уничтожение друг друга в первой же встрече.

— Немыслимо! — горячо воскликнули Кари Рам и Тэй Эрон.

— Наши современные писатели не любят писать о мрачном периоде конца капитализма, — возразил Мут Анг. — Вы знаете из школьной истории, что наше человечество в свое время прошло весьма критическую точку развития.

— О да! — подхватил Кари. — Когда уже открылось людям могущество овладения материей и космосом, а формы общественных отношений еще оставались прежними и развитие общественного сознания тоже отстало от успехов науки.

— Почти точная формулировка. У вас хорошая память, Кари! Но скажем иначе: космическое познание и космическое могущество пришли в противоречие с примитивной идеологией собственника-индивидуалиста. Здоровье и будущее человечества несколько лет качались на весах судьбы, пока не победило новое и человечество в бесклассовом обществе не соединилось в одну семью... Там, в капиталистической половине мира, не видели новых путей и рассматривали свое общество как незыблемое и неизменное, предвидя и в будущем неизбежность войн и самоистребления.

— Как могли они называть это мечтами? — недобро усмехнулся Кари.

— Но они называли.

— Может быть, критические точки проходит каждая цивилизация везде, где формируется человечество на планетах иных солнц, — медленно сказал Тэй Эрон, бросая беглый взгляд на верхние циферблаты ходовых приборов. — Мы знаем уже две необитаемые планеты с водой, атмосферой, с остатками кислорода, где ветры вздымают лишь мертвые пески и волны таких же мертвых морей. Наши корабли сфотографировали...

— Нет, — покачал головой Кари Рам, — не могу поверить, чтобы люди, уже познавшие безграничность космоса и то могущество, которое им несет наука, могли...

— ...рассуждать, как звери, только овладевшие логикой? Но ведь старое общество складывалось стихийно, без заранее заданной целесообразности, которая отличает высшие формы общества, построенные людьми. И разум

человека, характер его мышления тоже были еще на первичной стадии прямой или математической логики, отражавшей логику законов развития материи, природы по непосредственным наблюдениям. Как только человечество накопило исторический опыт, познало историческое развитие окружающего мира, возникла диалектическая логика как высшая стадия развития мышления. Человек понял двойственность явлений природы и собственного существования. Осознал, что, с одной стороны, он, как индивидуальность, очень мал и мгновоуен в жизни, подобен капле в океане или маленькой искорке, гаснущей на ветру. А с другой — необъятно велик, как Вселенная, обнимаемая его рассудком и чувствами во всей бесконечности времени и пространства.

Командир звездолета умолк и в задумчивости начал ходить перед своими помощниками. На их молодые лица легла тень суровой сосредоточенности.

Мут Анг первый нарушил наступившую тишину.

— В моей коллекции исторических книг-фильмов есть одна, очень характерная для той эпохи. Этот перевод на современный язык сделан не машиной, а Санией Чен, историком, умершим в прошлом веке. Прочитаем ее! — Он улыбнулся жадному интересу молодых людей и вышел в коридор носового отсека.

— Никогда я не буду настоящим командиром! — вздохнул виновато Тэй Эрон. — Невозможно знать все, что знает наш Анг.

— А он при мне говорил, что он плохой командир из-за широкого диапазона своих интересов, — отозвался Кари, усаживаясь в кресло дежурного навигатора.

Тэй Эрон удивленно посмотрел на товарища. Они молчали, и негромкое пение приборов казалось неизменным. Громадный корабль, набрав предельную скорость, уверенно устремлялся в сторону от углеродной звезды в избранный квадрат, где в глубочайшей черноте пространства топули, слабо мерцая, далекие галактики — четыре звездных острова. Они были на таком расстоянии, что свет, шедший оттуда, бессильно умирал в глазу человека — чудесном приборе, для которого достаточно было всего нескольких квант.

Внезапно что-то случилось. На экране большого локатора вспыхнула и заколебалась светящаяся точка. Раз-

дался пронзительный звон, от которого у астролетчиков замерло дыхание.

Тэй Эрон, не раздумывая, дал сигнал общей тревоги — вызов командира, приказывавший всем остальным членам экипажа занимать места аварийного назначения.

Мут Анг ворвался в пост управления и двумя прыжками очутился у пульта. Черное зеркало локатора ожило. В нем, как в бездонном озере, плавал крохотный шарик света — круглый, с резкими краями. Он качался вверх и вниз, медленно сползая направо. Астролетчики удивились, что роботы, предупреждавшие столкновение корабля с метеоритами, бездействовали. Значит ли это, что на экране не их отраженный поисковый луч, а чужой?!

Звездолет продолжал идти тем же курсом, и световая точка теперь трепетала в нижнем правом квадрате. Догадка заставила содрогнуться Мут Анга, закусить губы Тэй Эрона, до боли сжать край пульта Кари Рама. Нечто небывалое летело навстречу, испуская сильный луч локатора, такой же, какой бросал далеко вперед себя «Теллур».

Так отчаянно было желание, чтобы догадка оправдалась, чтобы после безумного взлета надежды не свалиться в пучину разочарования, уже сотни раз случавшегося со звездолетчиками Земли, что командир замер, боясь произнести хотя бы одно слово. И как будто его тревога передалась тем, впереди.

Светящаяся точка на экране погасла, зажглась снова и замигала с промежутками, учащая вспышки, по четыре и две. Эта регулярность чередования могла быть порождена лишь единственной во всей Вселенной силой — человеческой мыслью.

Больше не оставалось сомнений: навстречу шел звездолет.

Здесь, в безмерной дали пространства, впервые достигнутой земным кораблем, это мог быть только звездолет другого мира, с планет другой, отдаленной звезды.

Луч главного локатора «Теллура» также стал прерывистым. Кари Рам передал несколько сигналов условного светового кода. Казалось совершенно невероятным, что там, впереди, эти простые движения кнопки вызывают на экране неведомого корабля правильные чередования вспышек.

Голос Мут Анга в репродукторах корабля выдавал его волнение:

— Слушайте все! Навстречу идет чужой корабль! Мы отклоняемся от курса и начинаем экстренное торможение. Прекратить все работы! Экстренное торможение! По местам посадочного расписания!

Нельзя было терять ни секунды. Если встречный корабль шел примерно с той же скоростью, что и «Теллур», то скорость сближения звездолетов была близка к световой, достигая двухсот девяноста пяти тысяч километров в секунду. Локатор давал в распоряжение людей несколько секунд. Тэй Эрон, пока Мут Анг говорил в микрофон, что-то шеннул Кари. Бледный от напряжения, юноша понял с полуслова и произвел какие-то манипуляции на пульте локатора.

— Блестяще! — воскликнул командир, следя, как на контрольном экране луч очертил стрелу, изогнув ее налево, назад, и завился в спираль.

Прошло не больше десяти секунд. На экране промелькнул светящийся стреловидный контур, отогнулся к правой стороне черного круга и завертелся мгновенной спиралью. Вздых облегчения, почти стон, вырвался одновременно у людей на центральном посту. Те, неведомые, летевшие навстречу из таинственных глубин космического пространства, поняли! Пора!

Зазвенели тревожные звонки. Теперь уж не луч чужого локатора, а твердый корпус корабля отразился на главном экране. Тэй Эрон молниеносным движением выключил робота, пилотировавшего корабль, и сам дал «Теллуру» ничтожнейшее отклонение влево. Звон умолк, черное озеро экрана погасло. Люди едва успели заметить световую черту, промелькнувшую на обзорном локаторе правого борта. Корабли разошлись на невообразимой скорости и унеслись вдаль.

Пройдет несколько дней, прежде чем они сойдутся снова. Мгновение не упущено, оба звездолета затормозят, повернут и ходом, рассчитанным точными машинами, снова приблизятся к месту встречи.

— Слушайте все! Начинаем экстренное торможение! Дайте сигналы готовности по секциям! — говорил в микрофон Мут Анг.

Зеленые огни готовности секций выстраивались в ряд над погасшими индикаторами моторных счетчиков.

Двигатели корабля замолкли. Весь звездолет замер в ожидании. Командир окинул взглядом пост управления и молча кивнул головой на кресла, включив в то же время робота, предназначенного управлять торможением. Помощники видели, как Мут Анг нахмурился над шкалой программы и повернул главную клемму на цифру «8».

Проглотить пилюлю — понизитель сердечной деятельности, броситься в кресло и нажать включатель робота было делом нескольких секунд.

Звездолет ощутимо уперся в пустоту пространства — так в древности спотыкались ездовые животные, и их всадники летели через голову на милость судьбы. И сейчас гигантский корабль как будто поднялся на дыбы. Его «всадники» полетели в глубину гидравлических кресел и в легкое беспамятство.

* * *

В библиотеке «Теллура» собрался весь экипаж. Только один дежурный остался у приборов ОЭС, охраняющих связи сложнейших электронных аппаратов корабля. «Теллур» повернул после торможения, но успел отдалиться от места встречи больше чем на десять миллиардов километров. Звездолет шел медленно, со скоростью в одну двадцатую абсолютной, в то время как все его расчетные машины непрерывно проверяли и исправляли курс. Надо было вновь найти незримую точку в необъятном космосе и в ней совсем уже ничтожную пылинку — чужой звездолет. Восемь суток должно было длиться почти невыносимое ожидание. Если все расчеты и поведение корабля не дадут отклонения более допустимого, если те, неведомые, также не ошибутся и обладают столь же совершенными приборами и послушным кораблем, тогда звездолеты сойдутся настолько близко, чтобы нащупать друг друга в непроглядной тьме лучами локаторов.

Тогда, впервые за всю историю, человек соприкоснется с братьями по мысли, силам и стремлениям. С теми, чье присутствие давно уже было предугадано, доказано, подтверждено бесконечно прозорливым умом человека. Чудовищные пропасти времени и пространства, разделявшие обитаемые миры, до сих пор оставались непреодолимыми. Но вот люди Земли подадут руку другим мыслящим существам космоса, а от них — еще дальше, новым

братьям с других звезд. Цепь мысли и труда протянется через бездны пространства как окончательная победа над стихийными силами природы.

Миллиарды лет надо было копошиться в темных и теплых уголках морских заливов крохотным комочкам живой слизи, еще сотни миллионов лет из них формировались более сложные существа, наконец вышедшие на сушу. В полной зависимости от окружающих сил, в темной борьбе за жизнь, за продолжение рода прошли еще миллионы веков, пока не развился большой мозг — самый сильный инструмент поисков пищи, борьбы за существование.

Темпы развития жизни всё ускорялись, борьба за существование становилась острее, и убыстрялся естественный отбор. Жертвы, жертвы, жертвы — пожираемые травоядные, умирающие от голода хищники, погибающие слабые, заболевшие, состарившиеся животные, убитые в борьбе за самку, во время защиты потомства, погубленные стихийными катастрофами.

Так было на всем протяжении слепого пути эволюции, пока в тяжелых жизненных условиях эпохи великого оледенения дальний родич обезьяны не заменил осмысленным трудом звериный поиск пищи. Тогда он превратился в человека, познав величайшую силу в коллективном труде и осмысленном опыте.

Но и после того протекло еще много тысячелетий, наполненных войнами и страданием, голодом и угнетением, невезеством и надеждой на лучшее будущее.

Потомки не обманули своих предков: лучшее будущее наступило, человечество, объединенное в бесклассовом обществе, освобожденное от страха и гнета, поднялось к невиданным высотам знаний и искусства. Ему под силу оказалось и самое трудное — покорение космических пространств. И вот наконец вся тяжкая лестница истории жизни и человека, вся мощь накопленного знания и безмерных усилий труда завершились изобретением звездолета дальнего действия «Теллур», заброшенного в глубокую пучину Галактики. Вершина развития материи на Земле и в солнечной системе соприкоснется через «Теллур» с другой вершиной, вероятно, не менее трудного пути, проходившего также миллиарды лет в другом уголке Вселенной.

Эти мысли в той или другой форме тревожили каждого члена экипажа. Сознание величайшей ответственности момента заставило стать серьезной даже юную Тайну. Ничтожная горстка представителей многомиллиардного земного человечества — смогут ли они быть достойными его подвигов, труда, физического совершенства, ума и стойкости?

Как подготовить себя к предстоящей встрече? Помнить о всей кровавой и великой борьбе человечества за свободу тела и духа!

Самым важным, захватывающим и таинственным был вопрос: каковы те, что идут сейчас нам навстречу? Страшны или прекрасны они на наш, земной взгляд?

Аффа Девн, биолог, взяла слово.

Молодая женщина, ставшая еще более красивой от первого возбуждения, часто поднимала взгляд к картине над дверью. Исполненная перспективными красками, большая панорама Лунных гор Экваториальной Африки с потрясающим контрастом угрюмых лесных склонов и светопосного скалистого гребня как бы оттеняла ее мысли.

Аффа говорила, что человечество давно отрешилось от когда-то распространенных теорий, что мыслящие существа могут быть любого вида, самого разнообразного строения. Пережитки религиозных суеверий заставляли даже серьезных ученых необдуманно допускать, что мыслящий мозг может развиваться в любом теле, как прежде верили в богов, являвшихся в любом облике. На самом деле облик человека, единственного на Земле существа с мыслящим мозгом, не был, конечно, случаен и отвечал наибольшей разносторонности приспособления такого животного, его возможности нести громадную нагрузку мозга и чрезвычайной активности нервной системы.

Наше понятие человеческой красоты и красоты вообще родилось из тысячелетнего опыта — бессознательного восприятия конструктивной целесообразности и совершенства приспособленности к тому или другому действию. Вот почему красивы и могучие машины, и морские волны, и деревья, и лошади, хотя все это резко отличается от человеческого облика. А сам человек еще в животном состоянии благодаря развитию мозга избавился от необходимости узкой специализации, приспособ-

ления только к одному образу жизни, как свойственно большинству животных.

Ноги человека не годятся для непрерывного бега на твердой, тем более на вязкой почве и, однако, могут ему обеспечить длительное и быстрое передвижение, помогают взбираться на деревья и лазить по скалам. А рука человека — наиболее универсальный орган, она может выполнять миллионы дел, и, собственно, она вывела первобытного зверя в люди.

Человек еще на ранних стадиях своего формирования развился как универсальный организм, приспособленный к разнообразным условиям. С дальнейшим переходом к общественной жизни эта многогранность человеческого организма стала еще больше, еще разнообразнее, как и его деятельность. И красота человека в сравнении со всеми другими наиболее целесообразно устроенными животными — это, кроме совершенства, еще и универсальность назначения, усиленная и отточенная умственной деятельностью, духовным воспитанием.

— Мыслящее существо из другого мира, если оно достигло космоса, также высоко совершенно, универсально, то есть прекрасно! Никаких мыслящих чудовищ, человеко-грибов, людей-осьминогов не должно быть! Не знаю, как это выглядит в действительности, встретимся ли мы со сходством формы или красотой в каком-то другом отношении, но это неизбежно! — закончила свое выступление Афра Деви.

— Мне нравится теория, — поддержал биолога Тэй Эрон, — только...

— Я поняла, — перебила Афра. — Даже ничтожные отклонения от привычного облика создают уродства, а тут вероятность отклонений слишком велика. Ведь незначительные отклонения формы: отсутствие носа, век, губ на человеческом лице, вызванные травмой, воспринимаются нами как уродство и страшны именно тем, что они на общей человеческой основе. Морда лошади или собаки очень резко отличается от человеческого лица, и тем не менее она не уродлива, даже красива. Это потому, что в ней красота целесообразности, в то время как на травмированном человеческом лице гармония нарушена...

— Следовательно, если они будут по облику очень далеки от нас, то не покажутся нам уродливыми? А если

такие же, как мы, но с рогами и хоботами? — не сдавался Тэй.

— Рога мыслящему существу не нужны и никогда у него не будут. Нос может быть вытянут наподобие хобота (хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен). Это будет частный случай, необязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически, в результате естественного отбора, становится закономерностью, неким средним из множества отклонений. Тут-то выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность. И я не жду рогатых и хвостатых чудовищ во встречном звездолете — там им не быть! Только пизжие формы жизни очень разнообразны; чем выше, тем они более похожи друг на друга. Палеонтология показывает нам, в какие жесткие рамки вправляло высшие организмы эволюционное развитие — вспомните о сотнях случаев полного внешнего сходства у высших позвоночных из совершенно различных подклассов — сумчатых и планцентарных.

— Вы победили! — согласился Тэй Эрон с Афрой и не без гордости за подругу оглядел присутствующих.

Неожиданно стал возражать Кари Рам, слегка покраснев от юношеского смущения. Он говорил, что чужие существа, даже обладая вполне человеческой и красивой оболочкой — телом, могут оказаться бесконечно далекими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они могут стать жестокими и ужасными врагами.

Тогда на защиту биолога стал Мут Анг.

— Только недавно я думал об этом, — сказал командир, — понял, что на высшей ступени развития никакого непонимания между мыслящими существами быть не может. Мышление человека, его рассудок отражают законы логического развития окружающего мира, всего космоса. В этом смысле человек — микрокосм. Мышление следует законам мироздания, которые едины повсюду. Мысль, где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких «иных», совсем непохожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы...

Радостные восклицания заглушили слова командира.

— Не слишком ли сильно? — неодобрительно сказал Мут Анг.

— Нет, — смело возразила Афра Деви, — всегда восхищаешься совпадением мыслей у целого ряда людей. В этом залог их верности и чувство товарищеской опоры... особенно если подходишь с разных сторон науки...

— Вы имеете в виду биологию и социальные дисциплины? — спросил молчавший до сих пор Яс Тии, по обыкновению устроившийся в удобном углу дивана.

— Да! Самым ярким во всей социальной истории земного человечества было неуклонное возрастание взаимопонимания с ростом культуры и широты познаний. Чем выше становилась культура, тем легче было разным народам и расам бесклассового общества понять друг друга, тем ярче светили всем общие цели устройства жизни, необходимость объединения сначала нескольких стран, а затем и всей планеты, всего человечества. Сейчас, при том уровне развития, которое достигнуто Землей и, несомненно, теми, кто идет нам навстречу... — Афра умолкла.

— Это так, — согласился Мут Анг, — две разные планеты, достигшие космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты!

— Но как же насчет неизбежности войны даже в космосе, в которой были убеждены наши предки с довольно высоким уровнем культуры? — спросил Кари Рам.

— Где она, та знаменитая книга, обещанная вами, — вспомнил Тэй Эрон, — о двух космических кораблях, которые при первой же встрече хотели уничтожить друг друга?

Командир снова направился в свою комнату. На этот раз ничто не помешало, Мут Анг вернулся с маленькой восьмилучевой звездочкой микрофильма и вставил ее в читающую машину. Фантазия древнего американского автора интересовала всех звездолетчиков.

* * *

Рассказ, называвшийся «Первый контакт», в драматических тонах описывал встречу земного звездолета с чужим в Крабовидной туманности, на расстоянии более тысячи парсеков от Солнца. Командир земного звездолета отдал приказ приготовить все звездные карты, материалы наблюдений и вычислений курса к мгновенному уничто-

жению, а также направить на чужой корабль все пушки для разрушения метеоритов. Затем земные люди начали решать ответственнейшую проблему: имеют ли они право попытаться вступить в переговоры с чужим звездолетом или должны немедленно атаковать и уничтожить его? Смысл великой тревоги людей Земли заключался в опасении, что чужие разгадают путь земного корабля и как завоеватели явятся на Землю.

Дикие мысли командира принимались экипажем корабля за непреложные истины. Встреча двух независимо возникших цивилизаций, по мнению командира, должна неминуемо вести к подчинению одной и победе той, которая обладает более сильным оружием. Встреча в космосе означала либо торговлю, либо войну — ничего другого не пришло в голову автору.

Скоро выяснилось, что чужие очень сходны с земными людьми, хотя видят лишь в инфракрасном свете, а переговариваются радиоволнами; тем не менее люди сразу разгадали язык чужих и поняли их мысли. У командира чужого звездолета были такие же убогие социальные познания, как у людей Земли. Он ломал голову над задачей, как выйти из рокового положения живым и не уничтожать земного корабля.

Долгожданная великолепная случайность — первая встреча представителей разных человечеств — грозила обернуться страшной бедой. Корабли висели в пространстве на расстоянии около семисот миль друг от друга, и звездолеты уже более двух недель вели переговоры через робота — сферическую лодку.

Оба командира заверяли друг друга в миролюбии и тут же твердили, что не могут ничему верить. Положение было бы безвыходным, если бы не главный герой повести — молодой астрофизик. Спрятав под одежду бомбы страшной взрывной силы, он вместе с командиром явился в гости на чужой звездолет. Они предъявили ультиматум: поменяться кораблями. Часть экипажа черного звездолета должна была перейти на земной, а часть землян — на чужой, предварительно обезвредив все свои пушки для разрушения метеоритов, обучиться управлению разными системами, перевезти все имущество. А пока оба героя с бомбами должны были оставаться на чужом звездолете, чтобы в случае какого-либо подвоха мгновенно взорвать корабль. Командир чужого звездолета принял ультима-

тум. Размен кораблей и их обезвреживание произошли благополучно. Черный звездолет с людьми, а земной корабль с чужими поспешно удалились от места встречи, скрывшись в слабом свечении газа туманности.

...Гул голосов наполнил библиотеку. Еще во время чтения то один, то другой из молодых астролетчиков выказывал признаки нетерпения, несогласия, сгорая от желания возразить. Теперь они принялись говорить, едва избегая величайшей невежливости, какой считалась попытка перебить собеседника. Все обращались к командиру, будто он стал ответствен за древнюю повесть, извлекающую им из забвения.

Большинство говорило о полном несоответствии времени действия и психологии героев. Если звездолет смог удалиться от Земли на расстояние четырех тысяч световых лет всего за три месяца пути, то время действия повести должно было быть даже позднее современного. Никто еще не достиг таких глубин космоса. Но мысли и действия людей Земли в повести ничем не отличаются от принятых во времена капитализма, много веков назад! Немало и чисто технических ошибок, вроде невозможно быстрой остановки звездолетов или общения чужих мыслящих существ между собою радиоволнами. Если их планета, как указывалось в рассказе, обладала атмосферой почти такой же плотности, как и земная, то неизбежным было развитие слуха, подобного человеческому. Это требовало несравненно меньшей затраты энергии, чем производство радиоволн или сообщение биотоками. Невероятна также и быстрая расшифровка языка чужих, настолько точная, что могла быть закодированной в переводную машину...

Тэй Эрон отметил убогое представление о космосе в повести, тем более удивительное, что великий древний ученый Циолковский за несколько десятков лет до того, как был написан рассказ, предупреждал человечество, что космос устроен гораздо сложнее, чем мы ожидаем. Вопреки мыслителям-диалектикам, некоторые ученые считали, что они находятся почти у пределов познания.

Прошли века, множество открытий бесконечно усложнило наше представление о взаимозависимости явлений и тем самым как будто отдалило и замедлило познание космоса. Вместе с тем наука нашла огромное количество обходных путей для разрешения сложных проблем и

технических задач. Примером подобных обходов было создание пульсационных космических кораблей, передвигающихся будто бы вне обычных законов движения. Именно в этом преодолении кажущихся тупиков математической логики и заключалось могущество будущего. Но автор «Первого контакта» даже не почувствовал необъятности познания, скрытой за простыми формулировками великих диалектиков его времени.

— Никто не обратил внимания еще на одно обстоятельство, — вдруг заговорил молчаливый Яс Тин. — Рассказ написан на английском языке. Все имена, прозвища и юмористические выражения оставлены английскими. Это не просто! Я лингвист-любитель и изучал процесс становления первого мирового языка. Английский язык — один из наиболее распространенных в прошлом. Писатель отразил, как в зеркале, нелепую веру в псызблемость, вернее, бесконечную длительность общественных форм. Замедленное развитие античного рабовладельческого мира или эпохи феодализма, вынужденное долготерпение древних народов были ошибочно приняты за стабильность вообще всех форм общественных отношений: языков, религий и, наконец, последнего стихийного общества, капиталистического. Опасное общественное неравновесие конца капитализма считалось неизменным. Английский язык уже тогда был архаическим пережитком, потому что в нем было фактически два языка — письменный и фонетический, и он полностью непригоден для переводных машин. Удивительно, как автор не сообразил, что язык меняется тем сильнее и скорее, чем быстрее идет изменение человеческих отношений и представлений о мире! Полузабытый древний язык санскрит оказался построенным наиболее логически и потому стал основой языка — посредника для переводных машин. Прошло немного времени, и из языка-посредника сформировался первый мировой язык нашей планеты, с тех пор еще претерпевший много изменений. Западные языки оказались недолговечными. Еще меньше прожили взятые от религиозных преданий, из совсем чуждых и давно умерших языков имена людей.

— Яс Тин заметил самое главное, — вступил в разговор Мут Анг. — Страшнее, чем научное незнание или неверная методика, — косность, упорство в защите тех форм общественного устройства, которые совершенно очевидно

не оправдали себя даже в глазах современников. В основе этой косности, за исключением менее частых случаев простого невежества, лежала, конечно, личная заинтересованность в сохранении того общественного строя, при котором этим защитникам жилось лучше, чем большинству людей. А если так, то что за дело было им до человечества, до судьбы всей планеты, ее энергетических запасов, здоровья ее обитателей!

Неразумное расходование запасов горючих ископаемых, лесов, истощение рек и почв, опаснейшие опыты по созданию убийственных видов атомного оружия — все это, вместе взятое, определяло действия и мировоззрение тех, кто старался во что бы то ни стало сохранить отжившее и уходящее в прошлое, причиняя страдания и внушая страх большинству людей. Именно здесь зарождалось и прорастало ядовитое семя исключительных привилегий, выдумок о превосходстве одной группы, класса или расы людей над другими, оправдание насилия и войн — все то, что получило в давние времена название фашизма.

Привилегированная группа неизбежно будет тормозить развитие, стараясь, чтобы для нее оставалось все по-прежнему, а униженная часть общества будет вести борьбу против этого торможения и за собственные привилегии. Чем сильнее было давление привилегированной группы, тем сильнее становилось сопротивление, жестче формы борьбы, и развивалась обоюдная жестокость, и, следовательно, деградировало моральное состояние людей. Перенесите это с борьбы классов в одной стране на борьбу привилегированных и угнетенных стран между собою. Вспомните из истории борьбу между странами нового, социалистического общества и старого, капиталистического, и вы поймете причину рождения военной идеологии, пропаганды неизбежности войн, их вечности и космическом распространении. Я вижу здесь сердце зла, ту змею, которая, как ее ни прячь, обязательно укусит, потому что не кусать она не может. Помните, каким недобрым красно-желтым светом горела звезда, мимо которой мы направились к нашей цели...

-- Сердце Змеи! — воскликнула Тайна.

-- Сердце Змеи! И сердце литературы защитников старого общества, пронагандировавшей неизбежность войны и капитализма, — это сердце ядовитого пресмыкающегося.

— Следовательно, наши опасения — тоже отголоски змеиного сердца, еще оставшиеся от древних! — серьезно и печально сказал Кари. — Но я, паверно, самый змеиный человек из всех нас, потому что у меня еще есть опасения... сомнения, как там их назвать.

— Кари! — с укором воскликнула Тайпа.

Но тот упрямо продолжал:

— Командир хорошо говорил нам о смертных кризисах высших цивилизаций. Все мы знаем погибшие планеты, где жизнь уничтожена из-за того, что люди на них не успели справиться с военной атомной опасностью, создать новое общество по научным законам и навсегда положить конец жажде истребления, вырвать это змеиное сердце! Знаем, что наша планета едва успела избежать подобной участи. Не пояись в России первое социалистическое государство, положившее начало великим изменениям в жизни планеты, расцвел бы фашизм и с ним — убийственные ядерные войны! Но если они там, — молодой астронавигатор показал в сторону, с которой ожидался чужой звездолет, — если они еще не прошли опасного пика?

— Исключено, Кари, — спокойно ответил Мут Анг. — Возможна некая аналогия в становлении высших форм жизни и высших форм общества. Человек мог развиваться лишь в сравнительно стабильных, долго существующих благоприятных условиях окружающей природы. Это не значит, что изменения совсем отсутствовали, наоборот — они были даже довольно резкие, но лишь в отношении человека, а не природы в целом. Катастрофы, большие потрясения и изменения не позволили бы развиваться высшему мыслящему существу. Так и высшая форма общества, которая смогла победить космос, строить звездолеты, проникнуть в бездонные глубины пространства, смогла все это дать только после всепланетной стабилизации условий жизни человечества и, уж конечно, без катастрофических войн капитализма... Нет, те, что идут нам навстречу, тоже прошли критическую точку, тоже страдали и гибли, пока не построили настоящее, мудрое общество!

— Мне кажется, есть какая-то стихийная мудрость в историях цивилизаций разных планет, — сказал с загоревшимися глазами Тэй Эрон. — Человечество не может покорить космос, пока не достигнет высшей жизни, без войн,

с высокой ответственностью каждого человека за всех своих собратьев!

— Совершив подъем на высшую ступень коммунистического общества, человечество обрело космическую силу, и оно могло обрести ее только этим путем, другого не дано! — воскликнул Кари. — И не дано никакому другому человечеству, если так называть высшие формы организованной, мыслящей жизни.

— Мы, наши корабли — руки человечества Земли, протянутые к звездам, — серьезно сказал Мут Анг, — и эти руки чисты! Но это не может быть только нашей особенностью! Скоро мы коснемся такой же чистой и могучей руки!

Молодежь не выдержала и восторженными криками встретила заключение командира. Но и старшие, достигшие мужественной сдержанности чувств, окружили Мут Анга с явным волнением.

* * *

Где-то впереди, все еще на чудовищном расстоянии, летел навстречу корабль с планеты чужой и далекой звезды. И люди Земли впервые за миллиарды лет развития жизни на своей планете должны соприкоснуться с другими... тоже людьми. Неудивительно, что астролетчики, как ни сдерживали себя, пришли в лихорадочное возбуждение. Удалиться на отдых, остаться наедине с собой в горячем нетерпении ожидания казалось невозможным. Но Мут Анг, рассчитав время встречи звездолетов, приказал Свет Симу дать всем успокоительного лекарства.

— Мы, — твердо отвечал он на протесты, — должны встретить своих собратьев в наилучшем состоянии души и тела. Предстоит еще огромный труд: нам придется понять их и суметь рассказать о себе. Взять их знание. И отдать свое! — Мут Анг сдвинул брови. — Никогда еще я так не опасался своего неумения, некомпетентности. — Тревога изменила обычно спокойное лицо командира, пальцы стиснутых рук побелели.

Астролетчики, может быть, только сейчас ощутили, какую ответственность налагала на каждого небывалая встреча. Они беспрекословно приняли пилюли и разошлись.

Мут Анг оставил только Кари, потом поколебался, окидывая взглядом могучую фигуру Тэй Эропа, и жестом

пригласил его тоже в пост управления. Со вздохом усталости командир вытянулся в кресле, склонил голову и закрыл лицо руками.

Тэй и Кари молчали, опасаясь нарушить раздумья командира. Звездолет шел очень медленно, делая двести тысяч километров в час, — так называемой тангепциальной скоростью, употреблявшейся при вхождении в зону Роша какого-либо небесного тела. Роботы, управлявшие кораблем, держали его на тщательно вычисленном обратном курсе. Пора было появиться лучу локатора чужого корабля, и то, что его не было, заставляло Тэй Эрона с каждой минутой тревожиться сильнее.

Мут Анг выпрямился с веселой и немного грустной улыбкой, хорошо знакомой каждому члену экипажа.

«Приди, далекий друг, к заветному порогу...»

Тэй нахмурился, вглядываясь в беспросветную черноту переднего экрана. Песенка командира показалась ему неподходящей в такой серьезный момент. Но Кари подхватил еще более веселый припев, лукаво поглядывая на угрюмого помощника.

— Попробуйте помахать нашим лучом, Кари, — вдруг сказал Мут Анг, прерывая себя, — по два градуса в каждую сторону и наперекрест!

Тэй слегка покраснел. Не додумался до простой меры, а мысленно укорил командира!

Прошло еще два часа. Кари представлял себе, как луч их локатора там, впереди, в колоссальном удалении, скользит налево, направо, вверх и вниз, пробегая с каждым взмахом сотни тысяч километров черной пустоты. Такие взмахи сигнального «платка» превосходили самую буйную фантазию старых земных сказок о великанах.

Тэй Эрон погрузился в созерцательное оцепенение. Мысли текли медленно, не вызывая эмоций. Тэй вспомнил, как после отлета с Земли его не покидало чувство странной отрешенности.

Наверно, это чувство было свойственно человеку в первобытной жизни — ощущение полной несвязанности, отсутствия каких-либо обязательств, забот о будущем. Вероятно, подобные ощущения появлялись у людей во времена больших бедствий, войн, социальных потрясений. И у Тэй Эрона прошлое, все, что было оставлено на Земле, ушло навсегда и невозвратно; неизвестное будущее отделено пропастью в сотни лет, за которой ждет только со-

всем новое. Поэтому никаких планов, проектов, чувств и пожеланий для того, что впереди. Только принести туда добытое из космоса, вырванное из его глубин новое познание. Вперед, только вперед! И вдруг случилось такое, что заслонило собою и ожидание новой земли и заботы помощника командира.

Мут Анг попытался представить себе жизнь идущего навстречу корабля. Командир представлял себе корабль чужих и его обитателей сходными с земным кораблем, земными людьми, земными переживаниями. Он убедился, что легче представить чужих, выдумывая самые невероятные формы жизни, чем подчинить свою фантазию строгим рамкам законов, о которых так убедительно говорила Афра Деви.

Еще не подняв опущенной головы, по внезапному напряжению товарищей Мут Анг почувствовал появление сигнала на экране локатора. Он не увидел ее, эту световую точку, — так быстро она исчезла, черкнув по черному блестящему диску. Сигнальный звонок едва звякнул. Астролетчики вскочили и перегнулись через столы пультов, инстинктивно стараясь приблизиться к экрану. Как ни мгновенно было появление светящейся точки, оно означало очень многое. Чужой звездолет повернул им навстречу, а не скрылся в глубинах пространства. Кораблем управляют не менее искусные в космических полетах существа, они сумели рассчитать обратный курс достаточно точно и быстро и теперь нащупывают «Теллур» лучом на огромном расстоянии. Две невообразимо маленькие точки, затерявшиеся в необъятной тьме, ищут друг друга... И в то же время это два огромных мира, полных энергии и знания, касаются один другого направленными пучками световых волн. Кари повел луч главного локатора с деления «1488» на «375». Еще, еще... Световая точка вернулась, исчезла, снова мелькнула в черном зеркале, сопровождаемая мгновенно умиравшим звуковым сигналом.

Мут Анг взялся за верньеры локатора и стал описывать спираль от периферии к центру того колоссального круга, который очерчивался лучом в районе приближавшегося звездолета.

Чужие, видимо, повторили маневр. После долгих усилий световая точка укрепилась в пределах третьего круга черного зеркала. Она металась лишь от вибрации обоих

кораблей. Звонки раздавались теперь непрерывно, и его пришлось приглушить. Не было сомнения, что луч «Теллура» также уловлен приборами чужого звездолета и корабли идут навстречу, сближаясь за час не меньше чем на четыреста тысяч километров.

Тэй Эрон извлек из машины заданные ей расчеты и определил, что корабли разделяет расстояние около трех миллионов километров. До встречи звездолетов осталось семь часов. Через час можно было начинать интегральное торможение, которое отодвинет встречу еще на несколько часов, если чужой звездолет сделает то же самое и если он тормозится по сходным расчетам. Возможно, чужие смогут остановиться быстрее или же придется снова миновать друг друга, и это опять отдалит встречу, а ожидания становятся почти невыносимым.

Но чужой звездолет не причинил лишних мучений. Он начал тормозиться сильнее, чем «Теллур», потом, установив темп замедления земного звездолета, повторил его. Корабли сходились ближе и ближе. Экипаж «Теллура» снова собрался в центральном посту. Звездолетчики следили, как в черном зеркале локатора световую точку заменило пятно.

Это собственный луч «Теллура», отразившись от чужого звездолета, вернулся к кораблю. Пятно стало похоже на крохотный цилиндр, опоясанный толстым валиком (форма, даже отдаленно не напоминавшая «Теллур»). Еще ближе — и на концах цилиндра появились куполовидные утолщения.

Сияющие контуры увеличивались и расплывались, пока не достигли периферии черного круга.

— Слушайте все! По местам! Окончательное торможение при восьми «g»!

Гидравлические кресла долго вдавливались в свои подставки, в глазах у людей краснело и темнело, на лицах выступал липкий пот. «Теллур» остановился и повис в пустоте, где не было верха и низа, сторон или дна, в ледящей космической тьме, в ста двух парсеках от родной звезды — желтого Солнца.

Едва придя в себя после торможения, астролетчики включили экраны прямого обзора и гигантский осветитель, но ничего не увидели, кроме яркого светового тумана впереди и левее носа корабля. Осветитель погас, и тогда сильный голубой свет ударил в глаза всем смотревшим на

экран, окончательно лишив их возможности что-либо увидеть.

— Поляризатор-сетку, тридцать пять градусов и фильтр световых волн! — распорядился Мут Анг.

— На длину волны шестьсот двадцать? — осведомился Тэй Эрон.

— Вероятно, это будет наилучшим!

Поляризатор погасил голубое сияние. Тогда могучий оранжевый поток света воцарился в черную тьму, повернул, задел край какого-то сооружения и наконец осветил весь чужой звездолет.

Корабль с другой звезды находился всего в нескольких километрах. Такое сближение делало честь как земным, так и чужим астронавигаторам. С расстояния трудно было точно определить размеры звездолета. Внезапно из чужого корабля ударил в зенит толстый луч оранжевого света, по длине волны совпадавшего с тем, который излучал «Теллур». Видимо, чужие так же, как и земляне, использовали свет для сигнализации, делая его лучи видимыми в космической пустоте. Луч появился, исчез, возник снова и остался стоять вертикально, возносясь к незнакомым созвездиям на краю Млечного Пути.

Мут Анг потер лоб рукой, что делал всегда в минуты напряженного раздумья.

— Вероятно, сигнал, — осторожно сказал Тэй Эрон.

— Без сомнения. Я понял бы его так: неподвижный столб нашего света означает «Стойте на месте, буду подходить я». Попробуем ответить.

Земной звездолет погасил свой прожектор, переключил фильтр на волну четыреста тридцать и повел голубым лучом к своей корме. Столб оранжевого света на чужом корабле мгновенно погас.

Астролетчики ожидали чуть дыша. Чужой корабль больше всего походил на катушку: два конуса, соединенные вершинами. Основание одного из конусов, видимо переднего, прикрыто куполом, на заднем установлена широкая, открытая в пространство воронка. Середина корабля выступала толстым, слабо светившимся кольцом неопределенных очертаний. Сквозь кольцо просвечивали контуры цилиндра, соединявшего конусы. Внезапно кольцо сгустилось, сделалось непроницаемым, закрутилось вокруг середины звездолета, как колесо турбины. Чужой корабль стал вырастать на обзорных экранах: за три-четыре

секунды он заполнил собою все поле видимости. Люди Земли поняли, что перед ними корабль больше «Теллура».

— Афра, Яс и Кари — в плюзовую камеру, к выходу из корабля вместе со мной! Тэй останется на посту. Планетарный осветитель включить! Зажжем посадочное освещение левого борта! — отдавал короткие распоряжения командир.

В лихорадочной спешке названные астролетчики надели легкие скафандры, применявшиеся для планетных исследований и для выхода из корабля в космическое пространство, в отдалении от смертоносного излучения звезд.

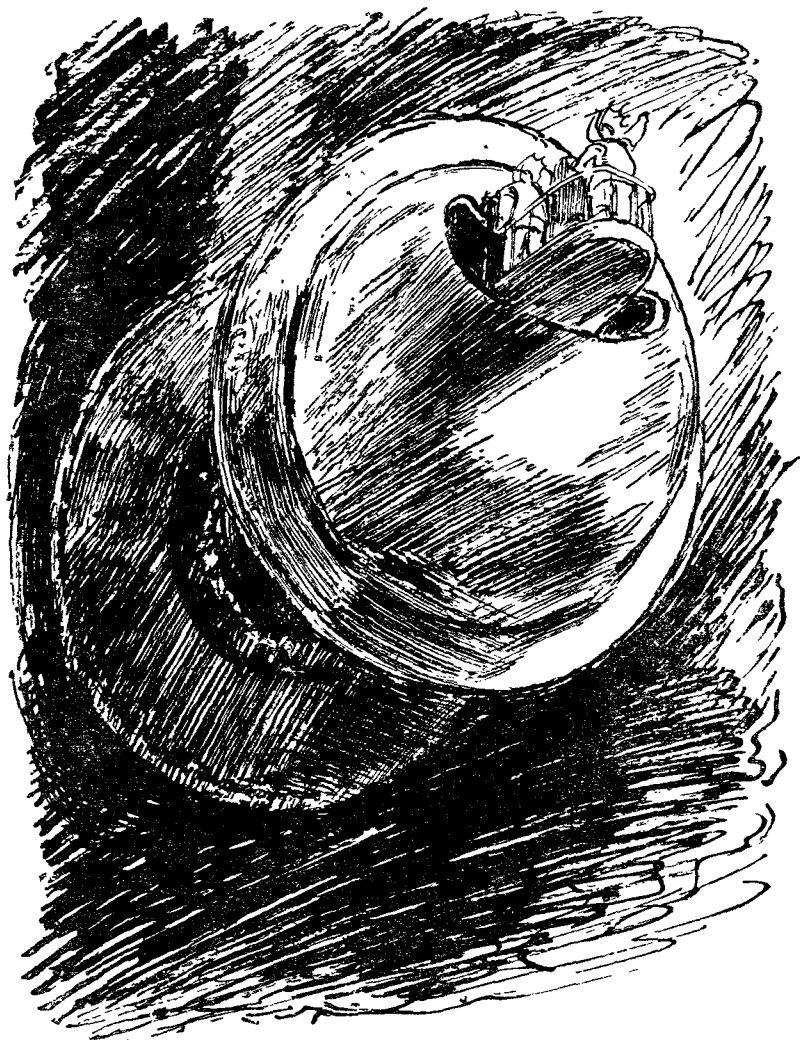
Мут Анг критически осмотрел всех, проверил работу своего скафандра и включил насосы. Они мгновенно всосали воздух из плюзовой камеры внутрь корабля. Едва показатель разрежения достиг зеленой черты, командир повернул одну за другой три рукоятки. Беззвучно, как и все, что происходило в космосе, сдвинулись в стороны броневые плиты, изоляционный слой и коробка воздушной ячейки. Отскочила круглая крышка выходного люка, и тотчас гидравлические шланги выдавили вверх пол плюзовой камеры. Четверо астролетчиков оказались на высоте четырех метров над передней частью «Теллура», на круглой, огражденной площадке, так называемой площадке верхнего обзора.

* * *

Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался совершенно белым. У него была не зеркальная металлическая поверхность, отражающая все виды излучений космоса, как броня «Теллура», а матовая, светившаяся ярчайшей белизной горного снега. Только центральное кольцо продолжало испускать слабое голубое сияние.

Исполинская громада корабля заметно приближалась к «Теллуру». В космическом пространстве, далеко от любых полей тяготения, оба звездолета ощутительно притягивали друг друга, и это служило порукой тому, что корабль чужого мира не был из антиматерии. «Теллур» выставил с левого борта гигантские причальные упоры в виде телескопических пружинных труб.

Концы упоров были снабжены подушками из упругой пластмассы с предохранительным слоем на тот случай, если бы то, к чему предстояло прикоснуться в космосе,



*Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался
совершенно белым.*

оказалось из антиматерии. Куполовидный нос чужого звездолета прорезался наверху черным зиянием, похожим на раскрывшийся в наглой усмешке рот. Оттуда выдвинулся балкон, огражденный частыми тонкими столбиками. В черной пасти зашевелилось что-то белое. Три товарища Афры услышали вырвавшийся у нее стон разочарования. Пять мертвенно-белых, непомерно широких фигур появились на выступающей площадке звездолета. Ростом примерно соответствуя людям Земли, они были гораздо толще, спины горбились гребневидными выступами. Вместо круглых прозрачных шлемов землян на приподнятых поперечными валиками плечах чужих помещалось нечто вроде большой известковистой раковины, обращенной выпуклостью назад. Спереди всею расходились и торчали большие шипы, образуя навес, под которым неразличимая темнота чуть отблескивала черным стеклом.

Первая появившаяся белая фигура сделала резкий жест, из которого стало ясно, что у чужих две руки и две ноги. Белый корабль повернулся носом к борту земного звездолета и выдвинул более чем на двадцать метров гармопику из пластин красного металла.

Мягкий пружинящий толчок — и оба корабля соприкоснулись. Но на концах стержней не вспыхнула ослепительная молния полного атомного распада, закапсюлированного мощным магнитным полем: материя встретившихся звездолетов была одной и той же.

Стоявшие на обзорной площадке «Теллура» услышали в своих телефонах тихий довольный смехок командира и переглянулись в недоумении.

— Я думаю утешить всех, и прежде всего Афру, — сказал Мут Анг. — Представьте себе нас с их стороны! Пузырчатые куклы с суставчатыми конечностями и огромными круглыми головами... пустыми на три четверти!

Афра звонко рассмеялась.

— Все дело в начинке скафандров, в том, что там внутри, а снаружи — дело произвольное!

— Ног и рук столько же, сколько у нас, — начал Кари.

Но тут вокруг выдвинутого белым кораблем металлического каркаса возник складчатый белый футляр, пустым рукавом протянувшись к «Теллуру». Передняя фигура на площадке, в которой Мут Анг чутьем угадал равного себе по рангу командира, стала делать не оставляющие сомнений жесты, приближая к груди вытянутые к

«Теллуру» руки. Люди не заставили себя ждать и выдвинули из нижней части корпуса соединительную трубу-галерею, употреблявшуюся для сообщения между кораблями в пространстве. Галерея «Теллура» была круглого сечения, у белого звездолета — вертикально-эллиптическая. Земные техники быстро изготовили из мягкого дерева переходную раму. На космическом морозе дерево мгновенно изменило свою молекулярную систему и стало прочнее стали. За это время на выступе чужого корабля появился куб из красного металла с черной передней стенкой — экраном. Две белые фигуры склонились над ним, выпрямились и отступили. Перед взглядами землян на экране засветилось подобие человеческой фигуры, верхняя часть которой ритмически расpirялась и опадала. Маленькие белые стрелки то устремлялись внутрь фигуры, то вылетали наружу.

— Гениально просто: дыхание! — воскликнула Афра. — Они покажут нам, чем дышат, состав своей атмосферы, но как?

Будто отвечая на ее вопрос, дышащая модель на экране исчезла, заменившись новой фигурой. Черная точка в сероватом кольцевидном облачке — несомненно ядро атома, окруженное тонкими орбитами светящихся точек — электронов. Мут Анг почувствовал, как сжалось горло, он не мог произнести ни слова. На экране были уже четыре фигуры: две в центре, одна под другой, связанные толстой белой чертой, и две боковые, соединенные черными стрелками.

Все земляне с бьющимися сердцами считали электроны. Нижний, видимо основной элемент океана: один электрон вокруг ядра — водород. Верхний, главный элемент атмосферы и дыхания: девять электронов вокруг ядра — фтор!

— О-о! — жалобно вскрикнула Афра Деви. — Фтор!..

— Считайте, — перебил командир, — налево вверху — шесть электронов: углерод, направо — семь: азот. Вот и все ясно. Передайте, чтобы изготовили такую же таблицу нашей атмосферы и нашего обмена вещества — все будет то же, только вместо центрального верхнего, фтора, у нас кислород с его восемью электронами. Как жаль, отчаянно жаль!

Когда земляне выдвинули свою таблицу, астролетчики заметили, как пошатнулась передняя белая фигура на мостике своего корабля и поднесла руку к раковине

скафандра жестом, попятным человеку Земли. Видимо, те же чувства, но еще более сильные, были у командира чужого звездолета.

Эта же белая фигура перегнулась через ограждение мостика и сделала рукой резкий взмах, как бы разрубая что-то в пустоте. Шиповидные выросты его головной раковины угрожающе наклонились к «Теллуру», который находился на несколько метров ниже белого корабля. Потом командир чужих поднял обе руки и провел ими вниз на некотором расстоянии одна от другой, как бы показывая две параллельные плоскости.

Мут Анг повторил его жест. Тогда командир чужого звездолета высоко поднял одну руку жестом безмолвного привета, повернулся и скрылся в черной пасти. За ним последовали остальные.

— Пойдемте и мы, — сказал Мут Анг, нажимая опускающий рычаг.

Афра даже не успела поглядеть на великолепное сверкание звезд в черной пустоте космоса, которое всегда приводило ее в особенный созерцательный восторг.

Люк закрылся, вспыхнуло освещение шлюзовой камеры, стало слышно легкое шипение насосов — первый признак того, что воздух достиг земной плотности.

— Будем строить перегородки, а потом соединять галереи? — спросил Яс Тип командира, едва освободившись от шлема.

— Да. Это и хотел сказать командир их звездолета. Какое горе: у них на планете газ жизни — фтор, смертельно ядовитый для нас! А им так же смертелен наш кислород. Многие наши материалы, краски и металлы, стойкие в кислородной атмосфере, могут разрушиться при соприкосновении с их дыханием. Вместо воды у них жидкий фтористый водород — та самая плавиковая кислота, которая у нас разъедает стекло и разрушает почти все минералы, в состав которых входит кремний, легкорастворимый во фтористом водороде. Вот почему нам придется ставить прозрачную перегородку, стойкую против кислорода, а они поставят свою, из вещества, не разрушаемого фтором. Но пойдемте, надо спешить. Мы обсудим все, пока будет изготавливаться переборка!

Матово-синий пол гасительной камеры, отделявшей жилые помещения от машин «Теллура», превратился в химическую мастерскую. Толстый лист хрустально-про-

зрачной пластмассы был отлит из заготовленных еще на Земле составов и теперь медленно цементировался, прогреваемый отопительными коврами. Неожидавшее препятствие сделало невозможным прямое общение людей Земли с чужими.

Белый корабль не проявлял никаких признаков жизни, хотя наблюдатели непрерывно следили за ним у обзорных экранов.

В библиотеке «Теллура» кипела работа. Все члены экипажа отбирали стереофильмы и магнитные фотозаписи о Земле, репродукции лучших произведений искусства. Спешно готовились диаграммы и чертежи математических функций, схемы кристаллических решеток веществ, наиболее распространенных в земной коре, на других планетах и на Солнце. Регулировали большой стереоэкран, заделывали в устойчивый к фтору чехол оберточный звуочатель, точно передающий голос человека.

В короткие перерывы еды и отдыха астролетчики обсуждали необыкновенную атмосферу родины встречаемых путешественников космоса.

Круговорот веществ, использующий лучистую энергию светила и позволяющий жизни существовать и накапливать энергию в борьбе с рассеянием энергии — энтропией, обязательно должен был и у чужих следовать общей схеме земных превращений. Свободный активный газ, будь то кислород, фтор или какой-нибудь еще, мог накопиться в атмосфере только в результате жизнедеятельности растений. Животная жизнь и человек в том числе расходовали кислород или фтор, связывая его с углеродом — основным элементом, из которого состояли тела и растений и животных.

На чужой планете должен был быть фтористоводородный океан. Расщепляя с помощью лучистой энергии своего светила фтористый водород, как у нас на Земле воду (кислородистый водород), растения той планеты накапливали углеводы и выделяли свободный фтор, которым в смеси с азотом дышали люди и животные, получая энергию от сгорания углеводов во фторе. Животные и люди должны выдыхать фтористый углерод и фтористый водород.

Подобный обмен веществ дает в полтора раза больше энергии, чем земной с его кислородной основой. Не мудрено, что он послужил для развития высшей мыслящей жизни. Но диалектически большая активность фтора по

сравнению с кислородом требует и более сильной радиации светила. Чтобы лучистая энергия была в состоянии расщепить молекулу фтористого водорода в растительном фотосинтезе, нужны не желто-зеленые лучи, как для воды, а лучи более мощных квант, голубые и фиолетовые. Очевидно, что светило чужих — голубая высокотемпературная звезда.

— Противоречие! — вмешался в разговор вернувшийся из мастерской Тэй Эрон. — Фтористый водород легко превращается в газ.

— Да, при плюс двадцати градусах, — ответил, заглядывая в справочник, Кари.

— А замерзает?

— При минус восьмидесяти.

— Следовательно, их планета должна быть холодной! Это не вяжется с голубой горячей звездой.

— Почему? — возразил Яс Тип. — Она может быть удалена от светила. Океаны могут находиться в умеренных или полярных зонах планеты. Или...

— Вероятно, может быть еще много «или», — сказал Мут Анг. — Как бы то ни было, звездолет с фторной планеты перед нами, и мы скоро узнаем все подробности их жизни. Важнее сейчас понять другое: фтор очень редок во Вселенной. Хотя последние исследования передвинули фтор с сорокового по степени распространения места на восемнадцатое, но наш кислород занимает во Вселенной третье место по общему количеству своих атомов после водорода и гелия, а уже за ним следуют азот и углерод. По другой системе подсчета кислорода в двести тысяч раз больше, чем фтора. Это может означать только одно: планет, богатых фтором, чрезвычайно мало в космосе, а планет со фторной атмосферой, то есть таких, на которых долго существовала растительная жизнь, обогатившая атмосферу свободным фтором, и совсем ничтожное число, исключение из правила.

— Теперь мне понятен жест отчаяния у командира их звездолета, — задумчиво произнесла Афра Деви. — Они ищут себе подобных, и их разочарование было очень сильно.

— Если очень сильно, то, значит, они ищут давно и, кроме того, уже встречались с мыслящей жизнью...

— И она была обыкновенная, нашего типа, кислородная, — подхватила Афра.

— Но могут быть и другие типы атмосферы, — возразил Тэй Эрон, — хлорная, например, или серная, еще сероводородная.

— Не годятся они для высшей жизни! — торжественно воскликнула Афра. — Все они дают в обмене веществ в три и даже в десять раз меньше энергии, чем кислород, наш могучий живительный кислород Земли!

— Только не серная, — пробурчал Яс Тин, — у нее энергия одинакова с кислородом.

— Вы подразумеваете атмосферу из сернистого ангидрида и океан из жидкой серы? — спросил Мут Анг.

Инженер согласно кивнул.

— Но ведь в этом случае сера заменяет не кислород, а водород нашей Земли, — нахмурилась Афра, — то есть самый обычный элемент космоса! Вряд ли редкая во Вселенной сера сможет быть частой заменительницей водорода. Ясно, что такая атмосфера — явление еще более редкое, чем фтор.

— И лишь для очень теплых планет, — ответил Тэй, листая справочник, — океан из серы будет жидким только выше ста и до четырехсот градусов тепла.

— Мне кажется, что Афра права! — вмешался командир. — Все эти предполагаемые атмосферы — слишком большая редкость по сравнению с нашей стандартной из наиболее распространенных в космосе элементов. Это не случайно!

— Не случайно, — согласился Яс Тин. — Но случайностей в бесконечном космосе немало. Возьмем нашу «стандартную» Землю. На ней да и на соседях ее — Луне, Марсе, Венере — много алюминия, вообще редкого во Вселенной.

— И тем не менее найти повторения этих случайностей в той же бесконечности — дело десятков, если не сотен тысячелетий, — угрюмо сказал Мут Анг. — Даже с пульсационными звездолетами. Если они ищут давно, то как я понимаю их!

— Как хорошо, что наша атмосфера из самых обычных элементов Вселенной и нас ждет встреча с великим множеством подобных же планет! — сказала Афра.

— А впервые встретились с отнюдь не подобной! — отозвался Тэй.

Аффа вспыхнула и только собралась возразить, как явился химик корабля с докладом, что прозрачный щит готов.

— Но мы можем войти в их звездолет запросто в космических костюмах? — осведомился Яс Тин.

— Так же, как и они в наш. Вероятно, состоится не один обмен визитами, но первые знакомства начнем с показа, — ответил командир.

Астролетчики закрепили прозрачную стену на конце передаточного рукава, а белые фигуры чужих начали ту же работу в своей галерее. Затем земляне и чужие встретились в пустоте, помогая друг другу скреплять распоры и переходную раму. Поглаживание по рукаву скафандра или по плечу — жест нежности и дружбы был в равной мере понятен тем и другим.

Грозя рогообразными выростами головных раковин, чужие пытались рассмотреть лица землян сквозь дымчатые шлемы. Но если головы земных людей были видны сравнительно отчетливо, то слабо выпуклые передние щитки шлемов чужих, укрытые под шипастыми навесами «раковин», оставались непроницаемы для земных глаз. Только безошибочное человеческое чутье говорило, что из этой темноты следят внимательные глаза, напряженно и доброжелательно.

На приглашение войти в «Теллур» белые фигуры ответили отрицательными жестами отталкивания. Один из них коснулся своего скафандра и затем быстро развел руками, как бы разбрасывая что-то.

— Бояться за скафандр в кислородной атмосфере, — догадался Тэй.

— Они хотят, как и мы, пачать со встречи в галерее, — сказал командир.

* * *

Оба звездолета — спешно-белый и металлически-зеркальный — составляли теперь одно целое, неподвижно повисшее в бесконечности космоса. «Теллур» включил мощные обогреватели, и его экипаж смог войти в соединительную трубу-галерею в обычных рабочих костюмах — плотно облегающих синих комбинезонах из искусственной шерсти.

На чужой стороне галереи вспыхнуло голубое освещение, похожее на свет горных высот Земли. На границе

двух по-разному освещенных камер прозрачные перегородки казались аквамариновыми, будто из застывшей чистой воды моря.

Наступившая тишина нарушалась только учащенным дыханием взволнованных землян. Тэй Эрон коснулся локтем плеча Афры и почувствовал, что молодая женщина вся дрожит. Помощник командира крепко прижал к себе биолога, и Афра ответила ему быстрым благодарным взглядом.

В глубине соединительной галереи показалась группа из восьми чужих... Чужих ли? Люди не поверили зрению. В глубине души каждый ожидал необычайного, никогда не виданного. Полное сходство чужих с людьми Земли казалось чудом. Но то было лишь при первом взгляде. Чем дольше всматривались земляне, тем больше различий находили в том, что не было скрыто под темной одеждой — сочетанием коротких просторных курток с длинными шароварами, напоминавшими старинные одежды Земли.

Погас голубой свет — они включили земное освещение. Прозрачные перегородки потеряли свой зеленый цвет и стали белыми, почти невидимыми. За этой едва заметной стеной стояли люди. Можно ли было поверить, что они дышат ядовитейшим для Земли газом и купаются в морях всеразъедающей плавиковой кислоты! Пропорциональные очертания тел, рост, соответствующий среднему росту землян. Странный чугунно-серый цвет кожи с серебристым отливом и скрытым кроваво-красным отблеском, какой бывает на полированном красном железяке — гематите. Серый тон этого минерала был одинаков с кожей обитателей фторной планеты.

Круглые головы поросли густыми иссиня-черными волосами... Но самой замечательной особенностью их лиц были глаза. Невероятно большие и удлинённые, с резко косым разрезом, они занимали всю ширину лица, косо поднимались наружными уголками к вискам, выше уровня глаз земных людей. Белки густого бирюзового цвета казались непропорционально удлиненными по отношению к черной радужине и зрачкам.

Соответственно размерам и положению глаз прямые и четкие, очень черные брови смыкались с волосами высоко на висках и почти сходились к узкой переносице, образуя широкий тупой угол. Волосы надо лбом от середины

спускались к вискам такой же четкой и прямой линией, совершенно симметричной бровям. Поэтому лоб имел очертания вытянутого горизонтально ромба. Нос, короткий и слабо выступавший, обладал, как у землян, направленными вниз позднями. Небольшой рот с фиолетовыми губами показывал правильный ряд зубов такого же чистого небесного цвета, как и белки глаз. Верхняя половина лица казалась очень расширенной. Ниже глаз лицо сильно суживалось к подбородку с чуть угловатыми очертаниями. Строение ушей осталось невыясненным: виски у всех пришельцев прикрывались через темя золотистыми жгутами.

Среди чужих были женщины и мужчины. Женщины угадывались по высоте стройных шей, округлости очертаний лиц и по очень пышной массе коротко стриженных волос. У мужчин был более высокий рост, большая массивность тела, более широкие подбородки — в общем, те же черты, какими различались оба пола землян.

Афре показалось, что руки чужих имеют только по четыре пальца. Соответствуя человеческим пропорциям, пальцы людей фторной планеты как будто не обладали суставами: они сгибались плавно, не образуя угловатых выступов.

Ног нельзя было разглядеть: ступни их утопали в мягком настиле пола. Одежды в свете, естественном для земных глаз, казались темно-красного, почти кирпичного цвета.

Чем дольше вглядывались астролетчики, тем менее странным казался облик пришельцев с фторной планеты. Более того, людям Земли становилась понятнее своеобразная экзотическая красота чужих. Их главным очертанием были огромные глаза, смотревшие сосредоточенно и ласково на людей, излучая тепло мудрости и дружбы.

— Какие глаза! — не удержалась Аффа. — С такими легче становиться людьми, чем с нашими, хотя и наши великолепны!

— Почему так? — шепнул Тэй.

— Чем крупнее глаза, тем большее количество элементов сетчатки, тем большее число деталей из окружающего мира может усвоить такой глаз.

Тэй кивнул в знак понимания.

Один из чужих выступил вперед и сделал приглашающий жест. Тотчас же земное освещение на той стороне галереи погасло.

— Ох! — горестно воскликнул Мут Анг. — Я не предусмотрел!

— Я сделал, — спокойно отозвался Кари, выключил обычный свет и зажег две сильные лампы с фильтрами четырехста тридцать.

— Мы выглядим мертвецами, — огорченно сказала Тайна, — неважный вид у человечества в таком свете!

— Ваши опасения напрасны, — сказал Мут Анг. — Их спектр наилучшей видимости уходит далеко в фиолетовую сторону, может быть, и в ультрафиолетовую. Это подразумевает гораздо больше теплоты и оттенков, чем видится нам, но я не могу представить как.

— Пожалуй, мы им покажемся много желтее, чем на самом деле, — сказал, подумав, Тэй.

— И это гораздо лучше, чем синеватый трупный цвет. Только посмотрите вокруг! — не унималась Тайна.

Земляне сделали несколько снимков и вытолкнули в маленький шлюз обертопный звучатель, работающий на кристаллах осмия. Чужие подхватили его и поставили на треножник. Кари направил в чашечную антенну узкий пучок радиоволн. Во фторной атмосфере звездолета зазвучали речь и музыка Земли. Тем же путем был передан прибор для анализа воздуха, который позволил установить температуру, давление и состав атмосферы неизвестной планеты. Как и следовало ожидать, внутренняя температура белого звездолета оказалась ниже земной и не превышала семи градусов. Давление атмосферы было больше земного, и почти одинаковой — сила тяжести.

— Сами они, вероятно, теплее, — сказала Афра, — как мы теплее нашей привычной двадцатиградусной температуры. Я думаю, что у них теплота тела около сорока наших градусов.

Чужие передали свои приборы закрытыми в двух сетчатых ящичках, не позволявших угадать их назначение.

Из одного ящичка слышались высокие, прерывистые чистые звуки, как бы тающие вдаль. Земляне поняли, что чужие слышат более высокие ноты, чем они. Если их слух по диапазону был примерно равен земному, то часть низких нот человеческой речи и музыки пропадала для

обитателей фторной планеты. Чужие снова зажгли земное освещение, и земляне выключили голубой свет. К прозрачной стенке подошли двое — мужчина и женщина. Они спокойно сбросили свои темно-красные одежды и замерли, взявшись за руки, потом стали медленно поворачиваться, давая землянам рассмотреть их тела, которые оказались более сходны с земными, чем их лица. Гармоничная пропорциональность фигур фторных людей полностью отвечала понятиям красоты на Земле. Несколько более резкие переходы в очертаниях, какая-то резкость всех линий впадинок и выпуклостей создавали впечатление некоторой угловатости, вернее, более четкой скульптурности тела чужих. Вероятно, впечатление усиливалось серым цветом кожи, более темной в складках и впадинах.

Их головы красиво и гордо были посажены на высоких шеях; мужчина обладал широкими плечами человека труда и борьбы, а широкие бедра женщины — матери мыслящего существа — несколько не противоречили ощущению интеллектуальной силы послапцев неведомой планеты.

Когда чужие отступили со знакомым приглашающим жестом и погасили желтый земной свет, земляне уже не колебались.

По просьбе командира перед прозрачной преградой встали, взявшись за руки, Тэй Эрон и Афра Деви. Несмотря на неземное освещение, придавшее телам людей холодный оттенок голубого мрамора, все астролетчики вздохнули с восхищением — настолько очевидной была ная красота их товарищей. Это поняли и чужие. Смутно видимые в неосвещенной галерее, они стали обмениваться между собой взглядами и непонятными короткими жестами.

Афра и Тэй стояли гордо и открыто, полные того нервного подъема, который появляется в моменты исполнения трудных и рискованных задач. Наконец чужие кончили съемку и зажгли свой свет.

— Теперь я не сомневаюсь, что у них есть любовь, — сказала Тайна, — настоящая, прекрасная и великая человеческая любовь... если их мужчины и женщины так красивы и умы!

— Вы совершенно правы, Тайна, и от этого еще радостнее, потому что они поймут нас во всем, — отозвался Мут Анг.

— Да! Взгляните на Кари! Кари, не полюбите девушку с фторной планеты, это было бы катастрофой для вас.

Астронавигатор очнулся от транса и отвел глаза, прикованные к обитателям белого звездолета.

— А я мог бы! — грустно улыбнулся он. — Мог бы, невзирая на всю разницу наших тел, на чудовищную удаленность наших планет. Сейчас я понял все могущество и силу человеческой любви.

В это время чужие выдвинули вперед зеленый экран. На нем начали двигаться маленькие фигурки. Они шли процессией, поднимаясь на крутой склон, и несли на себе какие-то большие предметы. Поднявшись на плоскую вершину, каждая фигурка сбрасывала свою ношу и падала лицом вниз. Похожая на земную мультипликацию, картина свидетельствовала об утомлении, желании отдыха. Земляне тоже почувствовали, насколько утомили их напряженное многочасовое ожидание и первые впечатления встречи. Жители фторной планеты, видимо, надеялись на встречу с другими людьми и подготовились к ней, создав, например, подобные «разговорные» фильмы.

Экипаж «Теллура», не готовый к встрече, вышел из затруднения. К перегородке придвинули экран для скорых зарисовок, и художник «Теллура» Яс Тин начал набрасывать последовательные серии рисунков. Сначала он изобразил таких же утомленных человечков, затем нарисовал одну большую рожицу с таким явно вопросительным выражением, что чужие оживились, как при появлении Тэй Эрона и Афры Деви. Потом художник изобразил Землю, обходящую по орбите Солнце, разделил орбиту на двадцать четыре части и зачернил ее половину. Чужие вскоре ответили похожей схемой. С той и с другой стороны включились метрономы, которые помогли установить продолжительность малых делений времени, а затем вычислить и большие. Астролетчики узнали, что фторная планета вращается вокруг своей оси приблизительно за четырнадцать земных часов, а обегает свое голубое солнце в течение девятисот суток. Перерыв на отдых, который предложили чужие, равнялся пяти земным часам.

Ошеломленные, расходились люди из соединительной трубы. Погасли огни в галерее, потухло и наружное освещение кораблей. Оба звездолета, темные, замерли неподвижно рядом друг с другом, как будто все живое в них

погибло, заледенело в чудовищном холоде и глубочайшем мраке пространства.

Но внутри кораблей жизнь, горячая, пытливая и деятельная, шла своим чередом. Бесконечно изобретательный человеческий мозг изыскивал новые способы, как передать братьям по мысли, рожденным на планетах удаленных звезд, знания и надежды, возвращенные тысячелетиями безмерных трудов, опасностей и страданий. Знания, освободившие человека сначала от власти дикой природы, затем от произвола дикого общественного строя, болезней и преждевременной старости, поднявшие людей к бездонным высотам космоса.

Вторая встреча в галерее началась с показа звездных карт. И землянам и обитателям фторной планеты были совершенно незнакомы рисунки созвездий, мимо которых шли пути кораблей. (Лишь на Земле астрономам удалось установить точное положение голубого светила: в небольшом звездном облаке Млечного Пути, около Тау Змееносца.) Путь чужого звездолета шел к звездному скоплению на северной окраине Змееносца и пересекался с ходом «Теллура», когда тот достиг южных границ созвездия Геркулеса.

В галерее чужих встала какая-то решетка из пластин красного металла высотой в рост человека. Что-то завертелось позади нее, видимое в просветах между пластинами. Внезапно все они сдвинулись, повернулись ребром и исчезли. На месте решетки показалось громадное пустое пространство с проносящимися в отдалении слепяще синими шарами спутников фторной планеты. Медленно приближалась и она сама. Широкий синий пояс непроницаемой облачности обвивал ее экватор. На полюсах и в околополярных зонах планета светилась серовато-красными отблесками, а умеренные зоны своей чистейшей близпой были похожи на оболочку чужого звездолета. Здесь, сквозь слабо насыщенную парами атмосферу, смутно угадывались контуры морей, материков и гор, чередовавшихся неправильными вертикальными полосами. Планета была больше Земли. Ее быстрое вращение возбуждало вокруг нее мощное электрическое поле. Сиреневое сияние вытягивалось длинными отростками по экватору в черноту окружающего пространства.

Затаив дыхание час за часом сидели люди перед прозрачной стенкой, за которой неведомое устройство продол-

жало развортывать с потрясающей реальностью картины фторной планеты. Люди Земли увидели лиловые волны океана из фтористого водорода, омывавшие берега черных песков, красных утесов и склопов иззубренных гор, светящихся голубым лунным сиянием. Ближе к полюсам окружающий воздух синел все больше, становился глубже и чище темно-голубой свет фиолетовой звезды, вокруг которой быстро неслась фторная планета.

Горы здесь поднялись округлыми куполами, валами, плоскими вздутиями с ярким опаловым блеском. Синие сумерки лежали в глубоких долинах, направлявшихся от полярных гор к фестончатой полосе морей на юге. Большие заливы дымились опалесцирующим покровом голубых облаков. Гигантские постройки из красного металла и каких-то травяно-зеленых камней обрамляли края морей, бесконечно длинными веревками взползали по вертикальным долинам к полюсам. Эти исполинские скопления построек, заметные с громадной высоты, разделялись широкими полосами густой растительности с зеленовато-голубой листвой или плоскими куполами гор, светившихся изнутри, будто опалы или лунные камни Земли. Круглые шапки льдов из застывшего фтористого водорода на полюсах казались драгоценными сапфирами.

Синие, голубые, лазурные, лиловые краски преобладали повсюду. Самый воздух словно был пронизан голубоватым свечением, точно слабый разряд в газовой трубке. Мир чужой планеты казался холодным и бесстрастным, будто видение в кристалле — чистое, далекое и призрачное. Мир, в котором не чувствовалось тепла, ласкающего разнообразия красных, оранжевых и желтых цветов Земли.

Цели городов виднелись в обоих полушариях планеты, в зонах, соответствовавших полярной и умеренной зонам Земли. К экватору горы становились все острее и темнее. Зубчатые пики торчали из мутной от паров поверхности моря, ребра хребтов протягивались в широтном направлении, окаймляя тропические области фторной планеты.

Там плотными массами клубились синие пары: от нагрева голубой звезды легко испарявшийся фтористый водород насыщал атмосферу, подступал колоссальными облачными стенами к умеренным зонам, сгущался и каскадами лился обратно в теплую экваториальную зону. Плотины, достойные гигантов, обуздывали стремительность

этих потоков, заключенных в арки и трубы и служивших источником энергии силовых станций планеты.

Нестерпимым блеском сверкали поля огромных кристаллов кварца — видимо, кремний играл роль нашей соли в водах фтористоводородного моря.

Города на экране приближались. Их очертания резко обрисовывались в холодном голубом свете. Везде, куда хватает глаз, вся площадь обитаемых зон планеты, за исключением таинственной экваториальной области, топущей в голубом молоке паров, была устроена, изменена, улучшена руками и творческой мыслью человека. Гораздо сильнее изменена, чем наша Земля, еще сохранившая в неприкосновенности огромные площади заповедников, древних руин или заброшенных разработок.

Труд бесчисленных поколений миллиардов людей вырастал выше гор, оплетал всю поверхность фторной планеты. Жизнь властвовала над стихиями бурных вод и густой атмосферы, пронизанной убийственно сильными лучами голубой звезды и неимоверно мощными зарядами электричества.

Люди Земли смотрели не отрываясь, и сознание как бы раздваивалось: в памяти одновременно возникало видение своей родной планеты. Не так, как представляли себе родину древние предки, в зависимости от места своего рождения и жизни: то равнинами просторных полей и сыроватых лесов, то каменистыми грустными горами, то радостно сверкающими в теплом солнце берегами прозрачных морей. Вся Земля в разнообразии своих климатических зон — холодных, умеренных и жарких стран — проходила перед мысленным взором каждого астролетчика. Бесконечно прекрасны были и серебристые степи — области вольного ветра, — и могучие леса из темных елей и кедров, белых берез, крылатых пальм и гигантских голубоватых эвкалиптов. Туманные берега северных стран в стенах мшистых скал и белизна коралловых рифов в голубом сиянии тропических морей. Властно-холодное, пронизывающее сверкание снеговых хребтов и призрачная, зыбкая дымка пустынь. Реки — величавые, медленные и широкие или неистово мчащиеся табунами белых коней по крупным камням ущелистых русел. Богатство красок, разнообразие цветов, голубое земное небо с облаками, как белые птицы, солнечный зной и пасмурная, дождливая хмури, вечные перемены времен года. И среди всего этого

богатства природы — еще более великое разнообразие людей, их красоты, стремлений, дел, мечтаний и сказок, горя и радости, песен и танцев, слез и тоски...

То же могущество осмысленного труда, поражающего изобретательностью, искусством, фантазией, прекрасной формой повсюду: в строениях, заводах, машинах, кораблях.

Может быть, чужие тоже видят своими огромными раскосыми глазами гораздо больше землян в холодных голубых красках своей планеты, а в переделке своей более однообразной природы ушли дальше нас, детей Земли? Назревала догадка: мы, создания кислородной атмосферы, в сотни тысяч раз более обыкновенной в космосе, нашли и найдем еще огромное количество подходящих для жизни условий, найдем, встретимся, соединимся с братьями — людьми с других звезд. А они, порождения редкого фтора с их необыкновенными фтористыми белками и костями, кровью с синими тельцами, впитывающими фтор, как наши красные — кислород?

Эти люди заперты в ограниченном пространстве своей планеты. Наверно, они давно уже страпствуют в поисках себе подобных или хотя бы планет с подходящей им атмосферой из фтора. Но как им найти в безднах Вселенной столь редкие жемчужины, как пробиться к ним через тысячи световых лет? Так близко и понятно их отчаяние, великое разочарование при встрече с кислородными людьми, вероятно, не в первый раз.

В галерее чужих ландшафты фторной планеты заменились видом колоссальных построек. Откосы наклоненных внутрь стен походили на здания тибетской архитектуры. Нигде не было прямых углов, горизонтальных плоскостей — формы плавно изгибались, переходя от вертикали к горизонтали винтообразными или спиральными поворотами. Вдали возникло темное отверстие, по очертанию похожее на скрученный овал. Когда оно выросло приближаясь, стало видно, что нижняя часть овала представляет собой спирально изогнутую широкую дорогу, поднимающуюся и углубленную в здание размерами с целый город. Оправленные в красное большие голубые знаки, издали напоминавшие волновую рябь, виднелись над входом. Вход приближался. В глубине его становился виден слабо освещенный гигантский зал со светящимися, как флуоресцирующий плавиковый шпат, стенами.

И внезапно, без предупреждения, картина исчезла. Изумленные астролетчики, приготовившиеся увидеть нечто необычайное, почувствовали буквально удар. Галерея по ту сторону прозрачной стены осветилась обычным голубым светом. Появились чужие звездолетчики. На этот раз они двигались очень быстро, резкими движениями.

В этот момент на экране возникла череда последовательных картинок. Они замелькали в таком темпе, что экипаж едва мог уследить за изображениями. Где-то во тьме космоса двигался такой же белый звездолет, какой еисел сейчас бок о бок с «Теллуrom». Видно было, как крутилось, сверкало, разбрасывая во все стороны лучи, его центральное кольцо. Вдруг кольцо остановило вращение, и корабль повис в космической бездне, недалеко от маленькой голубой звезды-карлика.

Из звездолета устремились вдаль лучи, черточками мелькавшие на экране, в левом углу которого появился второй звездолет. Летящие черточки достигли его, неподвижно стоявшего рядом с земным кораблем, в котором люди узнали свой «Теллур». И белый звездолет, принявший зов своего товарища, отодвинулся от «Теллура» куда-то в черную даль.

Мут Анг вздохнул так громко, что подчиненные обернулись к своему командиру с немим вопросом.

— Да! Они скоро уйдут. Где-то очень далеко шел второй их корабль. Они каким-то способом переговаривались, хотя я не могу себе представить, как это возможно в неизмеримых безднах, разделяющих корабли. И теперь что-то случилось со вторым звездолетом, его зов достиг наших чужих, хотя правильное будет сказать — наших друзей.

— Может быть, он не поврежден, а нашел что-нибудь важное? — тихо спросила Тайпа.

— Может быть. Как бы то ни было, они уходят. Надо торопиться изо всех сил, чтобы успеть переснять, записать как можно больше сведений. И главное — карты, их курс, их встречи... Я не сомневаюсь, что у них были встречи с кислородными, как мы, людьми.

Из переговоров с чужими выяснилось, что они могут задержаться на земные сутки. Люди, подстегнутые специальными лекарствами, работали совершенно неистово и

не уступали неистощимой энергии быстрых серых жителей фторной планеты.

Переснимались учебные книжки с картинками и словами, тут же записывалось звучание чужого языка. Передавались коллекции с минералами, водами и газами в стойких прозрачных ящиках. Химики обеих планет старались понять значение символов, выражавших состав живых и неживых веществ. Афра, бледная от усталости, стояла перед диаграммами физиологических процессов, генетическими схемами и формулами, схемой эмбриологических стадий развития организма обитателей фторной планеты. Бесконечные цепочки молекул фторостойких белков были в то же время изумительно похожи на наши белковые молекулы: те же фильтры энергии, те же ее плотины, возникшие в борьбе живой материи с энтропией.

Прошло двадцать часов. В галерее появились Тэй и Кари; едва живые от усталости, они несли ленты звездных карт, отражавших весь путь «Теллура» от Солнца к месту встречи. Чужие зашевелились еще больше. Фотоматнитные ленты памятных машин землян записывали расположение незнакомых звезд, изображенные неведомыми знаками расстояния, астрофизические данные, перекрещивавшиеся сложными зигзагами пути обоих белых кораблей. Все это должно было быть потом расшифровано по подготовленным заранее чужими таблицам объяснений.

И наконец люди не удержались от радостных восклицаний. Сначала у одной, потом у другой, третьей, четвертой, пятой звезды на экране появились увеличенные кружки, в которых завертелись планеты.

Изображение неуклюжего, пузатого звездолета сменилось целой стайей других, более изящных кораблей. На опущенных из-под их корпусов овальных платформах стояли в своих скафандрах существа — несомненные люди. Знак атома с восемью электронами — кислорода — увенчивал изображение планет и кораблей, но звездолеты на схеме соединялись только с двумя из изображенных планет: одной — расположенной близко к красному большому Солнцу; другой — вращавшейся вокруг яркой золотистой звезды спектрального класса Эф. По-видимому, жизнь на планетах трех других звезд, тоже кислородная, еще не

достигла высокого уровня, позволявшего выход в космос, или мыслящие существа еще не успели появиться там.

Выяснить это людям Земли не удалось, но в их руках были неоценимые сведения о путях, ведущих к этим населенным мирам, отдаленным на многие сотни парсеков от места встречи звездолетов.

* * *

Пора было расставаться.

Экипажи обоих звездолетов выстроились друг перед другом за прозрачной стеной. Бледно-бронзовые люди Земли и серокожие люди фторной планеты, название которой осталось неясным землянам. Они обменивались ласковыми и грустными жестами, улыбками и обоюдными понятными взглядами умных, внимательных глаз.

Небывалая острая тоска овладела людьми «Теллура». Даже отлет с родной Земли, с тем чтобы вернуться семь веков спустя, не казался такой болезненно невозвратимой утратой. Нельзя было примириться с сознанием, что еще несколько минут — и эти красивые, странные и добрые люди навсегда исчезнут в космических безднах, в своем одиноком и безнадежном поиске родной по природе мыслящей жизни.

Может быть, только теперь астролетчики полностью, всем существом поняли, что самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе — это человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной Вселенной главное — это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь!

В счастье, сохраниении, развитии человека — главная задача необъятного будущего после победы над Сердцем Змеи, после безумной, невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в низкоорганизованных человеческих обществах.

Человек — это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и, преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира, то есть к красоте осмысленной и могучей жизни, полной щедрых и ярких чувств.

Командир чужих сделал какой-то знак. Тотчас же молодая женщина, которая демонстрировала красоту обитателей фторной планеты, рванулась в сторону, где стояла

Аффра. Широко раскинув руки, она прижалась к перегородке в стремлении обнять прекрасную женщину Земли. Аффра, не замечая катившихся по щекам слез, распласталась на прозрачной стене, как бьющаяся о стекло пленная птица. Свет у чужих потух, и почерневшее стекло стало пучиной, в которой потонули все порывы землян.

Мут Анг приказал включить земное освещение, но галерея по ту сторону перегородки оказалась пуста.

— Наружная группа, надеть скафандры для отсоединения галерей! — властно ворвался в тоскливое молчание голос Мут Апга. — Механики — к двигателям, астронавигатор — в пост управления! Всем подготовиться к отлету!

Люди разошлись из галерей. Упесли приборы. Только Аффра, освещенная тусклым светом из открытого бортового люка, стояла в неподвижности, будто скованная леденящим холодом межзвездных пространств.

— Аффра, мы закрываем люк! — окликнул ее Тэй Эроп откуда-то из глубины корабля. — Хочется проследить за их отлетом.

Молодая женщина вдруг очнулась и с криком: «Стойте! Тэй, стойте!» — побежала к командиру. Удивленный помощник стоял в недоумении, но Аффра вернулась очень быстро. Рядом с ней бежал Мут Анг.

— Тэй, прожектор в галерею! Вызовите техников, экран установите назад! — распорядился на бегу командир.

Люди заторопились, как при аварии. Сильный луч пробился в глубину галереи и замигал с теми же интервалами, как луч локатора «Теллура» в первый момент встречи кораблей. Чужие, прервав работы, появились в галерее. Земляне зажгли голубой свет «430». Дрожащая Аффра склонилась над рисовальной доской, отражавшей на экране торопливые наброски биолога. Двойные спиральные цепочки механизмов последственности должны были быть, в общем, одинаковыми у земных и фторных людей. Изобразив их, Аффра нарисовала диаграмму обмена веществ в человеческом организме, сводящуюся к одинаковому превращению лучистой энергии звездных светил, добытой через растения. Молодая женщина оглянулась на неподвижные серые фигуры и накрест перечеркнула атом фтора с его девятью электронами, поставив вместо него кислород.

Чужие дрогнули. Командир выступил вперед и вплотную приблизил лицо к прозрачной перегородке, вглядываясь громадными глазами в пеловкие чертежи Афры. И вдруг поднял надо лбом сцепленные в пальцах руки и низко склонился перед женщиной Земли.

Они поняли то, что только намеком в последний момент расставания родилось в мозгу Афры и, вызванное тоскою разлуки, осмелилось вырваться. Афра думала об изменении, дерзкой замене химических превращений, приводивших в действие весь величайшей сложности организм человека. Путем воздействия на механизм наследственности заменить фторный обмен веществ на кислородный! Сохранить все особенности, всю наследственность фторных людей, но заставить их тела работать на иной энергетической основе. Эта гигантская задача была еще так далека от возможности своего осуществления, что даже семь веков разлуки «Теллура» с Землей, веков непрерывного нарастания успехов науки, вряд ли намного приблизят ее решение.

Но как бесконечно много смогут сделать соединенные усилия обеих планет! Если же к ним присоединятся и другие мыслящие собратья... фторное человечество не пройдет бесследной тенью, затерявшейся в глубинах Вселенной.

Когда люди разных планет с неисчислимых звезд и галактик неизбежно соединятся в космосе, серокожие обитатели фторной планеты, может быть, не будут отверженцами из-за редчайшей случайности строения своих тел.

И, может быть, тоска неизбежной разлуки и утраты была преувеличенной? Недоступно далекие по строению своих планет и тел, фторные люди и люди Земли похожи в жизни и уже совсем близки в разуме и чувствах Афре, смотревшей в огромные раскосые глаза командира белого звездолета; казалось, что все это она прочла в них. Или это было только отражением ее собственных мыслей?

Но чужие, видимо, обладали той же верой в могущество человеческого разума, которая была свойственна людям Земли. Вот почему даже робкая искра надежды, высказанной женщиной-биологом, так много значила для них, что их приветственные жесты более не походили на знак прощания, а ясно говорили о будущих встречах.

Оба звездолета медленно расходились, опасаясь повредить друг друга силой своих вспомогательных моторов. Белый корабль на минуту раньше окутался облаком слепящего пламени, за которым, когда оно угасло, не оказалось ничего, кроме тьмы космоса.

Тогда и «Теллур», осторожно разогнавшись, вошел в пульсацию, которая служила как бы мостом, сокращавшим прежде необозримую длину межзвездных путей. Надежно укрытые в защитных футлярах люди уже не видели, как укорачивались летевшие навстречу световые кванты и далекие звезды впереди голубели и делались всё более фиолетовыми. Потом звездолет погрузился в непроницаемый мрак нулевого пространства, за которым цвела и ждала горячая жизнь Земли.





ЮРТА ВОРОНА

(Хюндустыйн Эг)

*Посвящается инженеру
А. В. Селиванову*

Поздняя тувинская весна уступала место лету. Койка стояла у западного окна полупустой палаты. Солнце глядело сюда с каждым днем все дольше. Новенькая больница белела свежим деревом, сладковатый аромат лиственничной смолы проникал всюду — им пахли подушки, одеяло и даже хлеб.

Инженер Александров лежал, отвернувшись к окну, глядя сквозь прозрачную черноту металлической сетки на голубые дали лесистых сопок и слушая глухой шум влажного весеннего ветра.

Четыре дня назад здесь побывал знаменитый хирург из Красноярска и погасил последний огонек надежды, еще теплившийся у Александрова после полугода страданий. Никогда больше крепкие ноги с широкими ступнями, с узлами верных мышц не понесут его по горам и болотам, через бурелом и каменные россыпи к заманчивым и непостоянным целям геолога — на поиски новых горных бо-

татств. Так сказал хирург после изучения рентгеновских снимков, мучительных осмотров и совещаний с местными врачами. Александров и сам это чувствовал, доверяя врачам больницы и вызванному из Кызыла специалисту-невропатологу. Но человеческая вера в необычайное неистребима, и... почему бы известному хирургу не знать нечто новое, только что открытое, что смогло бы вернуть его неподвижным, расслабленным, как тряпка, ногам былую неутомимую силу?..

Хирург — небольшой, быстрый, суховатый, с острым лицом и острым взглядом — не понравился геологу. Может быть, потому, что, прощупывая позвоночник и сверяясь со снимками, которые высоко поднимал, закидывая голову с вызывающе торчавшим подбородком, хирург вяло спросил стандартными «докторскими» словами:

— И как это вас угораздило?

Александров, скрывая раздражение, рассказал, как он осенью проверял разведку интересного месторождения, увлекся и забыл, что запоздалые проливные дожди размочили пласт мылкой глины в старом шурфе. Туда ему понадобилось спуститься испытанным горняцким способом — в расклинку. Но глина подвела, и он рухнул на дно шурфа, на глубину двадцать два метра, сломав ноги и переломив позвоночник.

Геолог повторял эту историю уже много раз и говорил сухо и равнодушно, как будто речь шла о ком-то совершенно ему безразличном. Он лишь не мог вспоминать о пережитом ужасе на мокром и темном дне шурфа, когда, очнувшись, он понял, что ноги у него парализованы и сломана спина. При этом воспоминании он и сейчас содрогнулся. Хирург, положив ему на плечо твердую руку, тем же «докторским» тоном посоветовал не волноваться.

— Давно перестал, — с досадой ответил геолог, — только зачем вы расспрашиваете? Я вижу, что вам неинтересно.

— А я не для праздного интереса, — сухо возразил хирург. — Мы, врачи, не должны упускать ни малейшей подробности, когда даем ответственное заключение. Вы понимаете, к чему я вас должен приговорить?

Александрову стало жарко.

— Кое-что с годами восстановится, — продолжал, помолчав, хирург, — но ходить не придется... А мне нужно, чтобы вы ходили, и потому каждая деталь важна, даже то,

в каком настроении вы упали; да, не удивляйтесь. Если, например, вы просто свалились на улице, оступившись, но бодрый, подтянутый, с крепкими мускулами, — ничего не случится. Но, если в тот момент вы шли удрученный, больной, расслабленный — грохнулись, как дрова, — вот, по пословице, много дров и получится. И чтобы разбираться во внутренних повреждениях, наблюдать заживление которых трудно, то ваше состояние в момент падения немаловажно.

— Ну, так я именно свалился, а не грохнулся, а бодрости было хоть отбавляй! Вспомнил вдруг, что этот сорок первый шурф пересек край порфириновой дайки, и поснешил за контрольным образцом... проверить свою догадку!

— Так, так! А лет вам сколько?

— Сорок один.

— Ого, сорок один год и шурф тоже сорок первый — для суеверного человека тут...

— А я не суеверен! — ответил геолог с едкой насмешкой, встретил пронизательный взгляд врача и понял, что хирург изучает его психологически, вероятно чтобы убедиться в отсутствии мнительности или истерии. Александрову стало неловко, и он угрюмо отвернулся.

В последующие два дня повторялись рентген, спинномозговая пункция, надоевшие поиски чувствительных точек на пояснице и омерзительно неподвижных ногах. Настал час, который запомнился геологу на всю жизнь. Хирург пришел вместе с тремя врачами больницы. Низко склонившись над распростертым на спине геологом, он взял его за руку. Александров почувствовал, что рука хирурга чуть заметно дрожит. Сердце замерло в ощущении непоправимого. Как ни готовился геолог к этому удару, он оказался слишком тяжел. Ему пришлось долго лежать, отвернувшись к окну, борясь с душившим его комом в горле, а четверо врачей молча сидели, избегая взглядов друг друга.

— И это... навсегда? — еле слышно произнес геолог.

— Я не могу вас обманывать, — угрюмо сказал хирург, — однако наука развивается сейчас быстро! Мы спасаем от таких болезней, в которые двадцать лет назад даже не смели вмешиваться...

— Двадцать лет... — беззвучно шепнул Александров. Но хирург расслышал.

— Почему обязательно двадцать? Может быть, пять. Но, если вы хотите, мы отправим вас в Москву, в институт Бурденко...

— Вы же считаете это напрасным, я вижу.

— Собственно, да! Операция и повторная операция были проведены правильно. Повреждение нервного ствола — куда денешься, если раздроблен один позвонок и второй сместился. Счастье еще, что так! Одним позвонком выше, и... вряд ли бы удалось вас спасти!

— Счастье? — звенящим от боли голосом спросил геолог. — Вы считаете — это счастье?

Врачи переглянулись, и тотчас за ними возникла медсестра со шприцем в руках. Оглушенный морфием, Александров смирился.

И теперь улетел хирург и с ним все былые надежды. Геолог молча лежал, пытаясь найти свое место в жизни, которая предстояла ему. Точно громадная пропасть отделила от него прежний мир увлекательного и нелегкого труда, уверенной силы ума и тела в борьбе с бесчисленными препятствиями, радости мелких и крупных побед, огорчений и последующих утешений, жизни, согласной с природой человека и природой сурового таежного края, поэтому полной и здоровой. Никогда Александров не задавался мыслями о перемете профессии — она была интересна и в голых горах Средней Азии, и в болотистых лесах Якутии или здесь, в Туве, где он закрепился еще до войны. Он был прирожденным геологом, полевым исследователем и так упорно отказывался от всех предложений переехать в крупный центр и занять руководящий пост, как надлежало ему по опыту и заслугам, что начальство перестало его тревожить.

И вдруг неленый случай, неверный расчет, один миг отчаянной борьбы, и вот шестой месяц он лежит на койке и никак не может привыкнуть к своей ужасной беспомощности, к нечувствительным, неподвижным ногам. Испытанные верные друзья — ноги... Какие они жалкие, как беспомощно волочатся они мертвым грузом, когда он учится ходить! Нет, кощунство назвать это ползание на костылях ходьбой! И это будет всегда, до конца жизни, если то, что будет дальше, можно назвать жизнью. Жизнь, которая хуже смерти... хуже смерти! Как найти в ней себя?

Его утешали примером Николая Островского. Действительно, положение этого стального коммуниста было гораздо тяжелее. Слепой, с окостеневшими, неподвижными суставами, он боролся до конца и создал бессмертную книгу, а своим примером — неумирающий образ комсомольца-героя. Но Александров, простой геолог, был силен лишь в борьбе с природой выносливостью и сноровкой опытного путешественника. А на борьбу с ужасом вечной постели, с ничем не чувствующими, точно чужими ногами у него не хватало мужества. Нет никакой зацепки, опоры, будто летит он в черноту бездны и нет ей конца! Написать книгу — о чем? Даже если бы у него вдруг оказался талант, его жизнь так же проста, как у многих сотен тысяч жителей Сибири. Хорошо было Николаю Островскому, вся жизнь которого — непрерывный революционный подвиг. Впрочем, как это хорошо? Что за глухость лезет в голову! Слепота — что могло быть страшнее для него, сильного, жизнелюбивого человека!..

Стискивая зубы, Александров старался прервать думы, клубок которых ощутимо душил, давил его. Не мигая геолог смотрел в окно, гипнотизируя себя видом меркнувшей на закате горной дали, и наконец заснул.

Александров очнулся в сумерках и почувствовал присутствие жены. Почти каждый день в эти бесконечные полгода, едва окончив работу, Люда прибегала сюда, сидела у его изголовья, страдающая и молчаливая.

Веселая и здоровая, ярая спортсменка, Люда привыкла на все в мире смотреть с уверенным эгоизмом красивой молодости. Она оказалась совсем не подготовленной к удару, поразившему ее умного и сильного друга — мужа. Катастрофа надломилась ее. Люда растерялась, не зная, как лучше ей поддержать любимого в тяжелом несчастье. Пролитая потоки слез от жалости к нему и к себе, она продолжала искать в нем прежнюю верную опору, не ощущая или не понимая, что он нуждается или в уверенной поддержке, или хотя бы в покое от ее страданий и забот. Люда мучилась сама и терзала мужа, полного острой жалости к своей подруге, хорошей и верной, только лишь оказавшейся неумелой и слабой в час испытания. Но постепенно геолог привык к тому, что Люда приходила то наигранно-бодрая, невольно раздражавшая его своим цветущим здоровьем, то печальная, очевидно решив, что показная бодрость не даст нужного результата и лучше быть

самой собой. И сейчас она тихо сидела на белом табурете, не сводя грустных голубых глаз с постаревшего лица мужа.

Александрову не хотелось расставаться со сновидением. Он увидел себя молодым студентом третьего курса, приехавшим на Урал для геологической съемки. Неугомонно лазал он по обрывам холодной Чусовой, ночевал или прямо на берегу реки, или поднимался по шатким лестницам на душистые сеновалы. Засыпал накрепко, полный беспричинной радости и ожидания всего интересного, что обещал ему следующий день. Хозяйки встречали его приветливо, пригожие девушки улыбались, когда, усталый, он появлялся в той или другой деревне, прося ночлега и пищи. Захватывающе разворачивалось перед ним давнее прошлое Уральских гор — тема его будущей дипломной работы. Как всегда бывает во сне, этот кусочек прошлой жизни казался особенно легким, светлым, и он отчаянно цеплялся за него, чтобы не очутиться в безрадостном настоящем.

Жена встревожилась, коснулась губами его лба, определяя жар, и шепнула осторожно:

— Что с тобой, мой Кир?

Юной практиканткой Люда приехала в его партию. Александров показался Люде похожим на древнего владыку и тайно назывался царем Киром. Прозвище сделалось нежным именем мужа.

— Я видел хороший сон, — тоска заставила дрогнуть его голос, — как будто я молодой и лазаю по обрывам Чусовой и брожу сам по себе от села до села и... — Геолог умолк и лежал молча, не глядя на жену, слыша лишь ее участившееся дыхание.

Слеза капнула на подушку рядом с его ухом, потом и на ухо. Жалость, горькая в своей беспомощности, стеснила его грудь. Александров открыл глаза и положил руку на плечо жены.

— Не плачь, мне было хорошо. Почаще видеть сны и подольше бы спать — время шло бы скорее...

Люда заплакала навзрыд, и он смущенно улыбкался.

— Ну вот, хотел тебя утешить, а ты — что ж? Кстати, я сегодня думал о тебе и...

Жена настороженно выпрямилась, утирая слезы.

— Я никуда не поеду, я тебе сказала раз навсегда.

— Если ты хочешь, чтобы мне было еще тяжелее, —

безжалостно сказал Александров. — Надеяться больше не на что. Перевезешь меня домой, Феня будет присматривать, а я... учиться жить по-новому. Время уходит, твоя партия в поле, и ты теряешь драгоценные дни! Нечего скрывать, я ведь знаю, что в этом году надо защищать запасы твоего Чамбэ, разведки которого ты добивалась шесть лет...

Люда упрямо мотала головой, всем видом показывая, что не хочет слушать.

Александров рассердился:

— Смотри, я ведь могу и прогнать тебя!

— Нет! Я уеду, но не сейчас. А сейчас я пужна тебе. Ты еще должен поехать в санаторий под Кызылом...

— Нужен мне этот санаторий!

— Только для перемены обстановки, милый! Уйти от всего, что здесь выстрадано, найти себя снова...

— Меня, геолога Кирилла Александрова, уже полгода, как нет и не будет больше... не будет и твоего Кира, таежного владыки. Оба умерли, будет теперь кто-то другой, обитающий в четырех стенах...

Люда резким движением откинула со лба волосы.

Дверь палаты распахнулась, и дюжие санитарки внесли носилки с больным. Сестра обогнала их при входе и приблизилась к койке Александрова.

— Не возражете, если положим рядом с вами? Больной стал просить, как только узнал, что вы здесь.

— Кто это? Впрочем, конечно, не возражаю. У окон лучше!

С посылком поднялась голова с взлохмаченными седыми волосами.

— Кирилл Григорьевич, вот где пришлось встретиться!

— Фомин, Иван Иванович! Как хорошо! Но что же это с вами? — обрадованно и встревоженно воскликнул Александров.

— Со мной малая беда — ревматизм одолел, — ответил старик, подпирая голову согнутой в локте рукой, — а вот с вами, я слышал, большая. Да, большая... Сколько мы не виделись? Скоро уж лет двадцать?

— Двадцать, точно. Люда, это Иван Иванович Фомин, мой старый забойщик, с которым я сделал свои первые таежные экспедиции. Сразу же после окончания ин-

— О, я много о вас слышала! Кирилл любит про вас вспоминать. Первая геологическая экспедиция — первая любовь!

Сестра сделала Люде знак, и та заторопилась.

— Ухожу! Действительно, поздно. Но сегодня я спокойней тебя оставляю.

Приветливые серые глаза старого горняка чем-то успокоили Люду.

* * *

— Это что же за специальность такая — забойщик? — спросил скептически молодой сосед по палате, радист, сломавший руку при падении с верхового оленя. — Шахтер, что ли, по углю или по руде?

— По старому счету — горняк на все руки: и по углю и по руде, хоть по соли, а золота-то не миновать стать! — весело ответил старик, с кряхтеньем поворачиваясь к собеседнику.

— На все руки — это хорошо. А разряд какой?

— Что тебе? — не понял Фомин.

— Разряд, спрашиваю, какой? Ну, ставка тарифной сетки.

— Вот ты про что, — протянул старик. — Ставки бывали разные, и малые и большие, только интерес непременно большой.

— И много ты заработал с этого интереса — койку в больнице?

— Между прочим, и Ленинскую премию, — спокойно сказал Фомин.

— Как это — Ленинскую? — ошолбенел молодой радист. — За что это?

— Стало быть, есть за что, — не скрывая насмешки, ответил Фомин.

— Погодите-ка, Иван Иванович, — вмешался Александров, — я припомнил, читал в приказе по министерству. Вас представили к премии за открытие важного месторождения вместе с инженером... забыл, как его...

— Васильев Семен Петрович. Это точно, мы с ним вместе!

— Пофартило, значит, в тайге, — с завистью сказал радист. — Конечно, горняку лучше, не то что нашему

брату. Больше десятипроцентной надбавки не выслужишь!

— Фарт — не то слово, паря, — недовольно возразил забойщик. — Фарт — когда дуром наскочишь на шальное счастье. Как назвать его, если долго ищешь, питочку найдешь, потеряешь, обратно пайдешь, и так не один год. Да и не в тайге вовсе, на угольных шахтах это было!

Александров, по-настоящему заинтересованный, попросил Фомина рассказать, и старик охотно согласился.

— Встань-ка, паря, — обратился он к радисту, — да окошко отвори. Продух будет, я покурю тишком.

Старик молниеносно свернул самокрутку, чиркнул спичкой и выпустил густую струю дыма. Радист последовал его примеру, извлек из-под тюфяка измятую пачку сигарет и уселся на койку в ногах у Фомина. Тот поморщился и пробормотал:

— Сел бы ты, паря, лучше к себе...

— А чем я тебе помешаю? — оскорбился радист.

— Не то дело, паря, уважения в тебе к старшим нету: не спросясь — плюх на чужую койку. А мне с тобой нанибратствовать ни к чему: еще невесть какой ты человек.

Молодой радист обиделся, отошел к окну и стал выдувать дым сквозь сетку, внося панику в ломящуюся снаружи тучу комаров. После утреннего обхода и процедур в больнице стало тихо. Во дворе негромко переговаривались няни.

— Рассказывать тут долго нечего, — начал Фомин. — Утомился я от таежного поиска, ребята подросли, надо было учить их в хорошем месте. Словом, я вышел в жилуху и стал работать на угольных шахтах, да не год, не два, а девять кряду. Сначала вроде в тайге вольнее казалось, а потом попривык, обзавелся домом, детей выучил и сам умнее стал — книжек-то побольше, чем в тайге, читать довелось. Кирилл Григорьевич знает: такая у меня манера — доходить до корня, везде интерес иметь, к чему, казалось бы, нашему брату и не положено. Узнал я много преудивительного: как столь давно, что и представить не можно, был на нашей земле сибирской климат вроде африканского и повсюду огромные болота, а в них леса, тайги нашей густее. Росли тогда деревья скоро, пропадали тоже скоро, и гнили они тыщи лет. Торфа из них пласт за пластом впереслойку с глинами пакладыва-

лись, прессовались, уплотнялись — так угли наши и получились. Сам я стал присматриваться к углю и находить то отпечатки невиданных листьев, как перья павлиньи, то стволы с корой точно в косую клетку, то плоды какие-то. Иногда встречались нам в подошве пласта высоченные пни с корнями, прямо в ряд стоят, будто заплот. А в кровле то рыбки попадутся, то покрупнее звери, вроде зубастые крокодилы, только кости расплюснуты и тоже углем стали. Меня уж стали знать на шахте. Сначала смешики, горным шаманом прозвали, а потом стали мне диковины приносить и расспрашивать. Я, конечно, писал о находках в Академию наук, оттуда приезжал молодой парень. Видит-то плоховато, а все досконально знает, наперед говорит, что где должно быть. Подружился я с ученым, он мне книжки, опять же как придет — лекции для всей шахты. Куда как интересней стало работать, как понимать начал я эту угольную геологию...

— За это и премию сгреб? — недоверчиво хмыкнул радист.

— Заполошный ты какой! — рассердился Фомин. — Это я свой путь рассказываю, чтоб тебе легче понять, откуда что взялось... Ну вот, пошел в эксплуатацию западный участок — там угли длиннопламенные, хороши для отопления, их в город больше брали. Заметил я, что уголь местами изменился. Конечно, ежели без внимания, то, как ни смотри, все такой же он. Знаешь, если длиннопламенный, то на изломе восковатый и не так в черноту ударяет, но и металлом не блестит, как сухой металлургический. Приметил я в угле светлые жилки, короткие и тоненькие совсем, иногда и частые. В котором слое словно сеткой подернуто. Этот уголь по всему западному участку, на втором и третьем горизонте, в разных лавах. Только слойки с жилками, где потоньше, а где и во весь пласт. Чем-то поманили меня эти светлые жилки, собрал я из всех забоев, нашел такие, что не как волоски или сосновые хвоинки, а будто тоненькие веревочки. Дознавался я, что это такое, да наш штейгер и начальник участка только мычали: бывает, мол, в угле всякое и раз угля не портит, то какое нам дело.

Стал жечь я этот уголек у себя в печке и на дворе. Уголь как уголь, только от него дымок голубоватый, с белесым поддымком и запах другой, нежели у простого угля. На выюшках от него налет тоже сизый. Покрутился

я со светлыми жилками — нет ходу, не пробьюсь. Знания нет, чтобы определить, что не годится, и чтобы доказать, что годится. Решил рукой махнуть. Светлые жилки эти мне покоя года полтора не давали. Металлургический уголь стали работать на северном, тут бы всему и конец, не вмешайся инженер Васильев как снег на голову.

— Это кто же, новый какой пазначенный? — спросил радист, заслушавшийся старика так, что забыл про папиросу.

— Вовсе нет! Никакого отношения он к шахтам не имел, жил в городе, за триста верст от наших шахт, и не горняк он, а химик.

— Как же это он сквозь землю смотрел?

— Сквозь землю это я смотрел, на подземной работе, а он, наоборот, в небо и там второй конец моим светлым жилкам нашел.

— Ого, как интересно! — воскликнул Александров. — И меня забрало!

— Инженер Васильев, — продолжал Фомин, ободренный вниманием слушателей, — хоть и городской житель, но по зоркости не хуже любого таежника. Живет он в большом доме, на десятом этаже, из его окон — весь город как на ладони. На отдыхе сидивал он у окна, любясь городом и раздумывая о том и сем. И вот как мне светлые жилки, так Васильеву приметилась дымка над городом, белесая или голубоватая; когда она есть, а когда и нет. И запах тоже в воздухе, когда дымка, особенный, не сильный, а заметный. Помогло Васильеву, что он химик, знал: такой дымки ни от какого завода в городе быть не могло. Раз так, то, значит, дело в угле. Инженер рассудил, что дымка похожа на окисел какого-то металла, и решил дознаться, нет ли чего в угле. Собрал он налет с трубы какой-то — и под прибор. А прибор такой, что, будь там самая малейшая крошка какого металла или состава, такая малость, что ни на вкус, ни на запах, не говоря уж про химию, никак не возьмешь, — прибор берет. Инженер Васильев мне показал. Что нужно разведать, то в пламени жгут, пламя в трубу зрительную смотрят, а в трубе какие-то там линии...

— Да как он называется, твой прибор? — не утерпел радист.

— Это тебе знать, небось десятилетку кончил, а у меня нет памяти на мудреные слова. Постой-ка, записал

я его название: думаю, не раз еще пригодится! — И забойщик с кряхтением полез в тумбочку у постели.

— Не трудитесь, Иван Иванович, — вмешался Александров, — прибор этот — спектроскоп, а то, что сделал Васильев, — это спектральный анализ.

— Ну, точно, — успокоился старик, — я и говорю. Нехтоскоп показал: есть признаки металла, и не одного, а трех. Васильев Семен Петрович стал дознаваться, с каких шахт, с каких участков уголь в те дни, когда дымка. Сейчас вам рассказать — оно быстро, а потратил он, пока дошел, тоже, почитай, два года: ведь занятый человек, когда не додумал, а когда и упустил... Ну, короче, приехал он на нашу шахту и стал дознаваться насчет угля. А у нас западный участок давно прикрыли. Показывают ему металлургический с северного. Он анализ за анализом берет — ничего. Да и не могло быть. Так и не вышло бы, да тут один молодой парень присоветовал ему со мной потолковать. И пяти минут мы не проговорили, как понял я, куда мои светлые жилки ведут. Полезли с ним в западный участок — к тому времени я все свои образцы уже извел. А там и крепь вынута и кровля обрушена. Повертелись туда-сюда. Вижу, что и человека могу погубить, и времени у него не хватит. Отправил его в город, а сам думал неделю, пока не сообразил. С третьего, незатопленного горизонта спустились мы — ребят у меня подручных набралось чуть не вся шахта — по восстающим на пятый, прошли совсем маленький ходок и добрались до пласта со светлыми жилками. Набрал я образцов — и в первый же выходной в город. Васильева дома не оказалось. Я накет в два пуда ему оставил и расписал, откуда взято. Не прошло и недели — телеграмма мне, чтоб немедленно приезжал. Поехал. Васильев встречает и прямо обложил меня, крепко тиснул и в обе щеки целует.

«Ну, если бы не вы, Иван Иванович, все бы пропало!» — «А теперь?» — спрашиваю. «А теперь сделали мы Советскому Союзу и нашей стороне сибирской преобладающий подарок: в угле-то, в светлых жилках ваших, — целое месторождение. Три металла — германий и ванадий, это я точно запомнил, — добавил Фомин, как будто опасаясь, что собеседники усомнятся в его знаниях, — а вот третьего никак не помню и не записал сдуру, на радостях. Спрашиваю: «Для чего они, металлы эти?»

Васильев объясняет, что очень важные металлы. Нужны они для самых что ни на есть сложных машин. «И много этого германий?» — спрашиваю. «Не так чтобы очень, даже совсем мало. Но угля количество огромное, миллионы тонн, и германий с ванадием пойдут как попутные продукты, когда уголь пачнем на химическое сырье перерабатывать. А эти попутные продукты сами по себе всю стоимость добычи окупают... Теперь без германия ни один телевизор или радиоприемник не обходится».

— Слыхали, — важно сказал радист, — из него полупроводники делают.

— Полупроводника или даже целый — не в этом дело, а в том, что этот металл сейчас самый нужный, а ведь с ним еще и ванадий. Но вот для чего ванадий, запомнител.

— Я подскажу, — откликнулся Александров. — Сталь ванадиевая — самая нужная для автомобилей и вообще тех машин, где требуется высокая прочность. Жаль, что забыли третий металл, — тоже, наверно, полезный.

— И очень даже нужный, но хоть убейте — не помню. Названия всё мудреные...

— Как такое добро — и в простом угле оказалось? — Тон радиста стал гораздо более уважительным.

— Это самое и я спросил у инженера Васильева. Тот мне объяснил так: когда угли эти еще были в незапамятные времена как громаднейшее торфяное болото, то сквозь них сочились воды. Воды, ручьи или речки, что ли, размывали горы, где залегали металлы, растворяли их понемногу и переносили в торфа. Торфа гнили, и металлы эти осаждались на них, накапливались. Целые тысячелетия прошли, воды всё протекали и протекали, и так исподволь накопилось и германия, и ванадия, и того третьего.

— А потом как?

— Потом торфа заносило песками и глиной, они затвердели, оборотились в уголь, получился диковинный уголь со светлыми жилками.

— За это премию Ленинскую получили? Вдвоем, что ли?

— Вдвоем, пополам, потому один без другого ничего не нашел бы. Как сказал уже: я под землю смотрел, а он — по небу.

Три собеседника в палате долго молчали. Фомин взялся было за самокрутку, но, услышав голос дежурного врача, спрятал свои приспособления. После короткого обхода принесли обед, и разговор возобновился лишь во время мертвого часа, когда больница опять притихла.

— Да, хорошо светлые жилки пайти, — мечтательно произнес радист, поднимая глаза к потолку. — И как это вам удалось уцепиться?

— Светлые жилки должны быть у каждого, — ответил Фомин, — без них и жить-то вроде принудительно. Не ты своей жизни хозяйин, а она тебя заседляет и гнет, куда захочет.

— Вот и я про то же, — подхватил радист, — схватишь полста тысяч, ну, пусть вы тридцать семь получили, тут жизни можно не так опасаться, не согнет!

Старик даже сел, с минуту мерил глазами невозмутимо лежавшего радиста и упал на подушку.

— Подсчитал уже, сколько я получил, уголовная твоя душа! — вымолвил он с горьким негодованием.

Настала очередь подскокнуть радисту.

— Как — уголовная душа? — завопил он, поворачиваясь то к Фомину, то к Александрову, будто призывая геолога в свидетели. — За что же вы оскорбляете меня, дядя? Я что, блатюк, что ли?!

Старый горняк уже остыл.

— Не знаю я тебя и никаких прав блатюком счесть не имею. Однако сам ты меня обидел... Все на деньги да на фарт меряешь. А я тебе про интерес, про заветные думки, без которых человеку жить — будто скоту неосмысленному...

— Дак разве интереса к фарту быть не должно? Что я, на счастье прав не имею? Мудрите, дядя... Конечно, жизнь ваша уже недолга осталась и заботы меньше. А мне еще жить и жить, и что плохого, если лучшего хочется?

— Кому не хочется, — уже спокойно отвечал Фомин, — дело не в этом. Ежели ты себя в жизни так направишь, чтобы вместе со всеми лучше жить, и на то удряешь, тогда ты человек пастоящий. А мне сдастся: ты как есть только о себе думаешь, себе одному фарту ждешь — тогда тебе всегда к старой жизни лениться, на отрыв от всякого нового дела. Может, и сам того не

осмыслив, ты хочешь перед другими выделиться, не имея за душой еще ничего. Вот тут и приходится о фарте мечтать. Встречал я вашего брата. Уголовными душами их зову — сообрази-ка, в чем сходство с блатюками.

— Никакого сходства не вижу, выдумки одни! — зло ответил радист.

— Самое прямое. Уголовник почему на преступление идет? Да потому, что хочет хватануть куда как больше, чем ему по труду, да по риску, да и по соображению полагается. Человечишко самый негодный, а туда же: хочу того да сего. Опять же, другой и способность имеет, и силу, и риск, а записывал — работать скучно, не для меня это, не желаю. Однако деньги-то и побольше, между прочим, подай. Вот в чем уголовная-то суть. Ты хочешь себе не по заслугам, не по работе, а о фарте мечтаешь — тот же уголовник ты! Только закону боишься и хочешь, чтоб само свалилось.

— Один я, что ли, так? — уже тише отвечал радист.

— Горе, что не один. Таких, как ты, есть еще повсюду и середь нашего брата рабочего, и середь кого хопь — инженеров, артистов, ученых... Эту уголовную болезнь и надо лечить в первую очередь, чтоб скорей в коммунизм войти...

— А лечить чем?

— Ну, «чем, чем»... Сызмальства воспитанием настоящим, учением, а потом знанием. Только знание жизни настоящую цену дает и широкий в ней простор открывает. А то бьешься, бьешься, чтоб понять, как я со своими жилками!

— Это вы правильно, — покорно согласился радист, — с образованием куда легче. Диплом — он цену человеку поднимает, разряд, так сказать.

— И кто тебе так мозги повернул? — снова начал сердиться старый горняк. — Только разряд у тебя в голове. Книг, что ли, таких начитался, было их раньше много. Вывели те писатели так, что без высшего диплома и не человек вроде... девку замуж не возьмут без диплома. А для какого лешего ей диплом, ежели она к науке склонности не имеет? Вот и явились теперь такие, с порченными мозгами. Какая ни на есть работа через силу вами делается, а почему, ты мне ответь!

— Не могу ответить, только верно, есть люди без интересу к своей работе.

— А все потому, что не на месте они: один в науку ударился, как баран в чужой двор, другая — инженер, электрик или химик по диплому, а по душе — самая хозяйка толковая, и мужа бы ей хорошего да ребятишек пяток и по сельскому хозяйству фрукты какие сажать да птицу разводить. Вот оно и получается, что работа не мила, а немилая работа хуже каторги, если ты век свой должен на ней стоять. За дипломом погонятся, а себя вроде как к каторге приговорят, несмышленины. Писатели, опять же, — где бы добрый совет подать — лупят без разбору: гони диплом, а то и герой не герой и женщина не женщина, а вроде быдло отсталое. Неправильно это, и ты неправильно рассуждаешь со своим дипломом!

— А как же правильно?

— По-моему, вот как: знание — это не то, что тебе в голову в обязательном порядке набьют, а что ты сам в нее положишь с любовью, не спеша, выбирая, как цветы или камни красивые. Тогда ты и начнешь глядеть кругом и с интересом и поймешь, как она, жизнь-то, широка, да нестра, да пресложна. И житишко твое станет не куриное, а человеческое, потому человек — он силен только дружбой да знанием и без них давно бы уже пропал. Житья бы не стало от дураков, что ничего, кроме своего двора да животишка, не понимают...

Радист умолк и долго не подавал голоса. Старый забойщик удовлетворенно усмехался, поглядывая в сторону Александра, как бы призывая его в свидетели своей победы. Геолог кивнул ему, слегка улыбаясь.

— Вот, Кирилл Григорьевич, верно я говорю? Каждому надо свои светлые жилки искать...

— Это так. Только всегда ли найдешь? Да и каждому ли дано?

— Знаю, о чем думаете, Кирилл Григорьевич! Как вам теперь быть без тайги, без гор... Оно понятно! Только найдете вы свои жилки непременно, другие, но найдете.

— Других не хочу, не верю! А если не верю, то как пойму я, что другие — настоящие? И где искать, куда кинуться... мне? — Геолог кивком показал на свои поги, аккуратно уложенные под одеялом.

— Конечно, трудно, особо если подумать куда. Ну, а насчет того, настоящие или нет, на то есть верная указка, и вы ее знаете...

— Нет, не знаю!

— Указка одна — красота. Это я хорошо понимаю, да объяснить не сумею, однако вам падо ли... разве ему... — И забойщик ткнул пальцем в радиста, ничем не отозвавшегося на выпад.

— Красота... правильно. Но мне... ползучий я будто гад!.. Сейчас для меня все серым кажется, потому что внутри серо!

— Неправильно, Кирилл Григорьевич! Вспомните, как шли мы в тридцать девятом от шиферной горы сквозь тайгу голодом. Припозднились на разведке, продукты кончились, снег застал...

— Конечно, помню! Тогда мы лунный камень нашли.

— Так я насчет его. Помните, перевалили мы Юрту Воропа и двое суток шли падью. Мокрый снег с дождем бесперечь, ватники насквозь, жрать нечего...

— Да, да, и вечером... — встрепенулся геолог. — Расскажите, Иван Иванович, я не сумею. А пап Алеша пусть послушает, — кивнул он приподнявшемуся радисту.

— Точно, вечером поперли мы из пади через сопку. Крута, ичиги размокли, по багульнику осклизался, а тут еще навстречу стланик разрогатился, хоть реви. На гребнюшке ветер монгольский морозом хватанул. Покатились мы вниз едва живы. Тут место попалось, жила или дайка стоячая, вдоль нее склон отвалился, и получилась приступка, а далее, в глубь склона, пещерка не пещерка, а так, вроде навесу. Забились мы туда, дрожим, огонь развести — силов нету, дальше идти — тоже, и отдыхать невозможно — холодно. Тут уж мы не серые ли, по вашему слову, были? Куда серее, насквозь. Оно получилось наоборот. Помните, Кирилл Григорьевич?

— Все помню, рассказывайте!

— Холод потому сильнее прихватывал, что разъясневать стало. Тучи разошлись, и над дальним западным хребтом солнышко брызнуло прямиком в наш склон. Глаза у меня заслезились, я отвернулся — и обмер. Нора наша продолжалась узкой щелью, а в той щели, на выступе, будто на подставке какой, громаднейший кристалл лунного камня, с голову... да нет, побольше! Засветился огнем изнутри и пошел играть переливами, струйками, разводами... Будто всамделе взяли лунный свет, из него комок слепили, ограничили, отполировали да еще намешали туда огней разноцветных: синих, сиреневых, бирюзовых, багряных, зеленых — не перечесть. И не просто светит, а

переливается, гасится да снова вспыхивает. Тут мы — шестеро нас было разного народу, молодого и старого, учебного и неученого, — как есть голодные и мокрые, про все забыли и перед кристаллом замерли. Будто теплее стало и есть не так хочется, когда глядишь на такую вот вещь... — Фомин заволновался и ухватился за свою жестянку для махорочного курева.

Александров прикрыл глаза, так остро возникло перед ним воспоминание о редчайшей находке — огромном кристалле особой разновидности прозрачного ортоклаза, внезапно представшего перед ними в расщелине обвалившейся жилы пегматита.

— И что дальше? — понукунул радист.

— Дальше вот что. Откуда силы взялись — собрали топливо, развели костер, обсушились да обогрелись, чайник кипятку выдудили. Топор да молоток геологический изломали: как сумели из крепчайшей породы волшебный кристалл вырубить целехоньким, до сих пор не пойму! Поволокли его в заплечном мешке попеременно, а он весом поболее чем полтора пуда. Судьба переменилась — конечно, это мы ее переменили, как приободрились. К ночи доперли мы до зимовья, кое-какие продуктиншки там напихали, а лучше всего — положила там добрая чья-то душа пачку махорки. По гроб буду того человека добром помнить!

— А потом?

— Потом все! В зимовье день отдохнули и через сутки пришли в жилое место.

— А камень?

— Камень там, где надлежит ему быть: в музее московском albo ленинградском. Может, вещь драгоценная из него сделана и цены ей нет! Вот никогда не говори: красота — пустяк. Вовсе она не пустяк, а сила большая, через нее и жизнь в правильное русло устремляется!

Александров приподнялся на локте. Воспоминания давно забытого тасяжного похода, стертые множеством последующих впечатлений, встали перед ним остро и ярко. Забракованное месторождение шиферной горы, странное место — перевал Юрта Ворона... Юрта Воропа — «Хюндустыйн Эг» по-тувински... Это широкое болотистое плоскогорье на голом хребте, использовавшееся как перевал аратами, перегонявшими стада из монгольских степей

и обратно в конце июня — начале июля, в период гроз. Перевал издавна известен по необычайно частым и мощным грозам. Много скота погибало здесь от молний. Труны, валявшиеся постоянно на перевале, служили пищей целой колонии обитавших тут же воронов. Вот откуда возникло странное название местности. Александров отчетливо вспомнил улылую вершину перевала с белесоватыми глыбами камней, выступавших там и сям среди редкой зелени мхов подобно костям и черепам погибших чудовищ. В пологих промоинах, спадавших на юго-восточную сторону хребта, росли корявые, полусохшие деревья, побелевшие от помета птиц. Дальше вниз, к долине, болотистый купол полумесяцем охватывала темная тайга — вековые ели с древним буреломом, покрывшимся светлым и пухлым покровом мха. Там, должно быть, гнездились вороны, если только они не прилетали из скалистых монгольских гор на время гроз, когда появлялась добыча.

Двадцать лет назад молодой геолог долго ломал голову над вопросом, почему это место, казалось ничем не выделявшееся среди тысяч таких же в море сопок и хребтов тувинской тайги, разрезанной клиньями монгольской лесостепи, странным образом притягивало грозовые разряды — молнии. В полевой книжке — дневнике того времени — Александров вычертил план Юрты Ворона и записал родившиеся в пути догадки. И в памяти возникли не мысли, не ощущения, а страницы дневника. У геологов обычно хорошо тренирована зрительная память, и Александров не составлял исключения. На плане перевала Александров обозначил направления летних ветров — гигантских потоков нагретого воздуха, прилетающих из Монголии. Среди десятка хребтов, загораживавших им путь на север, был выбран именно этот, не выделявшийся высотой. Уже двадцать лет назад Александров понял, что если скопище гроз над Юртой Ворона не вызвано географическими причинами, то должны быть другие, так сказать, внутренние или геологические причины. В составе пород, или геологической структуре района перевала, крылась сила, заставлявшая грозовые облака, прилетающие из далеких пустынь, отдавать свои колоссальные электрические заряды только здесь, на этом пологом перевале, а не рассеиваться по бесчисленным толщам тувинских гор.

Большое скопление минералов с хорошей электропроводностью — металлических руд, скорее всего железа, — могло скрываться под покровом обширного болота, редких кустов и замшелых каменных россыпей. Состав горных пород хребта, в общих чертах известный, не противоречил такой возможности. Накануне войны по заявке Александра и просьбе Тувинской Народной Республики — тогда Тува еще не входила в состав Советского Союза — была произведена магнитометрическая авиаразведка хребта новыми, только что созданными приборами. Полнейшее отсутствие признаков железных руд дало повод к недовольству геологического начальства и дружеским насмешкам товарищей геологов. Но напряжение военной работы сразу отбросило в далекое прошлое все удачи и ошибки довоенного времени. Забыли о Юрте Ворона и неверных догадках и сам фантазер-исследователь и его товарищи.

А теперь, в особенной обостренности воспоминаний о счастливом, здоровом прошлом, Александр вспомнил еще одно соображение тех времен, заставившее его сжать кулаки в напряжении раздумья. «Если бы кто-то, не побоявшийся смертельной опасности, смог в разгар сильной грозы проследить места непосредственных и наиболее частых ударов молний и остаться в живых, то, пожалуй, так можно было бы добиться разгадки Юрты Ворона дешевым и простым способом. Ведь, кроме железа, там могли залегать немагнитные руды цветных металлов, особенно такие электропроводные сульфиды, как галенит — свинцовый блеск, аргентит — серебряный блеск, сфалерит — руда цинка. Мощные жилы этих руд должны притягивать молнии тем сильнее, чем больше масса руд, залегающая под землей, чем длиннее и глубже жилы. Что-то похожее сохранилось в глубине памяти из старинной истории свинцовых месторождений и горных разведок в Германии. Геолог закрыл глаза, сосредоточиваясь.

«Свинец... поверхностное и большое месторождение свинца... этого столь необходимого в эпоху атомной энергии металла... Если бы свинец! Давно уже выработаны его мировые поверхностные месторождения, а потребность в нем все растет... Впрочем, и цинк или серебро тоже неплохо, но лучше всего свинец!» Александр представил тяжелые слитки-чушки серого мягкого металла,

сверкающе-синеватые на разрубке, — металла, так хорошо знакомого каждому промышленнику Сибири, каждому охотнику, вселяющего уверенность в успехе охоты, в борьбе с опасными зверями, добыче сторожкой дичи. Ленты и диски пулеметных патронов, готовые к отражению врага... детали для технических приборов и аппаратов, приготавливающих и исследующих ядерную энергию. С пими дело обстояло хуже: геолог смог вообразить лишь толстые листы и пластины свинца — могучую броню от вредного излучения.

— Кирилл Григорьевич, чего задумались? Застыли, будто на подсадке... Небось вспоминали тот поход? Рас-травил я вас, каюсь. Вот в окно вижу: жена ваша идет и с ней еще кто-то.

— Один мой сотрудник, — ответил геолог, скосив гла-за на окно, — бывший мой, — поправился он, нахмури-вшись.

Привычка все замечать и мгновенно отдавать себе отчет в увиденном помогла разглядеть усталую походку и опущенную голову Люды. Она шла медленно, будто обремененная заботами старая женщина. Снова жалость больно уколола геолога. Не только забота, хуже — обре-ченная безнадежность, бесплодные усилия помочь люби-мому человеку. Нет, кажется, он начинает нащупывать почву в дне безысходного болота, в котором барахтается уже много месяцев.

Старый забойщик по-своему понял хмурую сосре-доченность Александрова.

— Мало ли, что теперь не с вами работают, небось часто бегают за советом?

— Ходят, а что?

— Я к тому, что советами тоже можно большую поль-зу принести... у вас опыт-то воп какой!

— Эх, Иван Иванович, добрая душа! — улыбнулся геолог. — Только советами не проживешь. Может, будь я очень старым, когда душе и телу мало чего пужно, тогда бы я жил... посоветую дельное — и доволен! А сей-час хоть половина меня мертвая, зато другая — полна жизни по-прежнему... Да что говорить, ревматизм вас скрутил, а разве вы думаете на пелсию? Вы-то сами со-ветами проживете?

Фомин насушился, вздохнул и, чтобы перевести раз-говор, спросил:

— Жена ваша, она тоже геологом работает?

— Да, — улыбнулся Александров, — настоящая геологиня!

— Как это вы сказали — геологиня? — переспросил Фомин.

— Это я выучился называть от студентов. Мне нравится, и, кажется, так правильнее.

— Почему правильнее?

— Да потому, что в царское время у женщин не было профессий, и все специальности и профессии назывались в мужском роде, для мужчин. Женщинам оставались уменьшительные, я считаю — полупрезрительные названия: курсистка, машинистка, медичка. И до сих пор мы старыми пережитками дышим, говорим: врач, геолог, инженер, агроном. Женщин-специалистов почти столько же, сколько мужчин, и получается языковая бессмыслица: агроном пошла в поле, врач сделала операцию, или приходится добавлять: женщина-врач, женщина-геолог, будто специалист второго сорта, что ли...

— А ведь занятно придумал, Кирилл Григорьевич! Мне в голову не приходило...

— Не я, а молодежь нас учит. У них верное чутье: называют геологиня, агрономиня, докториня, шофериня.

— Так и раньше называли, к примеру: врачаха, кондукторша...

— Это неправильно. Так исстари называли жен по специальности или чину их мужей. Вот и были мельничиха, кузнечиха, генеральша. Тоже отражается второстепенная роль женщины!

Старый горняк расплылся в улыбке.

— Геологиня — это как в старину княгиня!

— В точку попали, Иван Иванович! Княгиня, графиня, богиня, царица — это женщина сама по себе, ее собственное звание или титул. Почему, например, красавица учительница — это почтительное, а красотка — так... полегче словцо, с меньшим уважением!

— Как же тогда — крестьянка, гражданка?

— Опять правильно! Мы привыкли издавна к этому самому «ка», а в нем, точно жало скрытое, отмечается неполноценность женщины. Это ведь уменьшительная приставка. И женщины сами за тысячи лет привыкли... Разве вам так не покажется — прислушайтесь внимательно, как звучит уважительное — гражданки и уменьши-

тельное — гражданка. А если правильно и с уважением, надо гражданина или гражданца!

— Верно, бес его возьми! Чего же смотрят писатели или кто там со словами орудовать обязан? Выходит, что они о новом не думают, какие настоящие слова при коммунизме должны быть.

— Думают-то думают... да неглубоко, пожалуй, — вздохнул Александров.

В этот момент дверь палаты раскрылась, и вошли посетители.

По обыкновению, Люда уселась поближе к голове Александрова, предоставив товарищу стул в ногах постели. Пришедший геолог развернул профиль, и они занялись обсуждением наиболее экономичной разведки недавно найденного месторождения «железной пляны».

Когда молодой геолог ушел с извинениями, Александров откинулся на подушку, чтобы дать отдых уставшей шее. Люда воспользовалась этим, чтобы уловить взгляд мужа.

— Кир, ты сегодня другой, я это услышала, когда ты говорил с Петровым.

— Не слишком ли ты изучаешь меня? — деланно усмехнулся Александров.

Молодая женщина глубоко вздохнула:

— Родной мой! Я чувствую у тебя в глубине глаз твердую точку, этого давно не было. Что случилось? Или этот славный старик, — она перешла на шепот и оглянулась на койку Фомина, — сумел чем-то подействовать на тебя? Почему у него вышло так легко? Я не могла...

— Фомина тут ни при чем, хотя он гораздо больше, чем просто славный... Но я думал, думал и понял, что должен сделать все, что могу... — Геолог умолк, подбирая слова.

— Что можешь, чтобы поправиться?.. — Голос жены дрогнул.

— Ну, хоть не поправиться, но нервы привести в порядок — это прежде всего! Я слишком много бился о непроходимую стену... слишком долго переживал свое несчастье. Это не могло не сказаться, и я калека не только физически, но и духовно. Так надо попробовать вылечиться духовно, если уж физически нельзя!

Люда низко опустила голову, и слезы часто закапали на край подушки геолога. Александров погладил жену по горячей щеке.

— Не горюй, Людик! Как врачи отпустят, поеду в санаторий. Еще педельки две... Хорошо будет переменить место.

— Я не от горя, Кир. Я оттого... — жена громко всхлипнула и сдержалась отчаянным усилием, — что ты как прежний, не сломанный.

— Вот и хорошо. Теперь ты тоже можешь поехать...

Люда с острым подозрением посмотрела на мужа. Тот спокойно встретил ее испытующий взгляд. Жена молчала так долго, что Александров заговорил первым:

— Люда! Обмана нет, сама видишь, все чисто.

— Да... у тебя твердые глаза и вот морщинка, — Люда провела мизинцем около рта мужа, — горькая, усталая, но больше не жалобная... Все так внезапно...

— Всякий перелом внезапен. Но ты ничем не рискуешь — я буду в санатории, никуда не денусь, если что — приедешь.

— Будто ты не знаешь, что там у меня со связью неважно. Пока туда и назад — целый месяц.

— А я в санатории должен быть три месяца!

— Хорошо, поговорим потом. — В тоне жены Александров уловил нотку неуверенного согласия. — Я хочу расспросить Ивана Ивановича, чем он на тебя подействовал.

— Светлыми жилками! Еще, Люда, чтобы не позабыть: в моем столе в нижнем ящике — знаешь, где старые материалы, — мои дневники тридцать девятого года. Принеси, будь добра!

— Хорошо. Что-нибудь вспомнилось?

— Иван Иванович напомнил насчет лунного камня... Надо найти характеристику пегматитов той жилы...

* * *

— Значит, уезжаете, Кирилл Григорьевич?

— Завтра! Вы что-то задержались здесь, Алеша!

Упылый радист по-детски обиженно сложил губы.

— Черт, не зарастает рука, и держат и держат... Иван Иванович уехал в прошлую среду, завтра — вы. Совсем

пропаду тут один. Привык я к вам, а Ивап Иванович уехал — так что-то оборвалось во мне, будто отца проводил.

— А сначала-то спорили!

— Так ведь от неосмыслия. Какой старикап хороший! Около него и жизнь полегче кажется. Было бы таких людей побольше, и мы побыстрее до настоящей жизни доходили...

— Это вы правильно, Алеша! Молодец, что поняли...

— За вами кто приедет, тетя Валя?

Александров представил себе маленькую, очень молодого выглядывшую женщину-шофера и улыбнулся.

— Какая же она тетя? Разве вы ее не видели?

— Видел. Кто ее не знает! Она, как вы, еще в республике начала работать. Только ведь женщина на возраст, неудобно Валею называть. Это для вас — другое дело, уважает она вас очень здорово, сама говорила. Чем-то вы ей помогли.

— Да срунда, ничем не помог. А возраст ее разве такой большой?

— Тетя Валя и не скрывает: она двадцать четвертого года рождения?

— Ну, понял теперь! Если вы — сорокового года, тогда она для вас тетя.

— Точно, сорокового. Вы как угадали?

— По разговорам вашим с Иваном Ивановичем.

Радист хотел что-то спросить, но вошедшая сестра позвала его на рентген.

Александров, оставшись один, с удовольствием подумал о завтрашней встрече с Валей. Геолога и шофера связывала крепкая дружба, не ослабевавшая, несмотря на годы и редкие встречи. В разгар Отечественной войны в далекой тайге они встретились — девятнадцатилетняя девушка, ставшая шофером, чтобы заменить ушедших на фронт, и геолог, исполнявший правительственный приказ: найти нужное для войны сырье. С тех пор прошло шестнадцать лет, очень многое изменилось в жизни и в республике, теперь ставшей областью Советского Союза. Валя — твердый и верный человек, и она вспомнит, как когда-то сказала, что все бы сделала для него. Теперь пусть сделает!

Валя согласилась. Весь персонал больницы вышел провожать геолога, когда тот, неуклюже переставляя костыли, влачил свое огруженное и ослабевшее тело через залитый солнцем двор, наотрез отказавшись от предложения внести его в машину. Опечаленный радист нес в здоровой руке небогатый скарб Александрова. Короткое сердечное прощание, и зеленый «ГАЗ-69» понесся по гладкому шоссе в направлении поселка. Александрову надо было заехать на квартиру, чтобы взять нужные вещи. Никто не мог помешать ему: Люда уже около двух недель находилась в тайге. Валя отвезет геолога вместо санатория... так близко к Юрте Ворона, как сможет подойти машина. Александров помнил избушку промышленника, стоявшую всего в шести километрах от перевала. Правда, это было в тридцать девятом и зимовье давно могло разрушиться, но наверняка появились новые. Конец не близкий. Пока он будет собираться на квартире, Валя договорится с начальством. А санаторий получит телеграмму с извещением, что больной приедет с запозданием недели на три из-за большой слабости.

Простой плап удался, как был задуман. Асфальтовое шоссе сменилось гудроном, гудрон — серой щебенкой, а «газик» бежал и бежал, взвывая редкую пыль, на юг, к желтоватому небу Монголии, переваливал хребет за хребтом. Геолог молчал, сидя в неудобной позе. Сильно согнувшись, он вцепился в дужку на переднем щитке и смотрел на дорогу. После шестимесячного заключения в постели ход машины казался полетом, а таежные сопки, оголенные хребты и степные долины — родным домом, более приветливым, чем удобная квартира в городке.

Александров не замечал, что Валя искоса следила за ним, насколько позволяла дорога. В серых добрых глазах молодой женщины иногда показывались слезы. Слишком велик был контраст прежнего, мужественного, полного веселой энергии геолога и молчаливого беспомощного человека с бледным, одутловатым лицом и рыхлым, расплывшимся от лежания телом. Где он, тот сильный друг, к поддержке которого она прибегала в такие минуты жизни, когда каждый, а женщина в особенности, нуждается в ощущении верной руки, в надежной помощи и правильном совете? Никогда не забудет Валя их первой

встречи. Она вызвалась сама в далекий рейс по глухой тасажной дороге — прииск нуждался в муке, но больше одной машины по военным условиям не смогли выделить. Старенький «ЗИС» нагрузили добросовестно — едва не четырьмя тоннами, и Валя пустилась в пятисоткилометровый путь с бодрой независимостью своих девятнадцати лет и годового стажа. Мороз свободно проникал в щелястую, расхлябанную кабину. Солнце яркого зимнего дня пригревало, сгоняя серебристый узор изморози с пожелтевших от времени триплексных стекол. Лишь потом Валя поняла, что подобный рейс зимой на старой и однопочной машине был нелегко и для опытного шофера. Видимо, уж очень был умучен и задерган их больной завгар, что уступил Вале и согласился отправить ее одну. Выносливый «ЗИС» старательно преодолевал подъем за подъемом, и только гулкий треск мотора и надсадный вой передач свидетельствовали о том, как тяжело трудится машина. С перевалов машина мчалась бесшумно, но Валя, понимая, что не сможет удержать «ЗИС» его ненадежными тормозами, опасалась давать машине сильный разгон. И снова была первая или вторая передача с самого начала следующего подъема, грелся и дымил старый мотор и требовал добавочной порции масла. Валя проехала двести восемьдесят километров. Кончились последние придорожные избушки — зимовья, где у обитавших в них охотников или лесных объездчиков можно было обогреться и напиться чаю, перекусив простецким шоферским запасом. Солнце село, глубокие синие тени стали заполнять пади и распадки, огоньки звезд зажглись над почерпневшими хребтами справа. Мороз крепчал, тонкая пленка ледяных кристаллов стала затягивать стекла кабины, вынудив Валу приоткрыть ветровое стекло. Ветер резал как нож, глаза слезились, лицо ломило, и застывали руки в вытертых меховых варежках. Дорога скрылась в сумерках, и Валя зажгла фары. Фары и тормоза — два недостатка старой, во всем остальном превосходной машины. Слабый желтый свет не доставал до изгибов дороги — казалось, что накат исчезает в неведомом направлении, сливаясь на ровных участках с поверхностью снега. Откосы вставали внезапными чернеющими громадами, склоны долин вдруг обрывались в загадочную глубину. Ели, покрытые толстыми снежными шапками, стояли, будто не тронутые веками. Опасение стало закра-

дываться в отважную душу девушки. Как никогда, отчетливо почувствовала она полную зависимость от исправности своей машины. Она прошла уже много десятков тысяч километров, много раз ремонтировалась. Кто может определить, какая часть мотора или шасси сейчас находится на пределе износа или усталости металла? Любое повреждение грозит тяжелыми последствиями. Валя не думала о себе, а о людях, которые ждут муки на затерянном в тайге, среди жестокой стужи и снега, прииске. Она старалась представить себе суровых приискателей, их озабоченных женщин, в ожидании слушающих машину — звук мотора в молчаливой зимней тайге разносится на десятки километров. Валя знала, что транспорт муки запаздывал — редкое событие во время военных трудностей. И, если могучая сила ее машины застынет на зверском морозе здесь, где сто пятьдесят километров от жилья в ту и в другую сторону, найдутся ли у нее силы дойти до прииска за помощью? Девушка почувствовала настоящий страх — впервые ответственность водителя в дальнем зимнем рейсе представилась ей с полной ясностью.

Валя остановила машину. Не выключая мотора, она долго прыгала и бегала по узкой дороге, чтобы хорошенько согреться. Потом зажала переноску и тщательно осмотрела машину. Мотор тихо урчал на малых оборотах, будто радуясь отдыху.

Валя с нежностью погладила облеслый широкий капот, укутанный двойным утеплителем. Бензина оставалось не больше полубака, и девушка решила заправиться. Чтобы скорее налить ведро, она попыталась повернуть бочку в задке машины, открыла борт и упустила ее. Бочка слетела на дорогу, и девушка оказалась не в силах поставить ее обратно без накатных жердей. Идти далеко по глубокому снегу за жердями девушка не решилась, боясь оставить работающую машину. Однако Валя быстро сообразила, что, залив полный бак, она может оставить бочку у дороги, с тем чтобы взять ее на обратном пути. После второй заправки Валя смогла бы втащить ее в машину. Ободренная найденным выходом, девушка тронулась в путь. Недавний снег, рыхлый и крупный, покрывал дорогу неглубоким слоем, искрившимся в свете фар, предательски скрывая границу твердого наката. Чуть в сторону — и машину ценко захватит мягкий снег,

потащит с дороги. Для одинокого водителя это будет равносильно серьезной поломке. Валя крепко сжала негладкий черный руль, удерживая тяжелую машину по углубленным канавкам наката, намечавшимся под пушистым сверкающим одеялом. Рыхлый снег скрадывал звуки, машина будто погружалась в бездну молчания, и даже громкий сухой треск, столь характерный для «ЗИСа» с его легким глушителем, не разносился более по распадам и склонам. Свет фар низко стелился по широкой капаве дороги, точно стекая по ней в чернеющую впереди пропасть. Над этой световой речкой нависало угольно-черное от контраста небо, вызвездившееся от свиреного мороза, крепчайшего с каждым часом. Ни огонька, ни дымка, никакой жизни в оцепенелой череде лесистых сопок и заметенных ущелий!

Час-другой машина упорно шла. Спидометр давно был пснорчен, и Валя могла лишь приблизительно оценивать пройденное расстояние по времени. Увы, оно не могло быть велико — необходимость осторожности на узком накате горной дороги заставляла ехать со скоростью около тридцати километров. Но и такая скорость требовала большого напряжения. Стекла кабины покрылись слоем наморози, но Вале было жарко от волнения и тревоги. Темное чувство близкой беды не отступало, а усиливалось, как будто на этом перегоне машиной владела не она, а недобрые силы горных высот, снегов и мороза. Но машину одолели не силы таежных просторов, а крохотные частицы воды и грязи в плохом горючем военного времени. Оно выдержало сотню переливов, прежде чем попало в старую бензобочку в кузове Валиной машины. Уронив бочку на дорогу, девушка взболтала отстой, прибавив еще ржавчины со дна бочки.

Когда лучи фар уперлись в очередной подъем, сократив видимость, ближе придвинулась стена темноты. Мотор дал первый перебой. Неровные, резкие выхлопы учащались, сила двигателя падала, машина начала дергаться, будто спотыкаясь. Валя включила первую передачу, вытянула подсос и прибавила оборотов, надеясь прочистить подачу собственной тягой мотора. Несколько минут, закусив губы, девушка маневрировала скоростями и оборотами, надеясь дотянуть хотя бы до вершины перевала. Если бы дойти туда, тогда не страшно остановить мотор и прочистить подачу: потом, на спуске, легко завести мо-

тор накатом машины. Старый, разваливающийся аккумулятор обладал малым запасом электрического заряда, а старый мотор с подношенными контактами заводится нелегко — это девушка хорошо знала и знала еще, что для ручной заводки «ЗИСа» надо иметь мужскую силу.

Худшие опасения Вали оправдались. Мотор окончательно заглох, так и не подняв машину на перевал. Валя выскочила и подбросила под колеса поленья, которые возила с собой вместо горного упора. Экономя заряд, она, не пользуясь переноской, сняла отстойник, продула бензопровод и как бешеная скакала на темной дороге, хлопая себя застывшими руками. Потом, забравшись в замкнутую кабину, Валя с замирающим сердцем нажала на стартер. «В-ввв... В-ввввв...» — лениво, точно спросонку, завращался двигатель, другой, третий раз. Валя скупилась расходовать драгоценную зарядку. Мотор не пошел. Девушка прижала кнопку подольше, глухо зашумел набирающий обороты двигатель, но даже не чихнул. А свирепый мороз старался забраться под накрытый Валиной шубой капот и сделать двигатель таким же недвижимым и застылым, как все на огромном пространстве в зимней ночи, среди тувинских гор.

Девушка действовала с быстротой отчаяния, думая лишь о том, как успеть в состязании с жестоким холодом. Чтобы не рисковать больше, продула карбюратор, еще раз проверила бензопередачу, прочистила контакты прерывателя. И опять попытка завести мотор кончилась протяжным звоном отказавшего стартера. Еще раз... еще... Больше нельзя было рисковать разряжать аккумулятор на морозе, и оставалась надежда только на ручку.

Напрягая все силы, обливаясь потом, замерзавшим по краю шапки, с растрепавшимися и заиндеветшими волосами, девушка вращала рукояткой неподатливый шестигранниковый двигатель, упрямо не заводившийся. Только один раз он слегка фыркнул и осторожно повернулся, как поворачивается, пытаясь подняться, тяжело упавший человек, но тут же затих, уступая цепенящему холоду.

Валя выбилась из сил. Где ей, самопадевающей, слабой девочке, завести могучий мотор! Где ей выполнить важное назначение — доставить муку голодным работникам приниска! Как глупо было браться за это суровое дело! Вот что получилось — она пассивна с застывающей машиной, без сил, без настоящего умения. Придется сливать

воду и масло, разводить костер, греть то и другое, а у нее лишь одно ведро. Затем снова пробовать крутить двигатель, задыхаясь и надсаживаясь, а он поворачивается так медленно! Будь сила, рванула бы рукоятку покрепче, завертела быстро-быстро, как это делают товарищи шоферы. Нет сомнения, что мотор уступил бы и налился теплом, дал заряд в чуть живой аккумулятор... Почему мало силы у нас, женщин? Есть же такие, которые не уступят любому мужчине... Почему она так постыдно слаба?! И почему это должно было случиться тут, где нет ни одной живой души на сотню километров? Как злобна судьба! Мог бы встретиться охотник, проезжать другой водитель или любой путник-мужчина...

Валя вытерла затвердевшим рукавом слезы и пот с лица, зябко вздрогнула всем телом. Мороз одолевал ее, обессилевшую, а шуба лежала на моторе, спасая последние крохи оставшегося в нем тепла.

Опасное оцепенение вкрадчиво охватывало девушку, такую маленькую, бессильную, бескопечно одинокую в грозную зимнюю ночь у замерзающей машины.

Опомнившись, Валя стряхнула забытие и, едва дыша, заметалась перед машиной в попытке согреться. Она хотела только одного: чтобы сейчас здесь оказался путник. Он помог бы ей, и она исполнила бы свой долг!

Невозможная мечта, неисполнимое желание! Здесь, далеко от всякого жилья, даже от избушек охотников, ночью, в такой мороз, кто мог быть он, тот безумный путник? Что могло заставить его появиться, откуда?

Но девушка, загипнотизированная своим желанием, сжимала остро болевшие, засунутые под мышки кулаки, твердя: «Приди, приди сюда, помоги...» Она громко повторяла свой призыв, и ей показалось, что тягостно молчавшая тайга откликнулась. Валя замерла, вслушиваясь в тишину звездной безветренной ночи. Но безмолвие чащи голых лиственниц и заснеженных камней убило ничтожную искорку надежды. Валя умолкла, порыв ее угас. Несколько минут девушка еще вслушивалась в ночь, затем повернулась и понуро пошла к мрачно черневшему грузовику. Достала ведро, сдернула шубу, закуталась в нее и стала открывать капот, чтобы добраться до спускных краников радиатора. Внезапно едва слышимый звук привлек ее внимание. Слева, откуда в долину, по которой вилась дорога, впадал широкий распадок,

раздалось слабое пощелкивание. Вне себя девушка отпрыгнула от машины. Да, слабое пощелкивание!.. Сердце Вали остановилось. Задышавшись, она втянула ртом жгучий морозный воздух и снова вслушалась.

Легкий хруст и пощелкивание, хруст и пощелкивание... тупой деревянный удар! Валя достаточно долго работала в Туве, чтобы понять эти звуки — приближение слепых нарт. Езда на нартах мало принята у местных охотников, предпочитающих зимой и летом верховой способ передвижения. Нартовая езда практиковалась работниками Севера: геологами, приискателями, геодезистами.

Сдавленный вопль вырвался у девушки. Боясь, что неведомый ездок свернет куда-либо в сторону, она закричала испуганно и дико. Совсем близко, за темной стеной леса, громкий мужской голос ответил ей. Высокие беговые нарты вылетели из распадка и раскатились по непривычно широкой для них дороге. Белый беговой олень шарахнулся от черневшей на дороге машины. На таких оленях ездили в одиночной запряжке. Трудно было подобрать пару этим сказочным пожирателям таежных пространств, легко проделывавшим по сто двадцать километров в день сквозь тайгу, замерзшие реки и ледопады, крутые горные тропы.

Крупная фигура в собачьей дохе вывалилась из нарт, проворно ухватившись за задние копылья. Первобытный тормоз действовал надежно. Еще минута — и ездок приблизился к девушке, держа за спиной повод и загораживая путь рвущемуся вперед оленю, нетерпеливо толкавшему его мордой. Это был геолог Александров, тогда двадцатитрехлетний начальник партии, бешено мчавшийся сквозь тайгу с важными пробами из только что пройденной разведочной штольни. С полуслова геолог понял, что случилось. Александров умел водить машины и действовал быстро. Белый бегун, по имени Высокий Лес (все беговые олени имели собственные имена, в отличие от безыменных трудяг, ничем не выделявшихся из общей массы), был отведен подальше и крепко привязан. Остывший мотор еще не успел замерзнуть, и Александров не стал терять время на его разогревание. Пользуясь своей незаурядной силой, геолог принялся неистово крутить рукоятку, едва только убедился в исправности подачи и зажигания. Все было так, как представлялось Вале в ее мечте. Могучая, широкоплечая фигура, свободно и

быстро вращавшая заводную ручку, такую неподатливую для слабых рук девушки. Мотор сначала не отзывался даже силе геолога, но потом, как бы очнувшись, фыркнул раз, другой, громко чихнул и вдруг бодро пошел. Работа двигателя выравнивалась, и, пока он разогревался, геолог заставил измученную девушку выпить немного спирту и поесть. Александров отвернул пробку бензобака и слил весь нечистый бензин с иголками льда, скопившийся на дне бака, чтобы исключить повторение инцидента. Геолог действовал так уверенно, говорил так весело, что все происходившее полчаса назад показалось девушке приснившимся кошмаром. А сейчас разогретый мотор ласково журчал на малых оборотах, путь до прииска был для исправной машины не столь уж велик, и поздняя ущербная луна поднималась из-за хребтов.

Валя совершенно ободрилась, даже усталость прошла под спокойным и приветливым взглядом геолога. Тот обтер руки поданными Валею концами и протянул девушке крепкую горячую ладонь. Валя схватила ее и, волнуясь, не зная, как выразить переполнившее ее чувство, негромко сказала:

— Нет такого, чего я бы не сделала для вас! Спасибо вам, хороший!

— Зачем, Валя! А вы? Разнес бы меня Высокий Лес, и сидел бы я на дороге со сломанными нартами... и тут вы с вашей машиной! — Геолог обвел взглядом девушку, такую маленькую, хрупкую, рядом с огромной машиной, заразительно рассмеялся. — Будете трогаться — не забудьте, что мост застыл, да и коробка...

При лунном свете Валя видела, как он отвязал оленя, и тот сразу же понесся с места, взяв размашистой иноходью. Геолог едва успел укрепиться на сиденье, как нарты скользнули за гребень увала и скрылись в темноте.

— Счастливой дороги! — донесся из мрака голос, абсолютно уверенный, что никакой другой дороги и не будет, только счастливая.

Этот одинокий геолог с похожим на белый призрак высоким оленем, как сказочный герой, несущийся в царстве снега и гор, через сотни километров замерзшей тайги, передал девушке свою уверенность. Крикнув что-то прощальное, Валя вошла в кабину. С минуту она вращала мотором застывшую коробку, потом осторожно включила скорость, дав побольше оборотов. Медленно

стронулась тяжелая машина, раза два буксонула на подъеме и пошла послушно преодолевать перевал за перевалом. Угрюмая луна освещала такую же мертвую тайгу, но все было уже по-другому. Сзади мчался, удаляясь, приветливый сильный геолог, а впереди с каждым перевалом близился прииск. Еще не погасли звезды, а Валя явилась туда в облаках пара и, несмотря на крепчайший предрассветный мороз, была встречена всем населением прииска. Сердечное спасибо суровых приискателей и ласковое гостеприимство явились наградой за пережитое...

Валя очнулась от воспоминаний. Дорога свернула в широкую степную долину, и машина выбросила налево хвост густой пыли. Жаркий день морил духотой, предвещая дождь, и Валя с тревогой посмотрела на Александрова. Он совсем навалился на скобу, почти прижимаясь к ветровому стеклу мокрым от пота лицом. Валя сообразила, что геолог удерживается на сиденье лишь руками, потому что вся нижняя часть его туловища лежит, как неживой тук.

— Может быть, остановимся? — предложила Валя.

— Как хотите... Вы устали?

— Немного, — солгала Валя.

Александров вздохнул с облегчением. Машина остановилась на сухой просторной поляне, под сенью темных кедров. Валя поставила кипятить чайник, а геолог, шатаясь и вихляясь на костылях, углубился в заросли кустов. Его неважное состояние усугублялось тем, что некоторые естественные потребности превращались в нечто сложное и постыдное из-за тягостной беспомощности.

Валя украдкой посмотрела ему вслед, и жалость снова резнула ее по сердцу. Стараясь отвлечься от невольного сопоставления двух обликов Александрова, она захопотала с едой. Геолог вернулся багровый от усилий и почти упал на траву у костерка. Валя постелила пальто, положила под голову мягкий вещевой мешок, и геолог, лежа на спине, постепенно ожил. Чашка крепкого чая — и Александров закурил папиросу.

— Вы раньше не курили вроде? — спросила Валя, чтобы как-нибудь нарушить непривычное для нее молчание.

— Всего месяц, как курю... раньше не требовалось, — натянуто усмехнулся Александров.

— Вы зачем едете так далеко? Поискать что-нибудь по вашей части?

— Вы угадали, Валя!

— Я так и знала, что вы иначе не сможете... Только как теперь-то?..

— А ползком! — улыбнулся геолог, и в его лицо мелькнула прежняя непобедимая уверенность хозяина тайги.

Сердце Вали радостно ёкнуло. Сквозь незнакомую маску она распознала дорогие черты старого друга.

— Но так ведь нельзя!

— Всем нельзя, мне можно, — в прежнем тоне продолжал геолог. — Сейчас все зависит от вас! Довезите и помогите разыскать промышленника или лесника поблизости от Юрты Ворона.

— Чего вам дался этот перевал? Там, говорят, грозы страшные, нынче как раз время...

— Дело не в перевале, — уклонился Александров. — Ну, это впереди, а мы еще не поговорили о вас. Как вы, Валя?

— У меня по-старому, Кирилл Григорьевич! Работаю, много читаю, опять же общественные дела... Словом... без перемен, — ответила Валя на недосказанный вопрос геолога.

— Жаль! Очень вы хорошая, Валя, и... хорошенькая, — грустно и серьезно сказал Александров.

— А мне не жаль — я вам раньше объясняла. Друзья и товарищи мужчины, кто по возрасту бы мне соответствовал, — двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого года рождения. Это те самые годы, что припали на себя в войну первый страшный удар врага. Мало их осталось в живых, ну, а нас, их подруг, слишком много...

— Ну, а если постарше, разве плохо?

— Кто постарше, вот как вы, например... — Валя вдруг покраснела, — они давно женаты, кто порядочный, а кто меж двор шатается, за тех и идти не к чему. Как иначе? Хороший, да женатый, да с детьми — я так не могу. Свое счастье с чужого несчастья начинать — не выйдет у меня, а уж если детишки, то и говорить не о чем. Выходит, на нашу долю, кто одного со мной возраста, остались мальчишки — тьфу, ерунда! — либо кто не-

прикаянный, пьяница да бабник остался! Сами видите, получается такое замужество... только себя уронишь...

— Но ведь может же встретиться подходящий и... неженатый еще, а то и вдовец хороший.

— Может, само собой, да не встретился. Ну что говорить, судьба не привела, — лицо молодой женщины по-суровело, — но впереди большая радость намечается. Жду ее нетерпеливо!..

— Что же такое? — даже приподнялся на локте Александров.

— Решило наше государство важнейшее дело: чтобы каждый мог получить знания, какие хочет, по собственному желанию и вкусу, — я про народные университеты. Это дело громадное, и тяга у народа к тому, чтобы искусство, книги, науку понимать, несказанная. Не для звания там какого, а для себя, чтобы жизнь интересней стала...

— Эх, Валя, вам бы с Фомным повстречаться, есть такой старый горняк, вы ему прямо родная душа... я в больнице лежал с ним.

— С горняком вашим когда встретимся, а в университет этот мне поступить сейчас — самая большая забота. Говорят, заявлений столько, что надо еще десять других открывать...

— Я могу написать письмо в Кызыл, чтобы вам помогли. Не помогут поступить, так посоветуют, где добиваться, а это уже полдела, самое важное — знать, куда правильно удариться!

— Ой, Кирилл Григорьевич, дорогой, напишите! У меня есть всякие рекомендации, но у вас будет по ученой линии.

— Напишу сейчас! — Геолог извлек из полевой сумки конверт и бумагу и принялся писать.

Валя с загоровшимися глазами следила за размеренным движением его руки.

* * *

Машина вырвалась наконец из зарослей после долгого мотанья на ослизлых корнях, буксовки в чернеющих торфяной грязью мочажниках. Прекратилось тарахтенье веток по кузову, замолк и мотор. В наступившей тишине стал слышен слабый шум перегретого радиатора.

Александров, едва живой после езды по бездорожью, с облегчением увидел дымок, поднимавшийся из железной трубы низкого, добротного срубленного зимовья. Кочковатая поляна с севера точно забором огораживалась «флажными» лиственницами — толстыми деревьями, лишешными веток с одной, наветренной, стороны.

На жердинной лавке у входа в зимовье сидел, видимо, давно поджидавший машину пожилой тувинец. Едва «ГАЗ-69» остановился, как, собрав в приветливой улыбке все морщины обветренного лица, хозяин поспешил навстречу гостям.

— Хорош машина, куда заехал... их! Баба-шофер... хорош! А я чай готовил. — Тут он увидел тяжело вылезавшего на своих костылях Александрова и замолк от удивления.

— Ну, Валя, дорогая, спасибо вам! Жив буду — век не забуду! — Растроганный тон геолога был несозвучен полуплутивым словам. — Только вы это смогли сделать. Теперь мое дело выйдет: отсюда до Юрты Ворона не больше десяти километров...

Молодая женщина смутилась, покраснела и, ласково взявшись за локоть геолога, сказала:

— Я так рада! Только не понимаю я, что вы тут будете делать, не вижу, чего задумали. Скрываете вы от меня серьезное что-то... Раньше вы так не делали! Значит, дружба дружбой, а табачок — врозь?

— Ладно, Валя, вам я скажу... Но пикому ни слова! — И геолог рассказал о своем плане поисков месторождения на перевале Хюндустыйн Эг.

— А вы-то сами?.. Как решились! — В тоне молодой женщины звучал явный испуг.

— Ну, что я? А ваши сверстники, что лежат в украинских степях и лесах Прибалтики, — они могли, если нужно!

— Я не о том. Если это так сильно нужно, то почему же раньше...

— А, понял! Раньше простой расчет, да, расчет, а не чрезмерная осторожность. Результат очень сомнителен, риск безусловно велик, а другого, не менее важного дела — не впроорот.

— Ясно, — протянула Валя. — Теперь вам такому можно идти на очень сомнительный результат. Какой

угодно риск, пусть все сто против одного — вдруг да выйдет. Вот как вы себя цените. А о близких вам людях — о жене, о друзьях — подумали?

— Подумал. Жена, друзья — это геолога Александрова, которого уже нет, и только вопрос времени, на сколько у кого хватит памяти.

Валя, словно подхлестнутая, отстранилась от геолога:

— Вот как! Спасбо, отблагодарили! А я сейчас кто? И впрямь буду то же, не беспокойтесь!..

— Поймите меня верно, Валя. Если я выиграю этот один шанс... тогда!.. Ведь я человек самый обыкновенный, со слабостями, и мне нужно выздороветь... душевно. Посмотрите на меня — разве вы не видите, после какой я передрыги?

Валя опять залилась краской и вдруг обняла Александра, всхлинула и, стыдясь своего порыва, бросилась в машину.

— Я приеду... когда дадите знать... Только, только... берегите себя, как сможете... Я хочу сказать, чтобы вы не смели нарочно...

— Обещаю вам, Валя! — твердо ответил геолог. — Только куда же вы? Сейчас будем чай пить, потом отдохнуть надо.

— Не падо! Боюсь, что просрочила я путевку. И... я, я... реветь буду! — заключила молодая женщина, прикрывая глаза; на руль закатали слезы.

Зафырчал мотор, и не успел геолог двинуться, как машина развернулась и умчалась по извилистой тропе в заросли. Александров долго смотрел ей вслед, слушая замирающий вдали шум мотора.

Хозяин зимовья решился нарушить этикет, заговорив первым:

— Зачем ссорилсь? Шибко худо получилось — машина уехал, ты остался... Что делать будем? А я чай готовил!

Геолог успокоил лесника. Выпив положенный чай, Александров повалился на нары и забылся тяжелым сном. Он проснулся, когда солнце уже садилось. Дверь в зимовье была открыта. Пучок багульника, тлевший на углях в старом тазу, распространял резкий аромат, оборонявший спавшего геолога от комаров. Хозяин сидел на пороге с деревянной, окованной медью трубкой в зубах и смотрел на юг. Там громоздились тяжелые тучи, густо-лиловые в свете зари. Сеть далеких молний внезапно

взмахнулась в лиловых громадах. Как будто из-под земли донесся дальний раскат, и в нем было столько угрозы, что Александров вздрогнул. Устремленное вдаль лицо лесника было бесстрастно и так неподвижно, что казалось в сумерках деревянным. Даже трубка не дымилась, крепко зажата в лежавшей на колене руке. Александров подполз к двери. Хозяин зажег погасшую трубку и поднес спичку к папиросе геолога. Оба молча курили, пока Александров не решился наконец задать важный вопрос о коне для поездки к перевалу. Непроницаемо темные глаза хозяина тщательно оглядели гостя.

— Не понимай я, кто пускал?

— Как — кто пускал? — переспросил геолог.

— Тебя кто сюда пускал? Совсем не можешь ходить, совсем плохой, ай-ай! Зачем приехал? Пропадать приехал, однако!

Геолог стал объяснять цель своего приезда, не говоря правды. Ему надо наблюдать грозу на перевале Юрта Ворона, чтобы понять, откуда приходят тучи и как предсказывать непогоду для путников. Он двигаться не может, но сидеть в шалаше, смотреть и писать может...

Хозяин слушал, не перебивая.

— Кто тебя посылал, все путал, — заговорил тувинец, когда геолог кончил свою речь. — Теперь через Хюндустыйн Эг десять лет скот не ходит. Наша республика, как в Союз вошел, тогда и кончал. Такой опасный дело напрасно получается. Почему так, какой дурак думал?

Александров сообразил, что этот мифический дурак — он сам. Обмануть сына природы с его серьезным отношением к жизни и вдумчивостью таежника оказалось делом не столь простым, как сначала представилось Александрову. Стыдясь своей ненужной лжи, геолог сказал леснику все, как старшему брату или отцу, не утаивая более ни своей болезни, ни конечной цели.

В сгустившейся темноте он не мог разглядеть лица тувинца. Хозяин долго набивал трубку и возился с отсыревшей спичкой, потом курил длинными и редкими затяжками. Вспышки трубки освещали его нахмуренный в усилия мысли лоб и опущенные в землю, прикрытые веками глаза.

— Я тебе помогать буду, — спокойно произнес он, и Александров облегченно вздохнул. — Я думаю, ты правильно живешь. Сам тебе помогал бы... да вот один толь-

ко сына у меня был, да помер, баба оставил и два ребяты. Теперь мне думать надо, опасное дело ходи! Еще сколько лет помогай им надо.

Александров протянул руку и положил ее на костистое, со сморщенной, шероховатой кожей запястье хозяина. Тот понял этот жест безмолвной благодарности и торопливо сказал:

— Теперь чай пьем, потом спи надо. Утро рано пойду за конем. Вещей тебе мало, продукты и тебя сразу сведем, конь сильный. Устал, однако, давай ложись!

Хозяин ловко устроил для геолога удобное ложе, настелив на дощатые нары толстый слой душистых ветвей.

Лесник быстро уснул, а геолог еще долго лежал в темноте, с благодарностью думая об исполненной уважения к чужим чувствам и думам бескорыстной дружеской помощи.

Ни Валя, ни лесник не произнесли сакраментальных слов: «Потом отвечай за тебя», — слов, которые так часто попадались в книгах, что он начал думать, будто фальшивый страх ответственности составляет чуть ли не главное ощущение многих людей. А в жизни случилось как раз наоборот. Никто не старался приписать ему свои случайные домыслы и, заподозрив его в нелепых намерениях, обнаружить свою мнимую проницательность. Даже хозяин, который имел бы на это право после того, как геолог пытался солгать ему, сразу же поверил настоящему объяснению. Александров понял, что чуткость помогавших ему людей выработалась в суровой жизни, где каждый немедленно отвечает за свои личные промахи перед самим собой и ближайшими товарищами. Эти люди привыкли полагаться прежде всего на себя и, главное, доверять себе. Геологу привиделась поддержка не двух, а тысяч таких людей, готовых ежеминутно прийти на помощь. Уверенность в невиданной силе коллективов, способных выполнить любую сказочную задачу и составить опору нашего общества, как-то ободрила Александра. Нервная усталость последних двух дней от огромного напряжения бессильного тела и тревоги за выполнение намеченного отошла, сменилась покоем, растворилась в крепком сне.

— Э-ээй, э-эээй! — Надрывный крик разносился по пустому плоскогорью Юрта Ворона.

Александров узнал хозяина, выполз из растрепанного ветром шалаша и попытался откликнуться. Простуженное горло издавало лишь сиплые, слабые звуки, но слух таежного охотника не упустил их. Скоро тувинец показался у шалаша Александрова. Он внимательно оглядел обросшего геолога, закопченного, в отсыревшей и прожженной одежде, изорванной судорожным ползанием по кочкам и багульнику.

— Плохо тут тебе, инженер. Я продукты привези, еще вот — куртка мой. Смотри, совсем рваный стал. Табак вот... Ой, какой ты, паря! — сморщился он от огорчения, когда геолог подполз к уступу, где стояли прислоненные костыли, и поднялся, цепляясь руками за кустарник.

— Ничего, — бодрился Александров, — все в порядке...

За этими незначащими словами стояли две недели жизни на перевале Хюндустыйн Эг, настолько странной, что Александров вряд ли смог бы рассказать о ней.

В знойные дни и душные ночи геолог бодрствовал, поджидая очередное полчище грозowych туч, уже издали возвещавших свой приход тяжелым, вибрирующим грохотом. Днем тучи ползли, как стада воздушных китов, набрасывая на горы серую тень тревожного ожидания. Ночью нечто бесформенное закрывало звезды, словно подкрадываясь для нанесения внезапного и свирепого удара. Страшные удары раскалывали воздух, горы и весь мир, слепящие вспышки учащались, переходили в непрерывное полыхание извилистых полос огня, бороздивших небо по всем направлениям. Иногда гроза была настолько сильной, что от грома и сотрясения почвы мутилось в голове, уши переставали слышать.

Вертикальные столбы молний стояли повсюду, огораживая перевал, как страшную западню. Александров полз туда, где сверканье и грохот превращались в сплошной огонь и рев. Страшное покалывание пропизывало все тело, в поздри бил резкий, кружащий голову запах озона, тело, поливаемое потоками ливня, коченело под порывами ветра. Скоро геолог понял, что его, казалось бы, простая задача очень трудна. Он передвигался ползком слишком медленно, несмотря на лихорадочные усилия. Костыли

не держали на скользких камнях и кочках, зацеплялись в путанице жестких веточек багульника, травы и корней. Он подбрасывал свое полуживое тело резкими толчками рук, устремляясь навстречу молниям.словно по заговору обернувшейся против него природы, скопление молний оказывалось в таком отдалении, что он не успевал доползти, или близкие разряды прекращались слишком скоро. Александров сам себе напоминал черепаху, гонящуюся за быстрыми птицами. Насмешливо и свободно молнии уносились вдаль в тот самый миг, когда он, казалось, уже приблизился к месту их страшного буйного танца. Много раз геолог, совершенно выбившийся из сил, впадал в полубеспамятство и лежал, поливаемый холодным грозовым дождем, пока резкий ветер не приводил его в себя. Александров полз к своему шалашу, разжигал дымный костер и кое-как сушился. Несмотря на тучи комаров, он забывался лихорадочным сном, пока грохотанье, от которого содрогалась земля, не возвещало ему о прибытии нового отряда туч. Воля к борьбе не иссякала, но, может быть, только насыщенная электричеством атмосфера гор спасала геолога, когда, казалось, он обязательно должен погибнуть от холода, сырости, переутомления и недоедания. Три-четыре раза молнии ударили так близко от него, что Александров на время слеп и глух. Окружающее неистовство грома и слепящего огня ускользало из его сознания. В этих случаях Александров упустил возможность проследить за повторными ударами молний и заметить место колыпками, связка которых висела у него на шее. Назревала трагедия, сулившая бесплодный конец его усилиям. Близкая молния лишила возможности наблюдать, а только с помощью близких молний геолог надеялся нащупать место залегания рудного тела.

Наступили ясные, солнечные дни. Александров отдохнул от полубредового напряжения и преодолел странный гипноз горной грозы. Он смог поразмыслить над результатами своего двухнедельного житья среди молний. Геолог уверился, что под болотистыми кочками Юрты Ворона залегают металлические руды. Почти не было сомнения в большом количестве рудных жил, рассеявших в глубине плоскогорья, слабо выпуклым куполом протянувшееся далеко на запад по направлению широкой складки метаморфических сланцев, слагавших хребет

перевала. Пляска молний, метавшихся между отдаленными друг от друга участками, внешне абсолютно неотличимыми друг от друга, показывала широкое распространение рудных жил. Возможно, главная масса руды залегала в ядре складки, как в некогда знаменитом богатейшем месторождении свинца Брокен-Хилл в Австралии. Александров покончил с зарисовкой распределения частых ударов молний на площади перевала. Постепенно, день за днем, ночь за ночью, нащупывалось место наибольшего скопления молний при всякой грозе. Там можно было рассчитывать на самое неглубокое залегание воображаемых жил. Геолог переносил свой шалаш поближе к молниевому центру и с каждой грозой приближался к нему. Но дни шли, период гроз мог внезапно окончиться — Александров жил во все увеличивающемся нервном напряжении. Четвертый день не было настоящей грозы, а мелкий моросящий дождь только порождал тревогу, свидетельствуя, что время гроз проходит. В таком состоянии и нашел Александра хозяин, разыскивший новое место его шалаша, в двух километрах к западу от прежнего.

— Ничего, — повторил геолог, избегая укоризненного взгляда лесника, — теперь уже скоро!

— Почему скоро? — оживился тувинец. — Нашел чего?

— Нет, не нашел, скоро грозы кончатся.

— Да-а? — разочарованно протянул лесник. — Скоро, неделя, я думаю.

— Ну вот, через неделю и приезжай за мной. Еще смотреть буду.

— Пх, пх! — качал головой тувинец, ожесточенно затягиваясь из трубки, но ничего не возразил геологу.

Они выпили чаю с лепешками и медом, привезенными из селения как подарок лесника. Затем тувинец взгромоздился на коня, и Александров остался снова наедине с шелестом ветра на пустынном перевале, с неотвязной болью в пояснице и привычными невеселыми мыслями.

Прошло еще два дня — солнечных, сухих и ветреных.

Александров уныло отлеживался в шалаше, поддаваясь гнетущей усталости, не покидавшей его со времени отъезда лесника. Боль в сломанной спине не давала спать, бессонница усиливала дикое нервное напряжение. Александрову казалось, что, если только на секунду он даст себе волю, тогда мрачное душевное угнетение

одолеет. Он закричит, завоет, начнет кататься, кусать и царапать землю, поддавшись темному чувству ярости и бессмысленного отвращения к себе и всему миру, не выдержав отчаянной, безысходной тоски. Геолог вцепился пальцами в кочку под головой, чтобы не поддаться накипавшему в душе жуткому желанию, и замер, не обращая внимания на комаров и залепившую глаза и уши мошку. Александров не знал, сколько времени прошло, когда услышал знакомый отдаленный грохот. Судьба оказывала ему маленькую милость. Как корка, брошенная умирающему от голода, поможет лишь отдалить смерть и тем продлить непужбые мучения, так и приближающаяся гроза уведет его от тоски. Еще два-три часа он будет жить полно и радостно, в стремлениях и борьбе исследователя, в напряжении поиска, этого могучего, глубокого и древнего инстинкта, всегда живущего в человеческой душе!

Александров выполз из шалаша. Тусклая серая пелена затянула восточную половину неба и погасила утреннюю зарю. Ее краски померкли, ветер взвыл, покати́лся по плоскогорью и вдруг утих. Остановленная ночь стала безмолвной, прекратился отдаленный гром. Железное небо тяжко навалилось на придвинувшиеся к перевалу чугунные хребты. Давящая тишина заставила геолога содрогнуться. Надежда на грозу, на возможность забыться в борьбе покидала его в момент, когда дальнейшая жизнь казалась безнадежной и невыносимой. Он отвернулся и хотел заползти в свою сырую пору, как умирающий зверь, для которого отвратительны зовы жизни и свободный простор природы. Чудовищная вспышка и сразу же последовавший за нею оглушительный удар пришпорили его, как смертельная опасность выбившегося из сил коня. Александров рванулся навстречу зеленоватым слепящим столбам, которые встали там, где он ожидал. Гроза была особенно сильной, или он сразу попал в ее центр. Непрерывный грохот будто вдавливал Александрова в землю. Он кренко зажмури́вал глаза, чтобы не ослепнуть от встававших перед ним каждую секунду гремящих столбов электрического огня, плясавших, извивавшихся исполинскими бичами, хлеставших по всем направлениям, сотрясая небо и горы. Казалось, все дрожит в ужасе перед силой этих многокилометровых электрических искр.

Геолог упорно полз, обливаясь потом под струйками холодного дождя. Оглушительный треск разорвал окружающий мир, и Александров перестал слышать, ощущая раскаты грома лишь по сотрясению тела. В глазах за плотно сжатыми веками струилась светящаяся пелена. Он потряс головой, раскрыл глаза, но пелена не проходила, и геолог лишился ориентировки. Это был конец. Как мог он теперь достигнуть своей цели? Детская обида на нелепую несправедливость судьбы, продолжавшей бить его, нанося удар за ударом, потрясла до глубины души. Александров всхлипнул, опуская отяжелевшую голову на мокрую землю, вжимаясь в глинистую почву пылающим лбом. Прикосновение к земле исцелило его, струящаяся пелена неожиданно отошла от глаз. Геолог поднял взор и увидел совсем близко целый пучок зеленых молний, ударивших в ничтожный бугор, заметный по тонкому пруту засохшей лиственницы. Там! Ловя ртом воздух пополам с пахнущей озоном водой, охая и всхлипывая от усилий, геолог рывками бросал свое гнусно тяжелое тело, цепляясь за кочки, щебень, кустарник ободранными в кровь руками. Гремящий и светящийся удар отшвырнул Александрова прочь от желанной цели, но не причинил ему ощутимого вреда. Пусть, ничего не страшно! Стена за стеной огня вставала перед геологом, земля непрерывно тряслась, почва качалась между нестерпимым сверканием и мгновенной глухой черпотой. Но он достиг заветного холмика, разорвал шнурок на колышках и глубоко вонзил один в почему-то теплую мокрую землю. Сознание мутилось. Медленно ворочая мыслями, геолог подумал о совершенной им ошибке. Где же записка на случай, если он не переживет этой рассветной грозы? Едва он полез негнуцимися пальцами за отворот куртки, как оно случилось... Все его тело до кончиков пальцев пронзило ужасающее ощущение — обжигающее, рвущее и в то же время оглушившее смертным покоем. Он не увидел и не услышал ничего, а только вытянулся в сильнейшей судороге, когда десятикилометровый искровой разряд ударил в почву рядом с ним, может быть, прямо в него.

Геолог застыл ничком, обхватив обеими руками заветный колышек...

Но молния в несчетный раз пощадила его. Александров очнулся под теплым высоким солнцем. Ветер, высу-



Чудовищной силы вспышка ослепила его.

шивший одежду на спине, нес свежесть монгольской степной долины. Пригретое плоскогорье расстиралось под голубым небом. Невозможно было поверить в безумный разгул космических сил, пылавших и грохотавших здесь несколько часов назад. Но колышек торчал тут, воткнувшийся косо и неуклюже под самым носом геолога. Александров пошевелился, приподнялся и посмотрел вокруг. Слева, всего в километре, виднелся его шалаш. Кто сможет поверить случившемуся, почувствовать бесконечно долгий путь, который привел его сюда в грозном мраке?

Тупая боль в левом колене удивила его. Посмотрев вниз, геолог потерял дыхание. Приподнимаясь, он сделал то же, что и всякий нормальный человек, но чего не мог сделать парализованный калека! Он подогнул под себя ногу и уперся коленом в землю! Острый камешек под ним дал знать, что нога чувствует! Хрипя разом пересохшим горлом, Александров попытался снова пошевелить ногами. Они работали, двигались! Безмерно слабые, с болтающимися, как тряпки, мышцами, они жили! Александров боялся верить себе. Прошло с четверть часа, прежде чем он решился на вторую попытку двинуть ногами, и она опять удалась! Смутное понимание вселило робкую уверенность в потрясенную душу геолога. Один ли убийственный разряд, или неоднократные удары молний, или страшное нервное напряжение, но что-то сделало свое дело — поврежденные нервы ожили. Внезапно Александров попробовал встать, не смог и тяжело упал на бок. Но секунду ему удалось постоять на коленях... постоять на коленях... Мысли оборвались, и прерывистые рыдания огласили безлюдное плоскогорье. Безлюдное?.. Нет, там, вдали, — всадник, это едет лесник. Почему на три дня раньше? Как он узнал?..

— Утром такой гроза был... я подумал, ехать надо, тебя смотреть. Живой ты, инженер, хорошо...

— Живой я, живой! — так закричал Александров, что тувинец вздрогнул.

— Больной, что ли? Собирайся, повезу наш поселок!

— Повези, только сначала прошу: копай тут, — геолог показал на колышек.

— Нашел? — широко осклабился лесник.

— Нашел! — с непобедимой уверенностью ответил геолог, и тувинец поехал к шалашу за лопатой.

Александров, опираясь на палку, проковывал к столу и достал из заплечного мешка тяжелый блестящий кусок свинцовой руды — галенита.

— Из жилы нового месторождения «Юрта Ворона», — с торжеством сказал он начальнику управления. — Есть смысл ставить там основательную разведку.





АФАНЕОР, ДОЧЬ АХАРХЕЛЛЕНА

Пламя убогого костра мерцало. Огромная равнина — рег Амадрор, обдутая, казалось, до последней пылинки, все же доставляла ветру достаточно песка, чтобы подпортить скромный ужин. Маленький лагерь геологов прижился к склонам песчаных холмов на краю сухого русла — уэда. Тонко шелестели, напевая звонкую и унылую песню, пучки сухого дрипа — жесткого злака Сахары. По склонам дюн с заметным шуршанием скатывался песок, смешанный с кристалликами гипса. Шестеро людей растянулись вокруг костра в одинаковых позах, прикрыв лицо от ветра кольцом руки. Только один, закутанный в просторные складки темной одежды, лежал на животе в свободной позе, высоко подперев голову, и смотрел не мигая в темную даль над костром. Отблески слабого пламени плясали в его больших темных глазах, едва различимых под покрывалом, надвинутым на лоб и закрывавшим рот. Узкая рука с длинными пальцами лениво перебирала застежки седельной сумки, подложенной под голову.

— Тирессуэн! — окликнул его низкорослый, плотный человек в защитной рубаше и шортах. — Будет ветер ночью? Надо ли ставить палатки?

— Не надо, капитан, — ответил Тирессуэн, — ветер утихнет через час.

Капитан удовлетворенно хмыкнул и щелкнул портсигаром.

— Почему ты так уверен? — спросил юноша, лежавший рядом, поднимая угловатые брови и щуря от пыли бледно-голубые глаза.

— Дрин прощается с ветром, — отвечал, не поворачивая головы, Тирессуэн, — он поет гуще тоном. Послушай сам!

Юноша приподнялся и громко обратился к капитану, перейдя с арабского языка на французский:

— Не могу поверить, что этот важный черт действительно прав! Очень он уверен и быстро находит на все ответ...

— Полегче, Мишель, туарег знает наш язык!

— Как бы не так! Он говорит с нами только по-арабски или на своем ужасающем тамашеке.

— Туарег без крайней необходимости не будет говорить на языке, которым плохо владеет. Гордость и застенчивость этих детей пустыни еще надо понять, — скороговоркой ответил капитан, искоса поглядывая на неподвижного, как темно-синяя статуя, туарега. — Наш проводник окончил начальную школу в Тидикельте и, без сомнения, знает французский. Новые веяния коснулись его — видишь, он курит сигареты и не таскается с вечным копьём и щитом. Но уж что касается Центральной Сахары, тут нам очень повезло. Для поисковой экспедиции такой проводник — клад! Знающий всю страну и много ходивший с экспедициями — следовательно, понимающий, где могут идти автомобили...

— Мне не верится, чтобы такую проклятую богом местность можно было помнить во всех ее подробностях, убийственно однообразных...

— Только на ваш взгляд, Мишель, но не для сахарского кочевника и даже не на мой. Здесь судьба каждого путника и каравана всегда зависит от точности следования по маршруту. Впрочем, устройте пробу, убедитесь.

— Каким образом?

— Ткните пальцем в первое попавшееся место карты и спросите о нем Тирессуэна.

— А! Интересно! Я сейчас! — Юноша пошел к машине, угрюмо черневшей силуэтом в стороне, и вернулся с кожаной сумкой.

Лежавшие у костра сели, поджав под себя скрещенные ноги.

— Тирессуэн, можно тебя спросить? — вкрадчиво начал по-арабски Мишель, прижимая указательный палец к смутному узору горизонталей, в то время как другой геолог подсвечивал карманным фонариком.

— Спроси, я отвечу, — не меняя позы, согласился туарег, — если смогу.

— Ты был в Анахаре?

— Был.

— Знаешь ли там гору Исседифен?

— Горы Исседифен там нет, — спокойно сказал Тирессуэн, — есть гора Исадифен против адраара Незубир, в центре Анахара, и есть гурд Исседифен южнее, в Хоггаре, на юге адраара Тенджидж...

Растерявшийся Мишель увидел широкие улыбки своих товарищей и вспыхнул от необъяснимой злобы.

— А дальше? — пробормотал он.

— Дальше на юг? — переспросил туарег. — Там будет широкое тассили...

— Какое тассили?

— Тассили Тин-Эгголе.

— Ты что, и там был?

— Был, шесть лет назад. С профессором Ка-По-Рэ... — Тирессуэн замолчал и замер, прислушиваясь.

Французские путешественники последовали его примеру.

— Мотор, — первым нарушил молчание Мишель.

За черным обрезом низкого плато на севере разлилось туманное облачко света, стало ярче и превратилось в два пучка желтых лучей, ударивших в звездное небо. Машина поднималась по крутому северному склону плато. Еще несколько минут — и глухое урчание мотора превратилось в звонкий гром. Лучи фар пронесли над головами ожидавших, метнулись вниз и слепящим пятном пробili темноту. Огромный белый грузовик, завывая передачами и тяжело переваливаясь, всполз на бугристые пески, окружавшие лагерь. Он замер в полусотне шагов от костра, дыша жаром натруженного двигателя, запахом горячего масла и резины. В широкой кабине зажегся тусклый свет.

Оттуда, устало потягиваясь, вылезли трое людей. Самый высокий и тучный бодро зашагал к костру, и к нему устремился капитан.

— Кто это? — на ходу спросил его Мишель.

— Археолог, профессор Ванедж, кто же еще! — вполголоса буркнул капитан.

— Кого ждали?

— Черт вас возьми, конечно! Скажите Жаку, чтобы он развертывал рацию. Сообщить о встрече наших отрядов... Рад встретить вас, господин профессор!..

— А я еще больше! — громко и весело заявил археолог. — Крутятся в лабиринте тассили, я боялся вас не найти. Но вы оказались точно в намеченном на карте пункте...

— Мы с Тирессуэном.

— Это очень важно. Вы говорили с ним... предварительно?

— Нет, ждал вашего прибытия. Успеем. Хотите ужинать? Но вода плохая...

— Благодарю, мы ели три часа назад. Могу вас угостить холодной содовой или лимонадом. Сегодня из отеля мосье Блэза!

— О, вы посланец небес!

— Всего лишь Сахарского комитета исследований!

Долговязый радист Жак возплся у станции, устроившись на широкой плите песчаника, наполовину погруженной в дно узда. Разноязычный говор, треск, мгновенно обрывавшиеся музыкальные аккорды — вся сумятица эфира, пропизанного десятками тысяч передач, в суровом молчании пустыни, заглушенная рыхлыми обрывами сухого русла, казалась жалкой. До костра достигал лишь неясный шум. Профессор и капитан негромко разговаривали, прибывшие с археологом делились новостями. Туарег вытянул свое длинное тело поодаль от французов и, глубоко задумавшись, неторопливо курил, освободившись от лицевого покрывала и поднося ко рту сигарету плавными движениями обнаженной до плеча руки. Каменный браслет охватывал руку выше локтя — дань старине, прежде служившая защитой от сабельных ударов.

— Интересно, о чем он может думать? — спросил Мишель, глядя на проводника, когда новости и сплетни были исчерпаны.

— Что тебе за дело? — лепиво ответил один из собеседников. — Мало ли о чем может думать туарег!

— Он молчит, пока едем, молчит на привалах. Но не спит и не дремлет — очевидно, о чем-то думает. Я наблюдаю за ним!

— Мишель, у вас странный интерес к Тирессуэну, — вмешался вдруг капитан. — И, мне кажется, с изрядной долей неприязни. Смотрите, чтоб дело не кончилось каким-либо конфликтом. Мне не хотелось бы лишиться... вас!

— Ах, вот как! — вспыхнул Мишель, но сдержался и, стараясь казаться спокойным, добавил: — Честное слово, мой капитан, я только любопытствую. Я впервые в Сахаре, и этот народ интересует меня: прежде знаменитые разбойники, рабовладельцы, говорящие на неведомом никому языке, с тифинарской письменностью, которую хорошо знают у них только женщины. Женщины у них главенствуют в роде, свободны и не закрыты, как у окружающих мусульман. Туареги живут в самом сердце Сахары и, вместо того чтобы превратиться в дикарей, усвоили манеры под стать нашей аристократии — смотрите, сколько важности в Тирессуэне! А помните: там, на юге, юлемиддене, так, кажется, зовут это племя. У них, как у всех здесь, отняли рабов, так они — ха-ха! — пасут коз сами, подгоняя их своими длинными мечами. Смешно! А мне хочется знать, о чем все думает наш проводник! Об оставленной где-то в пустыне жене или о былом раздолье грабежей?

— Вы не представляете, молодой человек, — внезапно сказал высоким голосом археолог, — какой богатой фантазией обладают эти сыны пустыни. В их шатрах — кстати, у них не арабские шатры, а кожаные палатки — вы услышите такой букет сказок, легенд, притч и пословиц, какого нет, пожалуй, у всех других кочевников мира, тоже немалых фантазеров. Вот хорошее дело, если хотите послужить науке и сами прославиться... Изучите язык туарегов-тамашек и займитесь собиранием этого фольклора. Я писал в Академию наук, что надо немедленно браться за это дело — туареги, по-моему, быстро исчезнут, отдельные племена уже сейчас насчитывают по несколько десятков человек; например, кель-ахнет — их осталось двадцать три человека. И на каждого примерно по тысяче квадратных километров пустыни! Или вот Тирессуэн — он

соседнего с ними племени тай-ток, их не более ста человек вместе с их имрами — вроде вассалов, что ли...

— Будь я проклят, если когда-нибудь... — начал Мишель и осекся под осуждающим взглядом ученого.

Тирессуэн не прислушивался к болтовне беспокойных и истеричных европейцев.

Он думал об Афанеор и о том, как совершить для нее невозможное. Афанеор — луна, богиня со страшной властью над бесконечными просторами пустыни. Знакомые с детства места становятся какими-то другими с ее появлением на небе — она приближается к земле и сливается с ней. Холодный свет луны ложится покровом тайны на любую местность. Даже безрадостный Танезруфт кажется серебристым морем, а черный панцирь тенере становится прозрачной сокровищницей — необозримой россыпью кусочков серебра. И Афанеор, девушка, его избранница, тоже обладает непопятной властью над ним, как луна над землей. В ее присутствии он изменяется, открывая в себе необузданные мечты, звучащие песнями, томящие жаждой прекрасного, не менее острой, чем жажда в пути сквозь песчаную бурю.

Не колдунья ли эта невысокая девушка? Она происходит из племени тиббу, родом из южного Феццана, но воспитана туарегами — злой старухой могущественного племени кель-аджеров. На юг от Феццана, не в душных оазисах, а среди низких разрушенных скал и в горах Тибести, живут «люди камней» — тиббу, потомки очень древнего народа гарамантов, не покорных никому волшебников и наездников, которых боялись и старательно истребляли древние римляне и арабы. Кель-аджеры тоже считают себя потомками гарамантов, но у них он не видел ни разу такого цвета кожи, как у Афанеор и ее соплеменниц, — светлой красно-коричневой с характерным металлическим отблеском.

Тирессуэн достал новую сигарету и покосился на своих французских спутников, следивших за действиями радиста, быстро стучавшего ключом позывные. Перед мысленным взором кочевника пустыни, цепко схватывающего малейшую подробность местности, пронеслась картина первой встречи с Афанеор.

В стороне от торных троп и дорог пустыни, в малоизвестной впадине, стоят развалины древнего города. На каменистой, окруженной изрытыми ветром холмами рав-

нине неожиданным лесом поднимаются остатки колоннад и обрушенные стены. На окраине поля развалин находится большой, выложенный камнем квадрат, обрамленный белыми плитами. С северной стороны на плитах уцелели восемь колонн из белого камня — высоких, необыкновенно стройных и красивых. Некоторые колонны еще поднимают в бледное слепящее небо свои резные верхушки, подобные распускающимся вершинам молодых пальм.

Здесь, где съехались на ахаль — музыкальное собрание — окрестные туареги кель-аджер, случилось быть и ему, одинокому тайтоку.

В ярком лунном свете между светившимися белизной колоннами расположились темные закутанные фигуры мужчин — зрителей и гостей, потому что собранием руководили женщины и они же начинали первые выступления. Мать Тирессуэна советовала ему при каждом удобном случае посещать эти собрания.

— Эти песни, музыка и танцы объединяют и поднимают женщин, — говорила она, — а вас, мужчин, учат любви. Туарегская женщина не проста, и, если ты хочешь долгого счастья, умей обращаться с ней, сделать совместную жизнь как сможешь легче и... интереснее. У нас, кочевников, много свободы, много времени на мечты, сказки и песни. И твоя подруга жизни должна быть товарищем в мечтах, а не только работницей или наложницей, как у других народов. Посещай же эти школы любви, где бы ты ни был!

Тирессуэн, как и всякий туареги, привык слушаться простой и доброй мудрости матери.

Женщины — благородные ихаггаренки, бедно одетые имрадки и даже темнокожие рабыни в своих белых одеждах — составляли немногочисленный оркестр, играя на амзатах — однострунных скрипках, флейтах и отбивая ритм на маленьких барабанах. На середину квадрата вышла высокая девушка. Ее гибкая фигура в синем плаще казалась черным силуэтом на серебряно-белых камнях плит и колонн.

«Песни дрива!» — подумал Тирессуэн, примащиваясь поудобнее и стараясь не шуршать своим жестким плащом о шероховатый ствол колонны. В самом деле, как в зарослях дрива, звенящих под ветром в уздах, музыка казалась хором колокольчиков, то приближающихся, то удаляющихся. Звенел высокий и чистый голос девушки; как

стебель дрина,гнулась ее тонкая фигура в темных складках свободной одежды. Медленно тянули флейта и скрипки грустную, монотонную мелодию. Изредка глухо ударял барабан. В ответ ему руки девушки вздымались плавными взмахами крыльев большой птицы, начинающей свой полет и еще плененной тягой земли. С надменной важностью переступали ноги в цветных, украшенных бусами сандалиях.

Ласковая, грустная песнь, медленные движения убаюкивали Тирессуэна. Он оперся затылком о колонну и впал в приятное оцепенение, следя за певицей из-под опущенных век. Четыре женщины сменили выступавшую. Они выстроились в ряд, то приближаясь к сидевшим у колонн зрителям, то пятясь спинами к хаосу белых плит и камней, оставшихся от римского города. Женщины пели в унисон ритмическую былинку о небесных людях — звездах, слетающих ночью к бесстрашным воинам на их длинном и опасном пути через пустыню. Тирессуэн знал некоторые стихи с детства, и его сонливое состояние усилилось воспоминанием о матери, склонявшейся над его детской постелью в тихие вечерние часы, когда смолкает блеяние коз, удаляются от палаток верблюды и замирает на закате вечный спутник кочевника — ветер. Чтобы не вызвать насмешек соседей, Тирессуэн надвинул край покрывала пониже на глаза.

Должно быть, он проспал какое-то время и очнулся от наступившей тишины.

Произошла заминка — женщины кончили выступление, а мужчины еще не воодушевились на свои воинственные танцы. Там, в тени выступа обрушенной стены, где сидели женщины, послышалась возня. На залитую лунной площадку была вытолкнута среднего роста девушка в одежде, не похожей ни на длинное темное одеяние благородной ихаггарепки, ни на светлое покрывало имрадки, оставляющее открытыми илечи, ни на тонкую дешевую хламиду рабыни-харатинки.

Грубое шерстяное одеяние, по-видимому темно-голубого цвета, подхваченное на бедрах узкой перевязью, спадало широкими складками до щиколоток. Выше перевязи одежда разделялась на две широкие полосы, закрывавшие грудь и спину и соединенные на плечах большими серебряными кольцами-застежками. Руки и бока девушки оставались открытыми, маленькие, белые от пыли ноги

были босы. Густейшие черные волосы, схваченные по темени шелковой головной повязкой, низко спускались на широкий лоб. Узкие, широко разделенные, прочерченные прямыми линиями брови, длинные, тоже узковатые глаза, прямой красивый нос, в котором не было ничего от сухости черт туарегов, небольшой рот, добрая округлость лица — да, девушка казалась чужеземкой. «Не арабка, не кабилка...» — заинтересованно думал Тирессуэн, разглядывая ее из-под покрывала. Девушка повернулась, отвечая кому-то позади себя, и подняла правую руку жестом шутильной мольбы, блеснув в лунном свете гладкой, как полированный металл, кожей, показавшейся Тирессуэну очень темной. Линии ее рук, очертания тела, сквозившие в разрезах одежды, были чеканны, как у французских бронзовых статуэток, виденных им в Таманассете, и так красивы, что у Тирессуэна захватило дух. Он выпрямился. Дробно и ровно запели струны, казалось ведомые смятенной рукой. Голос девушки, сильный и глубокий, заставил вздрогнуть туарега, потянул, повлек за собой. Песня — полная противоположность только что слышанному! Скачущая, мятущаяся, почти неуловимая мелодия, звенящие болью и тоской вскрики, угрюмо зовущие страстные и пизкие переливы, тревожные замирания... Гулкий и зловещий грохот неведомо откуда взявшегося большого барабана, тупые и отрывистые удары маленьких. От этого странно замирает сердце, нарастает дикое желание вскочить, рвануться куда-то!

А волшебство звучного голоса все сильнее томilo и волновало Тирессуэна. Песня металась, как преследуемый беглец в поисках выхода. Торжество, призыв, дикая радость сменялись яростными и тревожными вскриками, стихавшими в мелодии тихой беспомощностью, и опять нарастало яростное сопротивление в резкой смене высоких и низких нот. В такт этой бурной, мятежной и страстной песне девушка, не сдвинувшись с места, отвечала быстрым спадам и переходам мелодии такими же движениями рук, раскачиваниями и изгибами тела.

«Что это? — думал Тирессуэн. — Куда мчится эта песня юпой жизни? Что хочет она, кого зовет с собой? Или, как вырвавшаяся в пустыню арабская лошадь, она несется, не разбирая куда и зачем, наслаждаясь своей силой и быстротой скачки?..»

Ошеломленные незнакомой песней, мужчины не успели опомниться, как певица исчезла в тени. С началом мужского танца Тирессуэн не мог более оставаться в педении. Он незаметно скользнул за обрушенную стену...

— Тирессуэн, тебя зовет начальник! — С этими словами туарег снова очутился в действительности.

Костер догорел. Капитан и профессор, сидевшие у замолкнувшего ящика радиостанции, казались суровыми и величественными в свете высокой поздней луны. Туарег уселся на предложенный складной стул и стал ждать. Что-то нужно французам! Они не звали бы его так торжественно сюда, в сторону, только для обсуждения завтрашнего пути.

— Тирессуэн, профессор Ванедж — знаменитый ученый не только в нашей стране, но и во всем мире... — Капитан сделал паузу, собираясь с мыслями.

Профессор оказался нетерпеливым, как того и ожидал туарег от европейца — новичка в Сахаре.

— Слушайте, Тирессуэн, — вмешался он на отличном арабском языке, — вы можете оказать большую услугу Франции и всему миру... науке. Как-то вы обмолвились капитану, что знаете в глубине Танезруфта, в месте, где не бывал никто из европейцев, древние развалины города. Надо думать — это ключ к древней истории Сахары, всей Северной Африки. Мы проверяли эти сведения, никто не смог подтвердить или отвергнуть их. Но такой знаток Центральной Сахары и такой проводник, как вы, Тирессуэн, не мог ошибиться, и мы хотим, чтобы вы провели нас туда. — Профессор выпалил всю тираду одним духом, словно боясь, что Тирессуэн не будет слушать, и выжидающе умолк.

— Мои знания Танезруфта малы, — спокойно возразил туарег. — Я не был там и не видел города. А по рассказам — есть остатки построек... Но где в Сахаре не говорят о развалинах?

— Но вы проведите нас к тому месту, о котором говорят! — настаивал археолог.

— Я не могу вести к месту, которого не знаю. Танезруфт — это слишком далеко, без воды. Опасно.

— Тогда покажите на карте, где эти развалины, мы... — Профессор осекся от резкого толчка капитана.

Наступило неловкое молчание.

— Теперь говорю я, — начал капитан на ахаггарском диалекте тамашека. — Пятую экспедицию мы делаем вместе, Тирессуэн. И до этого ты ходил с хорошими людьми, большими учеными моей страны. Ты проводил наши машины далеко на запад и на юг. У горы Таманат, близ гурда Дьявола, вы нашли залежи соды в стране Эль-Масс. Еще дальше от гурда Дьявола, в семистах километрах отсюда, ты прошел через опасную себхру Мекеррапе весной, когда страшные бури песка сменяются наводнениями. Вы тогда пересекли ее по всей длине до уэда Ин-Рарис. Со мной ты работал в Тифедесте от Тин-Фидияджа до Амсимассена. Мы с тобой четырежды пересекали Аретхум, и в сердце Ахаггара — Атакоре мы ходили в Тахат и Таэссу и нашли ценную руду всего в одном переходе от Таманрассета. А помнишь тяжелый путь в Танезруфт в прошлом году? У нас сломалась машина в Тас-сили-тан-Адрар, но мы на верблюдах пошли в Тахальру и потом на юг до уэда Танеруэльт... Ох, и досталось там тогда!

Улыбка осветила суровые глаза Тирессуэна в тени покрывала.

— В Танезруфте мы работали успешно лишь благодаря тебе, твоему опыту, уму и отваге. И ты не бывал до того в Танеруэльте. Скажу еще: ты взялся вести ученых в Тибести — крепость племени тиббу, и вы нашли эннери с красными землями и скелетами огромнейших слонов и этим открытием прославились на весь мир.

— И я тоже? — с оттенком наивности спросил туарег.

— И ты, конечно, — не моргнув, солгал капитан. — О тебе написано в книгах.

— Я что-то не слышал! — равнодушно сказал Тирессуэн. — Тогда мне обещали много: медаль, деньги... как это... выкуп... нет, по-другому. — Проводник запнулся по-детски беспомощно, и оба начальника увидели, что этот знаменитый водитель экспедиций еще очень молод. — Ничего не прислали, даже фотографий...

— Люди бывают разные и здесь и у нас, — нахмурился капитан. — Я говорю и вспоминаю это потому, что ты сможешь, если захочешь, вести экспедицию туда, где сам не был. Ты понимаешь местность, ты знаешь, как идут автомобили, а не только верблюды. Тебе за это платят много денег, больше, чем другим проводникам. И мы хорошо заплатили бы... очень хорошо!

— Зачем мне много денег? — беспечно ответил туаре́г. — У моей матери есть все, что нам нужно.

— Действительно, чем их соблазнишь? — негромко спросил по-английски археолог. — Автомобиля или особняка с клочком земли им не надо... если бы он был оседлым, тогда...

— Тогда он не знал бы Сахару!.. Но, ты неправ, Тирессуэн, деньги всегда понадобятся. Знаю, у тебя нет жены, но будет... Может быть, ты хочешь поехать к нам, во Францию, Европу, посмотреть все чудеса нашего мира... увидеть Париж, театры, рестораны, миллионы красивых женщин, поехать на море!

Внезапно глаза туарега блеснули.

Капитан опять слабо толкнул профессора и, протягивая Тирессуэну сигареты, закончил:

— Подумай над этим, Тирессуэн, завтра скажешь свое решение. А сейчас надо пользоваться прохладой ночи, она — увы! — коротка.

Туарег закурил, слегка поклонился и в задумчивости пошел к холмику, где поодаль от лагеря он расстелил свою нехитрую постель.

Лукаво улыбаясь, капитан посмотрел ему вслед, а профессор радостно хлопнул начальника по плечу.

— Ну, кажется, вы проняли невозмутимого сахарца! Неужели им всем так хочется в Париж или Ниццу?

— Поверьте мне, никто из них не может устоять перед тягой города. Где здесь, в Сахаре, эти простодушные и симпатичные дикари смогут увидеть всю мощь соблазнов нашей цивилизации? Я изучил кочевников за десять лет скитаний по пустыне. Но действовать с ними надо осторожно — вы чуть не испортили дела. Они медленно живут и медленно соображают, а наша обычная спешка кажется им просто безумием. Вот почему я дал затравку и предложил подождать с решением. И нам, я думаю, тоже лучше отложить все остальное до завтра. Спокойной ночи...

Вопреки мнимой прозорливости капитана, туарег не думал мечтать о Париже и прелестях европейской культуры. Растянувшись на топком тюфяке, положенном на коврик, тканый из жесткого верблюжьего волоса, защиту от «слюны злого духа» — скорпионов и фаланг, — Тирессуэн закрыл глаза. Волнение не дало ему заснуть, и он опять закурил. Как это он не догадался раньше! Слова капитана о жене, мгновенно вызвавшие образ Афандор,

совпали с предложением поездки в Европу. Только тогда Тирессуэн сообразил, что мечта Афанеор может быть не так уж невозможна. Ему следует попытаться. Ему следует попытаться. Ценой похода в безжизненный Танезруфт — гигантскую мертвую равнину в центре Сахары — он может поставить выполнение желания Афанеор.

В Танезруфт есть только два пути — автомобильный и караванный, пересекающие его с севера на юг почти рядом, и более ничего. Когда-то очень важная караванная дорога для вывозки соли из Тауденни в Судан ныне заброшена, как почти все важные караванные пути прошлого. Лишь тысячи скелетов погибших животных, а подчас и людей отмечают белыми пятнами эти занесенные песком старые дороги. Умерла слава азалаев — огромных сахарских караванов, снабжавших страну черных драгоценной солью и доставлявших хлеб и просо не знавшим земледелия кочевникам. Умерла и доблесть туарегов, защищавших караваны от своих же собратьев и облагавших данью купцов, караванщиков и оседлых жителей оазисов, добывающих в поте лица сладкие прозрачные финики. Теперь огромные автомобили привозят все нужное откуда угодно, а на долю верблюдов осталась лишь доставка товаров от торговых складов и баз поближе к временным стоянкам кочевых племен. В Сахаре появилось больше пищи, уже не грозят смертью пятые голодные годы, хотя по-прежнему женщины собирают мелкие беловатые зерна дрипа и по-прежнему в Атакоре собирается чуть ли не весь народ Ахаггара в период созревания тауита — низкорослых пучков травянистого растения с мелкими, как манная крупа, зернами. Собирают и терфас — род подземного гриба, вырастающего ранней весной, после дождей. Хлеб из пшеницы гораздо вкуснее, чем даже просяная каша, но за это надо платить! Где возьмешь денег, если французские власти всячески препятствуют караванным перевозкам, справедливо видя в них объединяющее людей Сахары дело. Мир туарегов, суровый, бедный и свободный, умирает под пятой наступающего пового мира, непривычного и неприятного... Так говорила ему и Афанеор!

Вторая встреча с Афанеор произошла в исконных кочевьях племени кель-аджеров — необъятном лабиринте обрывов, ущелий, останцов и плоскогорий Тассили-дез-Аджер. Окончив экспедицию в Аире, он поехал на север по уэду Тафассасет. От палаток к палаткам нес его высокий

белый мехари, нагруженный всем нехитрым скарбом путешественника пустыни. Чем ближе, по уверениям местных туарегов, становилось кочевье старухи Лемта, тем большее нетерпение охватывало Тирессуэна. Его мехари, по имени Агельхок, — один из знаменитых в Хоггаре бегунов, часами неся, мерно покачиваясь по плотным, как цемент, глинам солончаков-себхр, осторожно ступал по раскаленным черным камням и щебню, покрывающим плоскогорья, нырял и скользил по склонам песчаных холмов в узких проходах — таяртах. Жестокий пламень дней, режущие холодом ночные ветры, бесконечное одиночество страпника, идущего напрямик не по проторенным путям, — все это, привычное туарегу, совсем не замечалось Тирессуэном. Он сетовал лишь, что верблюд не обладал неутомимостью автомобиля. Впрочем, какой автомобиль мог бы пройти здесь? Путь удлинился бы на тысячу километров, и в конечном итоге неизвестно, кто бы пришел к цели раньше.

Наконец он достиг виадины Тирхемпр и указанных ему трех палаток у подножия горы Амарджап.

Какое вещее чувство предупредило Афанеор о его приезде? Он ехал так быстро, что устлая почта пустыни не могла обогнать его. Но едва он завидел вдалеке черные точки палаток и верблюдов стал подниматься на пологий каменистый склон, как девушка возникла перед ним из-за груды каменных глыб. В пламенном свете солнца ее блестящая кожа была теперь совсем светлой. Синие цветы камеломки, воткнутые над ухом, оттеняли иссиня-черный цвет ее волос. Жемчужинки пота выступили над чертой бровей, когда Афанеор, учащенно дыша, подбежала ближе. Тирессуэн с удивлением заметил у нее в руках пучок мелких цветов горячего красно-оранжевого цвета. Мехари возвышался над девушкой, как боевая башня, и туарег сильно нагнулся с седла. С неизведанным удовольствием он принял редкие в Сахаре цветы из рук Афанеор — подносить их воинам было не в обычаях туарегов. Тирессуэн почувствовал, как запах цветов смешался с собственным запахом девушки — чистым и солнечным, жарким, как могучий полдень пустыни, заставляющий людей склонять головы и прятать глаза под навес покрывала.

Три недели оставался Тирессуэн гостем палаток Лемта. Все сильнее становилась его любовь к Афанеор, вспых-

нувшая внезапно на музыкальном собрании у римских развалил. Женщины туарегов, владевшие языком и тайнами тифинарского письма лучше мужчин, свободные спутницы жизни, незакрытые, превосходные воспитательницы детей, были гораздо выше женщин арабов — все еще пленных узниц женского отделения шатра или половины дома, невежественных, придавленных тяжелой пятой военной религии.

Где плен и насилие, там становятся шатки устои морали. Только в свободе человек понимает необходимость строгих правил жизни. Сын Сахары женится на женщинах своего народа или дочерях родственных берберских племен — кабиллов, но избегает женитьбы на чужеземках, инстинктивно чувствуя, что ему нужна взращенная пустыней ее неприхотливая дочь. Афанеор была чужеземкой из страны Тиббу. Однако Тирессуэн видел, что она ни в чем не уступает женщинам туарегов. Она даже превосходила их, эта наследница волшебников — гарамантов, — древних эфиопов эллиских мифов.

Откуда были ее познания, он не успел еще расспросить ее, больше рассказывая о своей жизни. Он родился в исконной земле тай-токов Ахенете. Потом, когда колодцы Ахенета иссякли и дыхание смерти пронеслось над страной, тай-токи ушли вместе со своими имрами на юг — в Ахаггар и Аддар-Ифору. Но его родители, у которых он остался единственным сыном, переехали в Тидикельт, а маленького Тирессуэна выучили западной мудрости и языку в начальной школе. Едва подростки, Тирессуэн начал скитальческую жизнь вместе с отцом — проводником караванов, который научил его всей древней мудрости путей через пустыню. Отец так и погиб в пути, и Тирессуэн заступил на его место. Отец был из тех гордых тай-токов, которые не считали себя ни владетельными пхаггаренами, ни подневольными имрами. Таких бедных, свободных, трудно живущих туарегов насчитывалось по несколько десятков в разных небольших племенах. Они добывали средства к существованию работой проводников или перегонщиков стад на новые далекие пастбища и становились самыми закаленными кочевниками Сахары, не уступавшими даже племени тиббу с их сказочной выносливостью в беге, езде и охоте.

— Но Тирессуэн не имя? — лукаво поглядела на него Афанеор.

— Не имя, название места, — признался он. — Это для французов.

— А настоящее имя? — настаивала девушка.

— Иферлиль.

— Мне нравится оно. Мое имя тоже мне нравится, и жаль, что это всего лишь прозвище... Его придумала старая Лемта, когда меня взяла.

— Она хотела назвать тебя древней богиней луны нашего народа?

— Вовсе нет. В честь Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Ахархеллена, большого вождя кель-аджеров? Я слышал о нем!

— Да, он правил здесь пятьдесят лет назад. И у него была дочь Афанеор, прекрасная и мудрая девушка. Первая женщина туарегов, которая стала думать о прекращении исконной вражды кель-аджеров и кель-ахаггаров и вообще всех племен туарегского народа, белых и черных...

— Разве это было возможно?

— Французы сделали это силой и унижением нас. А если бы мы сами? Нет нигде народа, подобного туарегам. Несмотря на войны, на древние обиды и кровь, разве не считают себя туареги потомками мудрой царицы Тин-Хинан, могила которой в уэде Абалесс и сейчас, полторы тысячи лет после ее смерти, священна для всех племен. Разве не считают себя и тай-токи и юлемиддены одним пародом? Туареги — путники и воины, не привязанные к домам и вещам, — глядят широко в мир; вот за что я люблю наш народ. Наша жизнь не сходится в одно место, где есть вода и растут пальмы или просо, где жили родители и предки.

— Ценой трудной жизни в пустыне, страдая от жары и холода, от жажды и малой еды, мы приобрели большую свободу, — ответил Тирессуэн, не понимая, куда клонит девушка.

— Да, ушли в сердце пустыни, чтобы сохранить свободу. Вокруг, будто волны моря, текли, сражались, покоряли один другого, избивали друг друга разные народы — на плодородных, удобных для жизни землях, на берегах моря и больших рек. Но, чтобы жить в пустыне, надо было воспитать себя для этого — вот в чем были преимущество и сила туарегов...

— Были? — быстро спросил Тирессуэн.

— Да, его теперь нет. Автомобили и самолеты дают возможность проникнуть в глубину Сахары любому европейцу. Изнеженные французские женщины посещают теперь страшный Тифедест, когда-то недоступное непосвященным обиталище духов, и пьют ледяные напитки у черных скал с загадочными рисунками и письменами. Чужая жизнь, совсем не похожая на нашу, властно ложится в пустыню, и ей нет преграды.

— Может быть, паша сила в том, что мы рассыпаны по необъятной пустыне, не зная болезней, тесноты и мелководушья, как в оазисах. «Отдалите ваши шатры, приблизьте ваши сердца» — хорошая старая пословица, — рассмеялся Тирессуэн. — Все равно владем пустыней мы.

— Напрасные слова! Рассеявшись, мы потеряли силу! Нас становится все меньше, а жизнь делается труднее детям, чем отцам. Теперь европейцы заразили нас желанием легкой жизни. Но, добывая деньги, мы потеряли половину стад. Даже топлива не стало в пустыне — сожгли, приготавливая дорогую пищу, на кухонных кострах...

— Плохое будущее! — нахмурился Тирессуэн. — Я тоже его вижу в своих скитаниях. Но зачем затеяли мы этот разговор? Будто нет слов о другом?

— Я вспомнила об Афанеор, дочери Ахархеллена.

— Зачем? Умерший человек — высохший агельман.

— Нет! Пройдут дожди — и агельман наполнится, придет нужда — и человека вспомнят! Старая Лемта сказала мне... — Девушка осеклась, чуть было не обмолвившись о тайном союзе женщин, который создавала Афанеор.

Женщины у туарегов — гораздо большая общественная сила, чем у других народов Сахары. С их помощью хотела умная дочь вождя возродить древнее единство туарегов времен царицы Тин-Хиная.

— Сказала тебе? — повторил Тирессуэн.

— Она рассказала мне об Эль-Иссей-Эфе, об Афанеор и о великой северной стране. И я решила, что всю жизнь буду искать человека, который может побывать там.

— И ты его нашла?

— Еще нет, — протянула Афанеор, отвернувшись от туарега.

Тому стало жарко под низкой палаткой.

— О какой стране говорила старуха? — нетерпеливо спросил Тирессуэн.

— Не она одна! Есть предание... Поедем на могилу Афанеор, к горе Атафайт-Афа. Хорошо? — Внезапно девушка обвила руками шею Тирессуэна и притянула к себе так сильно, что он уперся ладонью, чтобы не упасть.

Молодой туарег забыл про невзгоды и удачи. Все псеобъятное пространство пустыни исчезло в глубине темных глаз, широко раскрывшихся навстречу его взгляду...

Два верблюда мерили размашистой иноходью пустынное плато, начисто сожженное солнцем. Ярко-желтые песчаники, плитами и уступами выступавшие из-под крупного гравия и щебня, покрылись коричневой блестящей коркой. Мехари осторожно обегали эти уступы, скользкие для их широких мозолистых ступней. Афанеор, закутанная до глаз в темно-синий плащ, казалась незнакомой и отчужденной. Молча всматриваясь в какие-то ей одной известные приметы, она ни разу не заставила мехари замедлить свой бег. Гора приближалась. Верблюды пошли по твердому дну крутого узда, лавируя между остроугольными обломками скал. Гора вознеслась над уездом отвесной стеной, расщепленной посередине, будто врубом гигантского топора. Вздрыбленные и отогнутые назад пласты плотного темного камня выступали на отвесной груди горы грубыми продольными ребрами, срезанными и стертыми наверху многими тысячелетиями песчаных бурь. Моряк сравнил бы выпуклую стену горы с падутым парусом, но туарегу она казалась крепостью злых духов, властвовавших здесь в незапамятные времена. Всадники на высоких верблюдах казались перед зловещей горой ничтожными букашками. Ветер ударял с разлету в накаленную беспощадным солнцем стену и упруго отскакивал назад, закручиваясь вихрем на дне узда и усыпанной обвалом каменных глыб подошве. Гора отбивалась от людей, приближавшихся несмотря на вихри песка и раскаленное дыхание темной стены. Афанеор повернула мехари, поднялась со дна сухого русла и въехала на закругленный бугор. Отсюда пологий склон плавно спускался на северо-запад к просторному регу, границы которого тонули в зыбкой дымке горячего воздуха, струившегося по раскаленной щебнистой равнине. Холмик гладких, одинаковой величины камней, обнесенный овалом из синевато-серых плиток кварцита, увенчивал бугор.

Столообразная глыба базальта, несколько палок и сучков, украшенных выгоревшими, истрепанными ветром

лентами, означали могилу Афанеор, дочери Ахархеллена. Живая Афанеор встала в седле, чтобы миновать очень высокую, украшенную крестом луку, и спрыгнула с верблюда, даже не заставляя его сгибать колени. Тирессуэн придавил поводья животных тяжелой глыбой и осторожно подошел к могиле. Безмолвная девушка достала из-за пазухи пучок разноцветных лент и стала обновлять убранство. Туарег принялся помогать ей и получил полную любви улыбку.

— Теперь садись и слушай. — Афанеор ловко поднесла зажженную на ветру спичку к его сигарете.

И Тирессуэн узнал старинную легенду о путешественнике Эль-Иссей-Эфе, приезжавшем в страну туарегов более семидесяти лет назад из очень далекой и холодной северной страны России. Он был врачом и художником, жил в Гадамесе и оттуда совершал поездки по пустыне, где и подружился с туарегами кель-аджер. По их приглашению он совершил тайную поездку в глубь Сахары, и впервые кочевники пустыни увидели европейца, не преследовавшего никаких иных целей, помимо знакомства с народом пустыни и с ее природой.

Русский врач пришел, полный уважения к туарегам, их обычаям и суровой жизни. Он отличался удивительной в чужеземце глубиной понимания и чуткостью. С ясной и высокой душой, он, слабый и непривычный, одолевал трудности дорог через пустыню и завоевал путь к сердцам кочевников. Эль-Иссей-Эф скоро уехал в свою страну. Осталась легенда о том, что далеко на севере живут люди, не похожие на других европейцев, но обладающие всей их мудростью, более добрые к чужим народам, которых они считают равными. Память о русском враче сохранилась в народе, и неудивительно, что когда в гости к могущественному Ахархеллену прибыл другой русский путешественник, писатель, по имени, кажется, Немирдап, то Афанеор позвала его на ахаль и сама пела ему. После музыкального собрания Афанеор долго говорила с чужеземцем и окончательно уверилась в правоте легенды об Эль-Иссей-Эфе. Далекая и недоступная кочевникам пустыни страна стала для Афанеор и ее друзей той страной мечты, какая есть у каждого хоть сколько-нибудь знающего мир человека.

Дочь Ахархеллена и ее отец понимали, что прежняя жизнь копчается, что народ туарегов не сможет вечно

скрываться в пустыне, избегая культуры Запада. Но помочь в овладении этой культурой могли бы лишь та страна и тот народ, намерения которого чисты и бескорыстны, иначе вместе с чужой культурой придет гибель туарегов как народа.

Афанеор мечтала сама увидеть Россию, но умерла, не выполнив намерения. Эта мечта продолжала увлекать тех женщин и девушек, которые знали легенду. Так же увлекла она и новую Афанеор.

— Известно, — закончила девушка, — что никто из туарегов или других народов Сахары еще не был в России. Но это нужно сделать! Я тоже поклялась в память дочери Ахархеллена просить своего будущего любимого побывать в этой стране. Мне посчастливилось — меня полюбил самый лучший путешественник Сахары. — В голосе девушки зазвучала гордость. Она подняла голову и сделала шаг к Тирессуэну. — Перед могилой Афанеор я прошу тебя — поезжай в страну русских, посмотри этот народ, расскажи нам, есть ли правда в легенде об Эль-Иссей-Эфе!

Необыкновенная сила убеждения была в словах девушки. Тирессуэн вздрогнул. Ему почудилось, что с ним говорит не его порывистая и задорная возлюбленная, а сама дочь Ахархеллена, вышедшая из могилы, чтобы заставить его исполнить ее желание. Туарег смущенно отступил и пробормотал:

— Никто из нас не был в этой стране. Даже если смогу я добраться туда, что я увижу и пойму в чужой жизни? Без знания языка, обычаев, природы я пройду там тенью, не в силах даже расспросить тех людей, ибо не знаю, что спрашивать...

Афанеор опустилась на землю перед Тирессуэном и обняла его ноги.

— Теперь не то, что было во времена дочери Ахархеллена. Люди летают быстро на большие расстояния, страны приблизились друг к другу. Приезжают из Франции люди, знающие не только арабский, но и наш язык. Может быть, и в России ты встретишь таких людей. Но главное, даже не владея языком и не зная обычаев, просто заглянуть в душу русских, почувствовать силу, знания, искусство этого народа! Я женщина, я не могу поехать, потому что бедна и невежественна, потому что это не в обычаях даже европейцев — они считают нас за темных затворниц ислама! — Слезы покатались по гладким щекам Афанеор, а

глаза на поднятом вверх лице смотрели с такой мольбой, что сердце Тирессуэна сжалось.

Он сделал еще попытку образумить девушку:

— Но ты сама даже не принадлежишь к нашему народу. Что заставляет тебя страдать с ним вместе, думать о нем и посылать меня в такой путь, какого не проделывал еще ни один из туарегов?

Девушка медленно поднялась и опустила глаза.

— Я сирота, вскормленная туарегами, живущая одной с вами жизнью, одними стремлениями... Только, может быть... — голос девушки вздрогнул, — мои чувства просто сильнее ваших. Как и моя тяга к широкому миру без вражды и невежества, к ласке и красоте...

— Я вижу, — ласково сказал Тирессуэн, — но я вспомнил, что мне говорили французы. Страна русских стала другой, там правят свирепые люди, захватившие власть и угнетающие народ. Эта страна грозит сейчас всем, и европейские страны должны вооружаться до зубов, чтобы не попасть под тиранию русских...

— Почему же ты веришь в этом французам? А говоришь, что тебя и нас всех часто обманывали. Может быть, обманывают и с Россией?

— Может быть, — согласился Тирессуэн и умолк.

— Ты, наверно, считаешь меня безумной, — воскликнула Афанеор. — Едем!

Девушка, сделав земной поклон могиле, поставила на колени своего мехари. Перед тем как взобраться на седло, девушка обернулась к Тирессуэну. Ее правая рука поправляла повод на шее верблюда, левая подбирала складки одежды. Спина прикоснулась к шелковистому белому боку мехари, голова откинулась назад. Туарег навсегда запомнил печальный и полный надежды взгляд Афанеор. Еще миг — и ее верблюд бешено рванулся с места. У Тирессуэна был превосходный мехари, но мехари девушки не уступал ему.

Тирессуэн вернулся сюда, в геологическую экспедицию капитана. И вот судьба сама идет ему навстречу! Недостойно воину прятать лицо и убегать от нее. Завтра он согласится вести ученого в Танезруфт.

Весь следующий день потратили капитан и профессор, чтобы уговорить туарегу отказаться от его желания,

Тирессуэн был непреклонен, требуя письменного условия. Капитан уверял, что в Алжире идет война, что власти не разрешат кочевнику Сахары ехать в страну смутьянов. Да и сами русские никого не впускают к себе без особенной надобности — какая же надобность у Тирессуэна? Угрюмый туарег спокойно говорил, что русские обязательно впустят его.

Истратив все красноречие, капитан зло плюнул и приказал радисту связаться с Таманрассетом, а туарег величественно удалился в тень под обрывом, не замечая насмешливых взглядов и оживления людей обеих экспедиций. Особенно ярился Мишель, предлагая арестовать Тирессуэна, доставить в Таманрассет и держать, пока не расскажет дорогу к развалинам.

Никто не знал, какой ответ пришел от больших начальников, только капитан заключил с проводником письменное соглашение, по которому Комитет сахарских исследований обязывался вознаградить туарега туристской поездкой в Советский Союз. Обе автомашины взяли курс на Таманрассет. Шоферы ехали по знакомой дороге, и машины уверенно ныряли в рытвины и сухие русла, вертелись между каменными глыбами, ускоряли ход на талаках — ровных площадках сцементированных солнцем глини.

Часами металась фара по бесконечному щебню и песку, вырывая из теплой тьмы скалистые, присыпанные песком холмы или заостренные скалы из отшлифованных ветром черных пород. В широких сухих руслах появились правильные ряды деревьев: тамариски и колючие акации — тальхи. На холмах торчали кустарники — машины углублялись в горную страну Ахаггар. Уныло завывали передачи на тяжелом подъеме по широкому уезду, стиснутому хаосом острых скал и осыней растрескавшегося камня. В отдалении высились конические горы, как гигантские кучи угля. Черные хребты Хоггара становились все выше, все больше встречалось груд и полей каменных обломков, дорога извивалась, то спускаясь, то поднимаясь. Угольно-черные горы сливались с мраком ночи в единую бесконечность каменной бездны, поглотившей машины.

Внезапно с последнего перевала через очередной хребет сотни электрических огней вспыхнули впереди и внизу в огромной долине, окаймленной хребтами, отдельными пиками, плоскогорьями и острыми, как иглы, вершинами,

обрисовывавшимися в отдалении на зареве поднимающейся луны.

Тирессуэн постучал по кабине, подавая сигнал остановки.

Капитан распахнул дверцу и заглянул в кузов с подножки.

— Ты хочешь сойти, Тирессуэн?

— Да! — ответил туарег.

— Поедем с нами в город. Тебе дадут комнату в отеле, охлажденную льдом, где в самое жаркое время дня будет прохладно, как ночью. Ты сможешь пить ледяные напитки, есть много мяса, по-туарегски жаренного над углями в течение трех часов. Здесь готовят и отличный кус-кус со свежими овощами и крупной цельной пшеницей! Тебе не придется шагать в темноте несколько километров, пока найдешь палатку. Здешнее племя дагхали бедно, возможно, у них не окажется еды... Почему ты боишься города?

— Я не боюсь, капитан. Подумай сам: если я привыкну к охлажденной комнате, к обильной еде, как пойду я отсюда в зной и пламень Танезруфта? Я не смогу более делать длинные переходы, не выдержу знобящие зимние ночи. Мне не захочется больше возвращаться в пустыню, и тогда что я? Презренный бродяга, ничего не умеющий, живущий воровством или подачками в грязи городских степ. Воздержанность моего народа не суеверие и не прихоть — это его жизнь. Прощай!

— На рассвете третьего дня приходи в гостиницу! — крикнул капитан в темноту, в которой мгновенно исчез туарег...

Таманрассет — новый город в центре Сахары, на месте, где когда-то стояли маленький форт-бордж и часовня миссионера. Скопление красных и оранжевых построек выросло в кольце бесплодных гор, посреди искусственно орошенной долины. Зелень ее полей всегда свежая и поражает путника контрастом с морем черных скал Хоггара. Каждое строение, спланированное военными архитекторами, вливается в общий ансамбль особенного модернизированного стиля старинных городов Судана. Широкие улицы чисто выметены и, так же как просторные дворы, обрамлены высокими красными зубчатыми стенами. Свежая поросль небольших акаций, обложенных кольцевыми решетчатыми стенками из больших кирпичей, подрастает в

каждом дворе, на каждой площади. Но еще более разительна щедрая тень высоких деревьев, выросших за несколько лет под жарким солнцем, кажущаяся совсем черной на залитых ослепительным солнцем площадях. Этот городок — удобное и тщательно содержащееся жилище французских офицеров, просторные виллы которых составляют большую часть городских строений.

Вернувшись возрожденными из плавательного бассейна, профессор и капитан наслаждались отдыхом, едой, новостями широкого мира в отличном отеле. Археолог, попивая кофе и покуривая, в несчетный раз возвращался к загадочному желанию проводника.

— Туарег — и Советская Россия! Немыслимо! Откуда могло явиться у нашего Тирессуэна такое несуслазное, а главное — настойчивое желание? Держу пари, что он не слышал про Советскую Россию и кто такие коммунисты, да и русского-то не видел даже на картинке. Чушь какая-то, ха-ха-ха!

— Напрасно смеетесь! — сердито возражал капитан. — Это слишком нелепо и потому серьезно. Кто-то его распропагандировал!

— Агенты Кремля — в Сахаре! Капитан, вы образованный, умный человек, как же вы можете верить в эти сказки для новобранцев и фашиствующих юнцов?

— Э, не с того конца, профессор! Идеи самоопределения народов разносятся по всей Африке не хуже чумы. Пришло время, и с этим ничего не поделаешь — знамение века. А умная политика Советов делает так, что все они смотрят туда... И вот вам самое убедительное доказательство — туарег! А я бы голову дал на отсечение, что туареги меньше всех знают о том, что делается в мире.

— И вчера потеряли бы ее! Но как же будет с поездкой Тирессуэна? Обмануть его мы не можем — потеряем всякий кредит на слово у туарегов...

— Не можем. Что-нибудь потом придумаем... неизвестно, какие там еще будут развалины. Да, по-моему, пусть едет, только ненадолго — ничего не сможет понять сахарский кочевник в столь чуждой стране. Скоро зима, пусть там промерзнет как следует... Войдите! — прервал он свою речь.

Щеголеватый адъютант вытянулся, шагнул за порог, и, козыряя, протянул пакет. Капитан извинился и вскрыл тщательно запечатанное короткое сообщение.

— Прошу передать — явлюсь в назначенное время!
Адъютант вышел.

— Что-нибудь важное? — обеспокоенно спросил археолог.

— Не знаю. Через час буду знать, а пока давайте пить кофе, и черт с ним, с Тирессуэном. Есть интересные новости в «Ла трибюн де насьон».

Капитан вернулся через полтора часа другим человеком, угрюмым и встревоженным, и резко постучал в номер профессора.

— Так и знал, — упавшим голосом встретил его тот, — что-то случилось и мы не едем!

— Вы отгадали! Мне придется направить свою экспедицию в другое место. Выезд сегодня ночью, и я вынужден покинуть вас. Поверьте, я огорчен не меньше и еще более встревожен. У меня совсем отказала радиостанция, и я не смею не выполнить приказа, но и ехать без радио тоже нельзя!

— Может быть, возьмете мою?

— Черт возьми, это спасение для меня, профессор! Однако вам ехать в Тапезруфт на одной машине, без радио рискованно. Не будь у вас такой хорошей машины и, главное, Тирессуэна, я ни за что не воспользовался бы вашей любезностью. Но с таким проводником есть возможность рискнуть, если хотите...

— Конечно, хочу! А что это за внезапное назначение... Простите за бестактность, я часто забываю, что вы военный геолог.

— Видите, теперь без Тирессуэна вовсе не обойтись, даже зная мы место развалин. Пусть едет хоть в Японию, хоть в Тибет, все равно! До свиданья, профессор, я должен идти. Примите еще раз мои искреннейшие сожаления и самую горячую благодарность. За радиостанцией подъедет Жак.

Капитан вышел, проклиная все на свете отборными словами сахарских сержантов. Полученное из Парижа распоряжение не только нарушало все его собственные планы — оно было противно душе любителя природы, всем сердцем привязавшегося к пустыне. Его небольшая экспедиция получила сверхсекретное, почетное в глазах записных вояк поручение: наметить и предварительно обследовать место для ядерных испытаний, запроектированных в Сахаре французским правительством.

В разговоре с генералом уже определилось это место — рег Амадрор, огромная мертвая равнина в семь тысяч квадратных километров, к северу от Атакора, там, где он обрывается крутым уступом на тысячу метров. Но капитан предложил более изолированное, хотя и менее доступное место — пустыню Тенере. Это абсолютно голая и безжизненная равнина, простирающаяся на двести пятьдесят километров между Ахаггаром и Аиром. Даже в Танезруфте в руслах уэдов изредка встречаются тальхи или пучки чахлой травы и редкие антилопы, но на тысячах квадратных километров Тенере вряд ли найдется заметная растительность или признаки животных.

Тенере дальше от населенных мест и дорог, чем Амадрор, и гораздо больше его по площади — вот чем руководствовался капитан, предлагая перенести испытания в эту местность. Однако сила взрывов современных термоядерных бомб так велика, возникающая радиоактивность так сильна и распространение ядовитых продуктов распада так широко, что испытания безусловно нанесут вред всей Сахаре.

Это казалось капитану преступлением, недостойным человека высокой культуры — европейца, в миссию которого он верил. И сам он, выполняющий хотя бы самый начальный этап отвратительного дела, чувствовал себя предателем. Да, он тоже предаст этот свободный мир, широко раскинувшийся в горячем пламени солнца и мягкой ласке поразительно ярких звездных ночей. Мир, который он, как и все обитатели пустыни, чувствовал похожим на небо, близким вечному сиянию космоса. Капитан лихорадочно обдумывал возможность отказаться или саботировать поручение. И, как бесчисленное количество раз до этого, во все времена и во всех странах, услужливая мысль подсказала ему, что он не сможет задержать даже на день то, что совершается. Не он, так другой, третий, десятый, двадцатый — у военных начальников и у правительства было даже слишком много отважных и достаточно умных людей, готовых на все.

И еще задолго до зари машина геологической экспедиции покинула чистенькие улицы Тамапассета и направилась к юго-востоку, туда, где за горами Хоггара и оживленными растительностью долинами Аира распростерлась мертвая Тенере, скрытая крутящимися вихрями горячего воздуха и призрачными стенами миражей.

А еще через день большой белый автомобиль профессора, глухо ворча, одолевал длинный подъем на хребет к западу от Таманрассета. Тирессуэн беззаботно восседал на своем обычном во всякой экспедиции месте — у передней стенки кузова, над открытым окошком водителя, готовый в любой момент указывать направление.

Острые пики Хоггара медленно отступали назад, сменялись более светлыми, округлыми, будто гигантские валуны, горами. В ущельях прекратились каменные потоки с обрушенных крутых склонов. Твердое дно сухих русел стало рыхлым. Гулкое эхо сильного мотора загрохотало по всем направлениям, достигая отдаленных хребтов, чьи ощеренные скалы и пилчатые спины резко обрисовывались позади, на загоревшемся востоке.

Машина раскачивалась, ныряла, содрогалась всем корпусом на сыпучих песках, отчаянно колотилась и дрожала на мелких рывтинах. Пассажиров мотало, бросало и раскачивало, но это был привычный народ, с телами, приобретшими ту автоматическую способность приспосабливаться к любым рывкам машины, какая еще развивается у моряков с многолетней привычкой к качке.

Широкими ступенями спускалась к Танезруфту горная страна. Алый огонь восхода вспыхнул над стеной гор, и от него устремились вниз гигантские косые покровы розовых сумерек. Слоями, один над другим, чередовались разные оттенки розового света, розовато-пепельные внизу, на дне ущелий и у подножий уступов, все более яркие и чистые вверх. По мере того как поднималось солнце и уходила вниз машина, розовый свет, заливший пустыню, бледнел и как бы сдувался жарким дыханием дня. Совершенно черные плато из лав перемежались с утесами розовых гранитов. Темные вулканические пики горели фиолетовым светом в лучах зари. Путешествие всегда облегчается, если местность разнообразна. Скалы Атакора с причудливыми фигурами выветривания, фантастическими обрывами и утесами дают волю фантазии не занятого в медлительном пути ума. Странные лица, маски, враждебные рожи глядят сверху, с обрывистых стен, на поворотах ущелий внезапно вырастают чудовищные звери; заколдованные башни и осыпающиеся склоны кажутся развалинами неведомых городов. В знойном солнце черные камни раскаляются, как чугунные котлы. Горячий воздух струится над ними синеватыми озерами-призраками, а

его восходящие потоки заставляют предметы расплываться зыбкими, неверными очертаниями, в которых глаза, уставшие от слепящего света, могут увидеть невероятные вещи. И европейцы — те, которые приходят к кочевникам Сахары внимательными друзьями, — не перестают удивляться беспредельной фантазии туарегов, черпающих ее из природы своей страны — неиссякаемого источника вдохновения. Пески становились рыхлее, чаще попадались обширные конусы размывов глин, сцементированных жаром солнца. Понижались, отходя назад, горные кряжи; светло-желтые планцы песка взползали выше по их склонам. Казалось, что каменные щупальца горного массива, тянувшиеся вдогонку за путешественниками, бессильно погружаются в море рыхлых песков, мелкого щебня и пестрых глин со сверкающими выцветами горьких солей. Утопавшие в песке пустыни кряжи расходились все шире, пока не разделились на отдельные увалы и останцы, каменными островами поднимавшиеся на равнине. Пояса рассыпавшегося в щебень камня окружали эти острова как свидетельство жестокой борьбы твердой формы с бесформенной рыхлой материей.

Жара усиливалась, высокое солнце изливало поток света, сиявшего так, что он казался серым и ощутимо тяжелым, как свинец. Свинцовой тяжестью он оседал на головы путешественников, сопротивлявшаяся ему кровь бурно стучала в виски, теснила череп нестерпимой болью. Глаза ощутимо вспухали в орбитах, яркие цветные пятна крутились за темными стеклами защитных очков. Водитель и профессор, овеваемые в кабине специальным вентилятором, были вынуждены с усилием прогонять этот цветовой бред перегретого мозга, чтобы следить за дорогой. Но страшная мощь солнца то застилала дали завесой горячего воздуха, то неправдоподобно приближала отдаленные холмы, гряды и песчаные дюны. Все мелкие рытвины, впадины и промоины казались однообразной серой поверхностью, стелившейся ровным ковром. Это затрудняло выбор пути. Машина моталась и завывала еще сильнее, а сила перегретого мотора падала с каждым часом пути, несмотря на радиатор двойной емкости и восьмилопастный вентилятор.

Вняв жалобам водителя, профессор обратился к Тирессуэну, как ни в чем не бывало покуривавшему на своем посту в кузове.

— Не пора ли остановиться и подождать спада жары? Туарег покачал головой.

— Надо беречь машину! — воскликнул профессор. — Почему мы не можем ехать вечером?

— Вечером сюда придет сильная буря, — отвечал Тирессуэн. — Вода в бочках будет высыхать... и придется стоять на месте. Нужно сейчас ехать дальше!

— Почему ты знаешь, что будет буря?

— Здесь всегда бури. Такое место. Горы Ахаггара сражаются здесь с Танезруфтом.

Профессор приказал водителю ехать дальше.

Танезруфт — страна гибели, жажды и миражей — растелился необъятной равниной. Когда-то доступный караванам не во всякое время года и лишь по единственной дороге через колодцы Ин-Зиза и эрг Афараг, страшный Танезруфт оказался удобным путем для быстроходных автомобилей. Правда, автомобили в Судан ходили по той же старой караванной дороге, снабжаясь привозной водой на промежуточной станции Бидон-5. Одинокaя машина археологической экспедиции везла в двух белых бочках солидный запас в триста литров воды и могла не заходить на станцию. В середине дня бензонасос грузовика стал отказываться подавать испаряющийся бензин. Пластмасса рулевого колеса стала обжигать руки водителя, и он обернул руль тряпкой. Пора было сделать остановку. Неглубокое сухое русло приютило путешественников, растянувшихся на песке под машиной. Это единственно возможная в Танезруфте тень — маленький прямоугольник, которого едва хватало на пять человек. Было жутко отойти на шаг от нее, в неистовствующий пламень солнца. Будто все живое исчезло с лица земли и пятеро путешественников остались последними людьми в море слепящего зноя на песке, сверху присыпанном мелким серым щебнем.

Пустыня огнем веяла в лица пришельцев, и от ее дыхания трескались губы, лопались кровеносные сосуды в глазах и в носу, становилось все труднее разлеплять отяжелевшие веки. Во рту появилось отвратительное ощущение — точно язык, покрытый ранами, касался сухой бумаги или ткани. От смачивания водой боль проходила, но вскоре появлялась снова. Люди были испуганы Танезруфтом, но слишком отупели и измучились, чтобы роптать на

судьбу, как неминуемо делают европейцы во всех трудных случаях своей жизни.

Незаметно бесконечный день перешел в вечер, и ярость опустившегося солнца наконец ослабела. Машина выбросила длинную тень, в которой укрылось бы полсотни людей, но теперь в пей не было пужды. Все кругом приобрело отчетливость очертаний, стали видны и пологие волнообразные всхолмления пустыни, днем размытые в сероватом тумане раскаленного воздуха. Вялые и ослабевшие люди расселись по своим местам, водитель, проклиная день и час своего рождения, запустил мотор, и белый грузовик принялся покачиваться и нырять по пологим буграм. Проплыли мимо узкие уэды с одной-двумя пучками иссохших трав. Экспедиция углубилась в Танезруфт — вокруг не было ничего, кроме уплотненного буграми песка, иногда прикрытого полосами и клиньями темноватого гравия и дресвы. Насколько хватал орлиный взор туарега и даже десятикратный бинокль профессора, стелилась равнина, вдали, у горизонта, тонувшая в пылевой дымке.

Внезапно люди встрепенулись. Очень четкие, совершенно прямые линии прорезали равнину Танезруфта на всем ее видимом протяжении, от северного края горизонта до южного. Ближе линии разбежались, разъехались, как пути на железнодорожной станции, и превратились в широкие следы могучих машин. Профессор остановил автомобиль. Путешественники невольно застыли перед величественным зрелищем. Что такое след автомашины на избитых дорогах между деревнями и заводами родной Франции? Совсем обычное дело, не привлекающее ничьего внимания. А на асфальтовых или бетонных шоссе след машины едва заметен и нужен разве лишь расследующему происшествие специалисту.

Но здесь, в глубине страшной пустыни, совсем другое! Вот главный след, глубоко раскатанный широкими шинами тяжелых автобусов и грузовиков, с четкими рисунками протектора. Он уносится вдаль, узорчатый, прямой и непреклонный. Две его колеи постепенно сближаются и наконец сливаются в одну узкую ленточку там, в мутнеющей ровной грани пустыни и неба. Рядом идут еще следы, более старые, частью уже сглаженные ветром, иногда перебрасывающиеся с одной стороны на другую, описывая красивые пологие кривые. Иногда неведомые водители

предпочитали свой собственный путь — тогда, отделенный полосой петропуготого песка от главной дороги, рядом тянулся неглубокий, но отпечатанный во всех деталях протектора след, также прямо несущийся через Танезруфт к невидимой цели. Вся мощь нашего времени, казалось, сосредоточилась в этих стремительных, слишком прямых линиях, знаках победы машины над пустыней, над самой недоступной и опасной частью Сахары, которая не смогла ни задержать, ни замедлить бег железных верблюдов двадцатого века.

Отважные водители жарили яичницу прямо на капотах своих машин, раскалившихся под солнцем Танезруфта, и упорно пробивались вперед, борясь с пугающими миражами. Если туареги видели в зное страшной пустыни Деблиса — демона Танезруфта с пустыми глазницами, одетого в черное покрывало, восседавшего на скелете верблюда и кружившего около обреченных путников, — то шоферы рассказывали иное. У вехи 285, где на строительстве дороги погибло множество осужденных за бунт солдат Иностранного легиона, за автомобилями гнались их призраки — тонкие извивающиеся фигуры, вертевшиеся вокруг машины, с какой бы скоростью она ни шла. Они звали хриплыми голосами, и единственная возможность спасения от них заключалась в жертве бурдюка с водой. Его надо было бросить им, и тогда они отставали, а машина уходила на полной скорости.

Многое чудилось изнемогающим от зноя людям — перегретый мозг вызывал в глазах самые чудовищные видения. И все же прямые линии машинных следов чертили пустыню гигантской линейкой!

Машина археологической экспедиции, постояв немного, пересекла поперек путь трапсахарских автомобилей и пошла печатать свой, здесь, на ровном участке, такой же прямой и отчетливый. Путешественники встретили дорогу между станцией Бидон-5 и вехой 540, далеко к северу от оазиса Тессалит — преддверия уже менее пустынных степей Судана и Нигерии. Одинокая машина долго шла в розовой мгле заката, затем по узкой дорожке света фар в однообразном море ночной тьмы. Короткий почлег, и снова путь с остановкой задолго до наступления жаркого времени дня, под высоким обрывом у начала большого эрга Аземнези. Отсюда дорога сделалась тяжелой — рыхлые

пески покрыли всю площадь эрга волнистой чередой. Машина продвигалась в ней на подстилаемых «лестницах» из связанных цепью деревянных плашек, сделав за вечер лишь несколько километров.

На утренней заре грузовик, словно отдохнувший за ночь, быстро вылез на сыпучий подъем окраины эрга. Дальше на запад местность была усеяна конусовидными холмами песка, туго срезанными на верхушках и покрытыми удивительной рябью — сеткой чапеобразных углублений. Тирессуэн повел машину в обход этих холмов, на подъем к каменистой гряде, внезапно возникшей среди песчаного пространства.

— Далеко ли развалины, Тирессуэн? — окликнул проводника профессор, с тревогой подсчитывавший в уме, сколько литров бензина ушло на борьбу с песчаным дном эрга Аземнези.

— Уже близко, там. — Туарег показал на юго-запад, где на пологом скате гряды виднелось множество закругленных ветром черных глыб, издалика казавшихся толпой каких-то черепахообразных существ.

Ученый вздохнул с облегчением.

— Почему здесь такие странные холмы? — спросил он, указывая на конусы песка с их скульптурной поверхностью.

— Ветер, — лаконически сказал туарег, описывая рукой несколько кругов, и все поняли, что он говорит о крутящихся вихрях, вздымающих столбы песка на высоту в полкилометра и сокрушающих все, что не камень или не вросшее в землю двадцатиметровыми корнями растение пустыни.

Снова медленно ползущие, уподобляясь машине, часы. Опять свинцово-серая мгла тяжелого зноя, звонкий стук пальцев перегретого двигателя, едкий дым горящего масла. Но вот машина поднялась по твердому скату, лавируя между изъеденными ветром валунами. Крутые глыбы, пирамидальные навесы, острые выступы сменялись степами, башнями, воротами... Острая, тревожная догадка заставила профессора встрепенуться. Невежественные и фантазирующие сыны пустыни иногда принимают эти причудливые скалы за развалины. Неужели и его экспедиция сделается жертвой подобной ошибки? Ох, ублюдок дьявола, так и есть!

Туарег властным жестом остановил машину в тот момент, когда водитель собирался заявить профессору о необходимости остановиться и переждать жару.

Вне себя от ярости, с помраченными жарой и тяжелой дорогой чувствами археолог выскочил из кабины.

— Куда мы приехали? Где развалины? — завопил он.

Ясные серые глаза Тирессуэна блеснули гневом под навесом головного покрывала. Неторопливо подняв левую руку с широким кожаным браслетом, за который был заткнут кинжал с крестообразной рукоятью, туарег показал вниз.

Машина остановилась на краю склона плато, заваленного сплошной каменной россышью. Черными контрфорсами спускались вниз сглаженные ветром обрывы, прорезанные глубокими и короткими оврагами, придававшими всей скалистой стене фестончатый контур, будто выполненный руками человека в затейливом архитектурном замысле. Под обрывом стелился небольшой серир — равнина, покрытая обломками отглаженных ветром кремнистых сланцев с углублением древнего озера, от которого осталось круглое пятно островерхих дюн.

А на равнине, отчетливые даже в дымке горячего воздуха, виднелись обрушенные степы, сложенные из глыб красного камня, какие-то пересекающиеся выступы, проходы ворот и улиц. Вот и несомненные башни — только кретин может их спутать с перукотворными созданиями ветра! Площадь развалин была невелика, но постройки очень массивны и обладали чертами большой древности, распознаваемой опытным взглядом археолога.

Французы закричали. Секунду назад готовые смотреть на Тирессуэна, как на идиота и преступника, они наперебой хвалили проводника.

— Зачем же стоять здесь? — воскликнул профессор. — Осталось несколько километров. Развалины совсем близко! — И археолог перевел свой вопрос на арабский для Тирессуэна.

Проводник объяснил, что дальше дорога очень плоха. Будет лучше пойти к развалинам пешком и осмотреть их.

— Нам не смотреть надо, изучать их, — возразил археолог. — Надо пробыть там дня три, сколько хватит воды.

— Лучше посмотреть, потом приезжать снова. Привозить запас воды, пищи...

— Сначала надо выяснить, стоит ли. Бессмыслица — ходить отсюда по жаре, будто мы на курорте... — Профессор спохватился, что туарег не понимает его и смотрит с вежливым, чуть снисходительным любопытством. — Надо подъехать. И сейчас же. Незачем терять время на остановку, а нужно окончательно расположиться на месте исследования! — настаивал археолог.

Туарег послушно полез на свое место у кабины. Машина долго заводилась и наконец тронулась. Проводник, умело выбирая путь, повел ее направо, где плато плавно понижалось и фестоны крутых ущелий превращались в широкие углубления промоин.

Визжа тормозами, машина спустилась по плитам песчаника в углубление, крупный щебень заскрежетал под массивными шинами. Грузовик пересек промоину. Форсируя мотор, водитель кинулся на штурм подъема. Гром мотора, вой низшей передачи и обычное раскатистое эхо. Вдруг стрелка масляного насоса упала налево, к нулю, слабый хруст послышался в недрах двигателя, и побелевший шофер выключил зажигание. Машина поехала вниз, скользя на крупном песке, катавшемся, как дробь, под неподвижными колесами. Все метнулись к бортам в опасении, что грузовик опрокинется. Но машина медленно сползла к промоине и задержалась, упершись в выступ каменной плиты.

— Что, что случилось? — выдавил из себя археолог. (Ответственность начальника, до сих пор существовавшая лишь в плане исследования, вдруг стала огромной перед лицом опасности.) — Попробуйте... — начал он.

Водитель мотнул головой и, запустив мотор, сразу же выключил его. В гнетущем молчании все сгрудились около машины, в то время как шофер полез под капот. Тирессуэн уселся на камнях и переводил взгляд с одного лица на другое, стараясь понять случившееся.

Скоро выявилась вся серьезность повреждения. Маленькая шестеренка масляного насоса разлетелась на куски, повредив вторую. Ошибка ли, небрежность изготовления или плохое качество материала, там, во Франции, угрожавшая лишь волочением на буксире или несколькими часами ожидания, здесь, в Сахаре, для одинокой машины стала смертным приговором. Только профессор и радист знали, что они отдали радиостанцию капитану, понадеявшись на прочность своей машины и обилие

запасных частей. А среди всех этих частей не было пужной, ибо поломка масляного насоса — редкий случай для современного автомобиля.

Пока сотрудники экспедиции осознавали положение — с проклятиями, молчаливой тоской или в трусливом смятении, профессор и туарег, согнувшись над картой, старались как можно точнее установить место аварии. Самое близкое и самое надежное — линия транссахарской дороги, которую они пересекли. Это сто двадцать километров на восток. Если идти прямо в Бидон-5 — сто сорок пять километров. Зато там можно достать шестеренки или вызвать срочную помощь. Европейец в Тансзруфте вряд ли пройдет и шестьдесят километров. Это значит: если за эту попытку не возьмется туарег, то все они погибли.

Европейцы резко изменились. Шумные и нетерпеливые, заносчивые и мелочные, они стали медлительны и суровы. Полные тревоги, они зорко следили за Тирессуэном.

Так мелкие хищники сидят вокруг льва в ожидании, какое решение примет могучий зверь. Так следят обвиняемые за судьей, выпедшим огласить приговор.

Туарег курил, бросая мимолетные взгляды на карту и снова уходя в неподвижное созерцание чего-то, проходящего перед внутренним взором. Все участники экспедиции знали, что Тирессуэн призвал на помощь всю свою колоссальную память и опыт, все рассказы товарищей и старинные предания, чтобы решить, куда идти. Сто сорок пять километров — это было слишком много и для тиббу, не только для туарега, но Тирессуэн считал себя равным этим замечательным властелинам пустыни. Властелинам, завоевавшим ее без технической мудрости европейцев — единственно с помощью своего выносливого тела и стойкой души!

День клонился к вечеру. Тирессуэн словно очнулся. Он откинул назад головное покрывало, тяжело вздохнул и застенчиво улыбнулся. И европейцы увидели, как еще молод и добр этот суровый кочевник, становившийся таким грозным с закутанным лицом, в своих темно-синих одеждах.

— Пойду на Бидон-Пять! — объявил туарег.

К нему бросились, пожимали руки, заискивающе хлопали по плечу, предлагали любые консервы, вино и сигареты.

Туареги не едят ни рыбы, ни яиц, ни птицы, и Тирессуэн опасался консервов. Он согласился взять флягу с водой, немного шоколада и соленых галет, а также набил пазуху сигаретами.

— Возьмите мой компас, Тирессуэн, — предложил шофер.

Но кочевник отказался и от карты и от компаса.

Звезды и солнце — вот безошибочные путеводные маяки туарега, а небо пустыни почти никогда не бывает закрытым.

— Мы так благодарны тебе, Тирессуэн! — воскликнул растроганный профессор. — Мы, если спасемся, никогда не забудем, что ты делаешь для нас...

— Я еще ничего не сделал, — туарег снова стал суровым, — и не для вас — ведь я спасаю и самого себя. Если я буду ожидать счастливого случая, то погибну паравне со всеми. Воды — на пять дней... Что случится за это время?

— Да, да, конечно, — поспешно согласился археолог.

Сомнение метнулось в его следивших за Тирессуэном глазах, губы дрогнули. На лице стоявшего рядом шофера отразился еще более откровенный испуг. Тирессуэн понял. Как все мелкие люди, считающие себя проникательными, они думали прочесть в Тирессуэне собственные мысли и скрытые чувства. Они боялись, что туарег, спасая собственную шкуру, сбежит куда-нибудь.

Подозрение спутников рассердило Тирессуэна, но он поборол себя, сказав:

— Теперь надо спать — до наступления ночи!

Отойдя за каменный выступ, он принялся расстилать плац на маленьком пятнышке тени. Не успел он сделать это, как услужливые руки раскинули брезент, положили мягкий тюфяк. Спутники ходили тихо, разговаривали шепотом. Туарег лежал и думал, почему европейцы могут действительно хорошо относиться к жителям пустыни, лишь когда приходит беда и необходимость в помощи. Европейец становится по-настоящему человечным в тисках жестокой нужды — это туарегу казалось низостью.

Тирессуэн проснулся, как назначил себе — в вечерних сумерках. После молитвы, напившись вволю и немного поев, он повернулся к востоку.

— Барак аллах фик! (Бог да хранит вас!) — сказал туарег и неторопливо зашагал, напутствуемый ободряющими криками оставшихся.

Профессор долго смотрел туда, где растворилась в прозрачной темноте высокая фигура проводника. Снедаемый опасениями, он в сотый раз клялся щедро наградить туарега, если тот вернется... Но ведь если он не вернется, некому и не за что будет награждать. Их найдут, конечно, но какое это будет иметь значение для всей его небольшой экспедиции! И снова археолог проклинал себя, что поддался на просьбу капитана. Никакая опытность не может противостоять случайности, и это он, как ученый, должен был бы знать! К дьяволу эти терзания — радиостанции-то нет!

Молодой ассистент профессора неслышно приблизился.

— Ваши распоряжения на завтра, шеф? — Ассистент был англофилом.

— Подъем до зари. Пойдем на развалины — надо же осмотреть это трижды проклятое место! Огюст, шофер, останется с машиной и приготовит обед. Отправимся мы трое — вы, я и Пьер.

Развалины отстояли дальше, чем показалось профессору. Они были к тому же захватывающе интересными, и, когда археолог спохватился, что пора возвращаться к машине, солнце поднялось уже высоко. Обратный путь показался профессору настоящей пыткой. Борясь с желанием выпить весь остаток воды во фляжке, грузно шагая по хрустящему грубому песку и перекатывавшемуся под ногами черному щебню, археолог чувствовал, что его тело ссыхается в палящей печи. Мысли мутились, назойливо возвращаясь то к ледяной шипучей воде отеля в Таманрассете, то к сказочному разнообразию напитков на любой из улиц Парижа, то просто к холодным ручьям и рекам, которыми он так пренебрегал в Европе, не подозревая, какую живительную силу таят в себе эти потоки обыкновенной воды...

— Воды! — Профессор громко произнес последнее слово, слегка всхлипнув от мысленного зрелища холодного и чистого горного потока, так невыносимо чудесно журчавшего по камням!

— Сюда, шеф, — окликнул его молодой помощник, указывая на небольшой песчаный холм с обрывистым восточным склоном. Растянувшись на земле, за этим склоном, можно было укрыть в спасительной тени голову и плечи.

Ассистент посмотрел через плечо на горный уступ, где засел автомобиль, взвесил на руке фляжку и со вздохом положил ее обратно под бок.

— Кажется, мы никогда не дойдем, — промямлил студент-радист Пьер, перехватив взгляд ассистента. — Время тянется так же медленно, как тащишься сам. И с каждым шагом теряешь силы. Знал бы, взял на плечи ведерный термос...

— И тащился бы с его тяжестью еще медленнее! — возразил ассистент.

— Зато пил бы! Пил! Представляешь, сейчас литра два холодной воды...

— Довольно! — оборвал его сердитый окрик профессора. Архсолог лежал ничком, и его голос шел будто из-под земли. — Я запрещаю разговоры о воде, о лимонадах, о Париже с его кафе и пивными, где на каждом шагу можно пить сколько угодно. Хватит болтать о реках, о купанье!

Молодые люди переглянулись. Никто из них и не думал говорить ничего подобного. Ассистент pokrutil пальцем у своего виска.

— Где-то сейчас Тирессуэн? — вдруг спросил студент. — Что он делает? Нам идти осталось километров шесть, а сколько ему?

Профессор повернулся на бок. Он отчетливо представил себе высокую синюю фигуру, безмерно одинокую среди палящего оксана Танезруфта, такую слабую перед чудовищной силой пустыни.

— Пойдемте, друзья, — твердо произнес он, вставая.

— А что там, профессор? — вдруг спросил студент, показывая на запад.

— Очень далеко до помощи! Огромные эрги и себхры, древняя караванная дорога в Тимбукту и знаменитые соляные копи Тауденни, в которых обитает кучка людей.

— Соляные копи в центре Сахары! Кто же копал там?

— Раньше рабы, а потом и свободные люди, согласившиеся прожить там от одного каравана до другого.

— А если караван опаздывал?

— Все погибали, что и случалось не один раз. Погибали и караваны в пути из Тимбукту в Тауденни. Например, в тысяча восемьсот пятом году караван из тысячи восьмисот верблюдов и двух тысяч людей погиб от

жажды до последнего человека. Никто не спасся! Небольшая ошибка проводников или пересохшие от бурь колоды — и все...

— Золотая соль доставляется в страну черных!

— Вы правы, соль прежде ценилась на вес серебра. Чернокожие люди защищены от ультрафиолетового излучения солнца, зато получают больше нагрева от инфракрасного и сильнее потеют, чем белые. Потребность в соли у них выше. Многие путешественники описывают страшный соляной голод, который мучил чернокожих земледельцев и в лесах и в саваннах...

Ассистент, жадно прислушивавшийся к разговору, остановился.

— О, я понял важную штуку, шеф! Вот почему наш Тирессуэн и все туареги закутаны в свои темно-синие покрывала. Они белокожие, и им надо защищаться от вредного ультрафиолета сахарского солнца!

— Совершенно верно! И добавлю: знаете ли вы, что есть так пазываемые белые туареги? Это чернокожие, которые носят белые покрывала, пронизаемые для ультрафиолета, который им не страшен, но отражающие инфракрасные тепловые лучи, которые слишком нагревают темную кожу. Прежде эти чернокожие были рабами. Им запрещалось законом носить синее, и они ходили в белом — то, что им и было нужно. Пусть-ка поразмыслят над этим господа медики — они мало думают о таких вещах...

Последние сотни метров по крупному булыжнику у подножия обрыва были настоящей мукой. Вода была выпита, и жажда терзала горло, заволакивала красным туманом глаза. Хватая ртом раскаленный воздух, три исследователя вскарабкались на обрыв, одолевая его па четвереньках, и повалились в тень машины, пока Огюст торопливо наливал большие суповые чашки. Жажда не голод, и напившийся человек быстро оживает. Остается лишь клонящая в сон усталость. Охотники за древностями задремали в тени тепта, который Огюст растянул у борта грузовика. Это была уже реальная защита от солнца Сахары, и европейцы скоро ободрились. По обе стороны промоины, в которой засела машина, выпячивались закругленные склоны утесов белого песчаника. Камень покрылся темно-коричневой, почти черной корой, блестящей на солнце, как бресь. Остывание скал в хо-

лодные ночи покрыло склопы широкими трещинами, по которым черная корка отслоилась персиковой шелухой. Ослепительно сверкали белые камни там, где отваливался черный покров. От резкого контраста блестящей, как черное зеркало, коры и спящих белых пятен рябило в глазах. Бескрасочный серый свет над пустыней тоже не давал отдыха зрению. Только глетчерные очки спасали европейцев. Они лучше стали пощипывать, что обычай туарегов-мужчин чернить краской веки возник вовсе не как требование моды или своеобразной эстетики.

Каждая ночь оживляла путешественников после дневного оцепенения. Если день казался океаном зноя и слепящего света, необъятная звездная ночь Сахары ставилась бездной бесконечного неба, упосившего человека в такие глубины и дали чистой прозрачной темноты, что невзгоды, опасности и даже сама смерть начинали странным образом мельчать, уподобляясь исчезнувшей во мраке грозной пустыне.

В Европе кончалась осень. Здесь это время выражалось лишь в наступлении холодных ночей, казавшихся ледяными после адского дневного жара.

Было невыразимо отраднo лежать на спине, закутавшись в шерстяное одеяло, и отдаваться гипнотизирующей власти бездонного неба, погружая свой взор в звездные рои Млечного Пути.

Украдкой подступали мысли о Тирессуэне. Туарег не понес с собой одеяла, и если он не сгорел в огненной печи дня, то неминуемо должен был замерзнуть ночью. А с ним и возможность легкого спасения для тех, кто остался у бочек с водой, под спасающим от убийственных копий солнца тентом, кто укрывался теплыми одеялами в знобящие ночи.

Только на третий день стоянки исследователи отважились на вторую экскурсию к развалинам. Двадцать километров пути туда и обратно были бы не страшны для ночного похода. Но изучать развалины ночью, как на грех безлунную, было невозможно. Волей-неволей археологи задерживались до знойного времени дня, и поход становился для них мучением. Решено было отправиться на развалины к вечеру, успеть там немного поработать, переночевать и воспользоваться всем временем

от утренней зари до девяти часов, когда следовало быть у машины.

Никогда исследователи не решились бы повторить ночевки. На свет костра из развалин выползли тысячи скорпионов и ядовитых пауков — фаланг. Все это скопище ринулось к расположившимся на почь людям. Костерок из жалких стеблей, принесенных с собою щепочек и бумаги быстро догорел, и люди остались во тьме в неравной борьбе с ползучей и ядовитой гадостью. Единственным спасением было поспешное бегство в серир, как можно дальше от развалин. Всю ночь в шорохах ветра людям чудились ползущие скорпионы. Опять не хватило питья, хотя Пьер и ассистент сдержали обещание и тащили в заплечных мешках большие термосы. В третьем походе, снова днем, профессор получил легкий тепловой удар, пренебрегши солевыми таблетками. Его молодые помощники ушли в четвертый поход на развалины, а ученый, ослабевший телом и духом, лежал под тентом. Молчаливый Огюст хмуро поил его бульоном из концентратов. Несколько раз археолог заставлял его пзмерять воду в последней бочке, с ужасом убеждаясь, что они израсходовали ее слишком много в походах сквозь палящий зной Тапезруфта.

Профессор обратил взгляд на восток. Черная россыпь обточенных ветром пирамидальных камешков полого поднималась к серому, угрюмому, без единого облачка небу, сокращая видимость постоянного горизонта до нескольких километров. Туарег должен был появиться неожиданно через несколько минут или дней или не появиться совсем. Профессор вспомнил свои опасения, что Тирессуэн может бросить их на произвол судьбы, но все, что он знал об этих детях пустыни, противоречило такому предположению. Но Тирессуэн мог погибнуть, как безусловно погиб бы любой из них, отправившийся в подобный поход. Если туарег погиб, то все равно идти придется, идти всем! Это будет скоро. Если проводник не вернется через два дня, то надо бросать все, нагружаться водой и шагать по следу своей машины. Археолог представил себе этот безнадежный путь и внутренне содрогнулся.

Свинцовое небо душило его, угасавший после полудня ветер шумел по камням пазойливо и безотрадно. Край тента размеренно хлопал по застывшей машине. Застыв-

шей безнадежно, как эти источенные ветром и почерневшие от солнца скалы, как весь этот сожженный и мертвый мир, поймавший в западню его экспедицию.

Пятый день! Никто уже не ходил к развалинам, экономя воду. Люди валялись, курили, без охоты играли в карты. Профессор заметил, что во всех разговорах старательно избегалась одна тема — предположения о Тирессуэне. Видимо, слишком серьезен был этот вопрос для каждого из путешественников, чтобы обсуждать его в праздной болтовне. Лагерь, автомашинна — все предметы кругом создавали привычную походную обстановку, ничем не напоминавшую о беде. Но пустыня вокруг, мертвая, угрюмо шуршавшая ветром, стояла настороженно враждебная, словно готовясь к решительной атаке на горсточку привязанных к машине людей. Будто они перенеслись на другую планету — настолько не похоже здесь было все на мир, с детства привычный европейцу. Пустыня воспринималась как некая переальность, изменчиво проплывая мимо в быстрых автомобильных маршрутах. Но теперь, окружая маленький бивак уже несколько дней, она стояла неизменной, как вечная угроза всему живому, бесконечно удаленная от многообразного существования людей, от их трудов, развлечений, радостей и горя. Никак нельзя было поверить, что на востоке, всего в полтораста километрах от лагеря, бегут через пустыню быстрые машины. Любая из них перенесла бы всех путешественников туда, где их жизни не будут более качаться на зыбких весах неверной судьбы. Там пролетают аэропланы... Стоит любому из них немного отклониться от обычного пути, тогда их заметят с воздуха и помощь придет через несколько часов!

Шестой день — последний день возможного ожидания. Готовясь к гибельному походу, молодежь не выдержала. Люди напились вина, пытались успокоить напряженные нервы и легче свыкнуться с неизбежным.

Начавшийся день был особенно жарким, точно пустыня, предчувствуя наступающий период прохладных ночей, изливала днем весь запас своей огненной ярости. Профессор, еще не вполне оправившийся от теплового удара, лежал в полузабытии. Медленно, точно увязая в жаркой смоле, ворочались мысли в болевшей голове. Лежавшие вокруг спутники противно храпели, сопели, тяжело вздыхали, беспокойно дергаясь во сне, измученные

зном и тяготевшим пад пими сознанием обреченности. Мрачный Огюст изредка стонал, а Пьер жалобно всхлипывал, выдавая свои чувства в пьяном сне.

Профессор приподнял чугунную голову и механически огляделся по установившейся за пять дней привычке, ничего более не ожидая от изученного до отвращения ландшафта. Вдруг археолог дернулся, провел рукой по лицу, прогоняя сон. Поодаль от машины, на заваленном черными камнями плоском дне промоины росла небольшая тальха. За ней виднелось нечто высокое, белое... Неужели? Да, это мехари! Громадный верблюд приближался к лагерю, пся закутанную в обычное темное одеяние фигуру. Переметные сумки из узорной кожи свисали с убранного серебром седла с лукой в форме креста. К левому боку верблюда была приторочена винтовка дулом вниз.

Комок, подступивший к горлу профессора, помешал ему закричать. Археолог вскочил на ноги. Мехари подошел вплотную. Никогда не думал археолог, что туарег на верблюде окажется таким гигантом. Величественная фигура рыцаря пустыни наклонилась с высоты мехари. Он, Тирессуэн!

Ужасный крик раздался над ухом археолога, заставив его пошатнуться: это увидел туарега проснувшийся ассистент. Его товарищи, не успев подняться, завопили, точно орда людоедов. Все побежали навстречу туарегу, который опустил верблюда и медленно, видимо от большой усталости, слез с седла. На молчаливый вопрос путешественников Тирессуэн порылся за пазухой и протянул на раскрытой ладони две маленькие шестерни, завернутые в промасленную бумагу. Огюст схватил их, всхлипнул, потряс руку туарега и бросился к машине, так ничего и не сказав. За ним поспешил его всегдашний помощник Пьер. Минуту спустя они уже открыли капот и полезли под машину.

Тирессуэн устало потянулся, уселся под тентом и закурил обычную сигарету. Будто и не было серьезного несчастья, не было шести тяжких дней, полных тревоги и опасности. Туарег, по обыкновению, ожидал, пока его спросят.

— Бидон-Пять? — Профессор показал на восток.

— Да.

— Как дошел, тяжело было?

— Да. Много солнца. Торопился!

— Устал?

— Да.

— А верблюды откуда?

— Ездили со станции на машине в кочевье знакомого.

Взял досхатъ.

Археолог прекратил расспросы и предложил Тирессуэну отдохнуть. Через час Огюст и Пьер перемпнались на месте от нетерпения скорей завести машину, но профессор яростным жестом запретил их попытку. Только когда солнце склонилось к горизонту, проводник проснулся. В тот же миг заревел мотор, будто тоже очнувшийся от долгого сна. Все путешественники, не исключая профессора, припались поспешно свертывать лагерь, а Тирессуэн долго пил теплый чай, заедая финиками, которые он отламывал от комка, извлеченного из седельной сумки, и совал, по обыкновению, под лицевое покрывало, чтобы не показывать рта. Французы подошли приласкать спасшее их животное — и отпугнулись: от мехари исходил отвратительный запах. Тирессуэн заметил недоумение спутников.

— Если верблюд долго идет по жаре и не пьет, он пахнет очень плохо! Я должен был ехать днем, зная, сколько у вас воды.

Профессор, так же как, наверно, и другие члены экспедиции, испытывал желание крепко обнять Тирессуэна, высказать ему горячую благодарность за выручку, за тяжелый, для европейца невыполнимый поход. Но туарег сидел с прежним спокойным достоинством, будто ничего не случилось. Археолог чувствовал перед ним смущение, заставлявшее его сдерживаться.

— А как же верблюд, Тирессуэн? — подошел к проводнику шофер.

— Да, совсем забыл, как же мехари? — спохватился профессор.

— Напоите верблюда, дайте мне запас воды и отправляйтесь, — ответил туарег.

Медленно, обходя каждую выбоинку, грузовик поднялся на плато и повернул на восток по собственным следам. Огюст ехал с предельной осторожностью, твердо решив ничем не рисковать, пока они не выберутся из этой западни и не наполнят водяные бочки. Сверху они еще раз увидели белого верблюда и едва заметную фи-

гуру туарега, улегшегося в тени скалы в ожидании ночи. Тирессуэн явно находился на пределе усталости, и его европейские спутники опять ощутили угрызения совести за поспешность. Но после всего пережитого казалось невозможным остаться здесь лишний час. А туарег... что ж, для него пустыня — родной дом. Их женщины ездят в гости к подругам за двести — триста километров, а мужчинам ничего не стоит провести несколько суток в пути, чтобы услышать новости. Все это так, но, если бы это произошло в другом месте, а не в Танезруфте, тогда бы они уехали со спокойной совестью.

Но машина перевалила за гребень плато, проклятое место скрылось из виду, и оставшийся позади проводник перестал смущать европейцев. В конце концов, до Бидона-5, где они должны его дожидаться, не так уж далеко для быстроходного мехари!

* * *

— Я прошу вас срочно связать меня с министерством, генерал!

— Полно, профессор, стоит ли вам так волноваться из-за какого-то туарега с его бешеными претензиями!

— Поймите, что я, вся моя экспедиция, мы обязаны этому вовсе не какому-то, а замечательному человеку жизнью!

— Он только выполнял свои обязательства!

— Я тоже только выполняю свои. Это для меня вопрос чести. У вас, военных, есть свой кодекс чести, у нас, ученых, свой. Позор, что проводник третью неделю ждет разрешения пустякового вопроса. Болтается где-то около Таманрассета. Хорошо еще, что туареги терпеливы, они не надоедают мне. Наш брат француз...

Генерал поморщился.

— Вопрос вовсе не пустяковый, профессор. Поймите, что у нас непопулярная война в Алжире, чуть ли не с родственниками Тирессуэна...

— Положим, арабы и туареги — мне ли вам говорить...

— Есть еще одно обстоятельство, неизвестное вам. Под честное слово, профессор! Ни одному человеку, ни при каких обстоятельствах!

Заинтересованный ученый согласно наклонил голову.

— В Центральной Сахаре проектируются испытания нашей, французской, водородной бомбы. Понимаете всю сложность обстановки, которая получится, как только секрет станет известным? И он неминуемо станет известен! А мы отправим туарега в Советскую Россию!

— Испытание... здесь... в Сахаре! — Археолог был ошеломлен и потерял все возобновленное после возвращения из Танезруфта достоинство. — Вы будете проводить испытания!

— Да где же еще нам найти столь подходящие условия, черт возьми! Ну вот, вы теперь сами убедились! Еще бокал, профессор?

Археолог молча выпил придвинутый ему анеритив, закурил и решительно выпрямился в кресле.

— Я все же буду настаивать, мой генерал!

— Что ж, я предупредил вас, мой профессор! — кисло усмехнулся генерал. — Я позвонил начальнику южных территорий генерал-губернаторства, директору Службы сахарских дел и военнослужащих, но...

— Очень сложный титул, — усмехнулся профессор. — И он отказал, конечно?

— Да!

— Что ж, одна надежда на Париж!

* * *

Профессор вернулся в свой комфортабельный номер с чувством досады, большим, чем того стоило упрямство генерала. На полированном столе лежали куски древней керамики из развалин в Танезруфте. Археолог задумчиво поднял тяжелый кусок изделия двадцатипятивековой давности, чтобы в сотый раз полюбоваться находкой, предвкушая сенсационное сообщение в печати. Но странное дело, победные результаты экспедиции, чуть было не оказавшейся роковой, как будто потускнели. Препятствием светлой радости исследователя, открывшего для мира новое, не было у археолога. Ему показалось, что поездка туарега в Россию чем-то важнее для него, чем древности, извлеченные из забвения в глубине пустыни. Занимательный собственными ощущениями, ученый вытянулся в кресле и зажег сигарету. Может быть, дело в том, что подсознательная благодарность Тирессуэну еще очень

сильна после пережитых испытаний? Нет, не в этом дело! И не в том, что совесть человека науки, поставившего целью жизни раскрытие и отстаивание истины, была более неуступчивой, чем у политика и военного. Генерал нытался сыграть на его патриотизме. Он сын Франции, не меньше любящий ее, чем этот властный генерал! Но не к лицу ему, человеку мыслящему и к тому же историку культуры, дешевая военная демагогия, высокие слова о миссии европейца, несущего культуру дикарям-туземцам. Вторая четверть двадцатого века наглядно показала человечеству, что все это навоз для почвы, на которой пышно зреет фашизм. И тут еще эта бомба — готовится великое отравление Сахары! В этом случае судьба сахарских кочевников, и без того трагическая, станет попросту ужасной!.. К дьяволу эти мысли! Если он может помочь, то Тирессуэну, но не туарегам вообще. И тиббу, и западным берберам, и арабам севера. Он только археолог, не политик, не финансист, не военный... Ага, пожалуй, вот в чем дело — у него тоже была с детства лелеемая мечта, сказочная страна детских книг, потом романов и кинофильмов, потом и строгого научного интереса — Северная Африка. Родом из департамента Нор, он неудержимо стремился к заветной стране, казавшейся ему — что уж скрывать от самого себя — гораздо прекраснее, чем он нашел ее, впервые попав сюда тридцатипятилетним человеком... Может быть, потому, что он был не молод, получил уже от жизни изрядную долю усталости и скептицизма? Но туарег молод и тоже стремится в страну своей мечты. Чепуха, что он подвергся пропаганде каких-то таинственных коммунистов в центре Сахары! Как ни мало еще он знает туарегов, бессмыслица очевидна. Может быть, у Тирессуэна есть возлюбленная, такая же необузданная фантазерка, как и он сам? Она говорит ему о загадочных странах севера, о самой таинственной для Сахары далекой и холодной России... просит поехать туда... Она готова на разлуку, на опасность, на долгое ожидание... Все может быть, и он поможет Тирессуэну не только из-за данного обещания, не в благодарность за спасение, но прежде всего как человек, знающий, что такое мечта!

Судьба покровительствовала археологу (или, может быть, Тирессуэну). Министерские знакомства сделали свое дело. Профессор вручил туарегу билет на трансф-

риканский самолет Аулеф — Марсель и квитанционную книжку Международного союза сахарского туризма.

В зимнее время туристские группы в Россию ездили редко. Туарега должны были присоединить к торговой делегации, отправлявшейся в Ленинград на четыре дня для участия в пушном аукционе. «Хватит с него!» — так звучало решение власть имущих.

* * *

Мехари, сильно раскачиваясь, продолжал свой неутомимый бег, как будто Афанеор только что начала свой пятисоткилометровый путь. Это был лучший беговой верблюд старухи Лемты, по прозвищу «Талак» — «Глина», отмечавшему светло-желтый цвет его короткой шерсти.

Незримая почта сахарских кочевников передала Афанеор зов Тирессуэна. Девушке предстояло разыскать его на окраине эрга Афараг. Она не знала, что заставило Тирессуэна не вернуться к ней после приезда из России.

Каменистое пустынное плоскогорье — тассили — было сплошь покрыто воронками, вырытыми хозяином пустыни — господином ветром. Дальше тассили, понижаясь, переходило в аукер — лабиринт обрывов, промоин, останцов и отдельных крутых, как стены, гребней. Это означало близость большой впадины — эрга. Афанеор никогда не бывала здесь, но выбирала дорогу, ориентируясь безошибочно, с тем почти бессознательным чувством, которое кажется европейцу чудом. На самом же деле кочевник Сахары, с детских лет странствуя по пустыне, научается выбирать наилучший путь при одном взгляде на местность. Этот путь выберут также и другие кочевники — вот почему туарег легко находит след другого туарега, не говоря уж о проходе целой семьи со стадами и вереницей груженных верблюдов. Несколько самых общих указаний о местопребывании Тирессуэна было достаточно для девушки, выросшей в кочевье.

Красными воротами, пробитыми в сияние солнца, потянулось вперед глубокое ущельице. Массивные каменные столбы, высеченные древними волшебниками, шли чередой по обе стороны ущелья и загораживали весь мир своим гигантским частоколом. Косые выступы почерневших твердых плит перерезали каждый столб примерно

на середине его высоты. Девушке казалось, что это стоят арабские воины, одетые в красные бурнусы, с патронными перевязями через плечо... Заколдованные воины замерли в молчании — сюда, на дно ущелья, не доходил неизменно свистевший по пустыне ветер. На каждом повороте вставляли новые воины, и в этом их обязательном появлении было что-то угрожающее, невольно действовавшее на Афанеор. Она возвращалась к мыслям о том, что же случилось с Тирессуэном, раз он не смог примчаться к ней на своем Агельхоке. Что-то случилось! Тирессуэну надо удалиться от людей и дорог... Может быть, он провинился перед властями? Может быть, не следовало ему ездить в Россию, а ей — просить его? Скорей бы! Чем ближе к указанному ей месту, тем длиннее кажется путь и тише бег верблюда.

На дне ущелья выступали плиты камня. При таком крутом спаде ущелье не может быть длинным... Это тин-рерт — боковой «приток» уэда. Скоро красные стены сделались серыми, понизились, разошлись в стороны, и Афанеор выехала в ираззер — главное «русло» уэда Тин-Халлен.

Уэд расстелился полосой плотного песка не меньше двух километров ширины, быстро расприравнейшей к северо-западу, к впадине эрга Афага. Весенние дожди пропитали песок водой — свежая трава, низкая и редкая, покрывала все просторное русло уэда. Издалека ее тонкие стебли придавали дну уэда вид пушистой шкуры, испещренной пятнышками синих, оранжевых и розоватых цветов. Ветер свободно разгуливал здесь, налетая могучим валом с запада. Нежная трава не могла просуществовать и недели под наливающимся злой силой весенним солнцем. Это эфемерное пастбище — ашеб — должно было исчезнуть раньше, чем к нему подошли бы стада. Солнце сильно склонилось к западу и теперь слепило глаза верблюду, но-прежнему бежавшему неторопливой широкой иноходью. Мехари сердился, вскидывал гордую голову с презрительно сложенными губами и, пронзительно вскрикивая, старался дать понять своей всаднице, что надо переменить направление. Но девушка, опустив покрывало на левый глаз, слегка дернула за поводную веревку, и желтошерстный бегун покорился. Ветер дул все сильнее, прижимая мягкую траву к почве. Казалось, что гигантская рука гладит зеленую шерстку уэда Тин-Халлен...

Низкие, сильно разошедшиеся берега вдруг совсем потерялись — начался эрг Афарга. Несколько размашистых шагов верблюда — и, будто заколдованная, исчезла зеленящая трава.

Занесенная песком, изрытая бурями поверхность эрга казалась на всем огромном пространстве совершенно мертвой. Ветер озлобленно рвал, обнажая кое-где иссохшие корни или переметывая трухлявые остатки стеблей — призраки когда-то зеленевших здесь растений. Ни кустика тамариска, ни пучка дриша, ни тальхи... ничего живого. Свырепая засуха умертвила эрг. Афәнеор сообразила, что Афарга сейчас надежное убежище для человека, не желающего лишних встреч. Солнце садилось в красной пылевой дымке западного горизонта, длинные тени ползли по необитаемой равнине, чередуясь со вспышками красного света на острых гребешках песчаных дюн, еще невысоких тут, неподалеку от устья уэда.

Девушка устала и приуныла. Пугающим владычеством смерти веяло от громадного выжженного эрга, чувство одиночества стало гнетущим. Даже презрительный Талак замедлил свой бег, часто озираясь и сбиваясь на рывки. Ветер бросал в лицо горсти песчаной пыли, трепал одежду, бил по щеке краем покрывала. Тягостное предчувствие давило Афәнеор. Чтобы отогнать невеселые думы, девушка отвернула лицо от ветра, стараясь перебить веселой песней его унылый свист. Афәнеор не могла ехать ночью по незнакомому месту и разыскивать приметы, а ночлег тут одинок и уж очень печален... Что это с ней? Или пятисоткилометровый путь слишком утомил ее? Где-то здесь должна быть высокая, отдельно стоящая дюна — гурд... Надо ехать на нее и затем правее... О, аллах велик, то Тирессуэн!

Белый Агельхок был замечен на бледно-серой поверхности эрга только глазам кочевника. Девушка погнала своего верблюда. Талак, заметив собрата, похвещая во весь опор, раскачиваясь так сильно, что моментами казалось, будто мехари свалится на бок. Ветер донес зов Тирессуэна. Радостно прозвучал звонкий отклик Афәнеор. Не помня себя, девушка прыгнула на землю, не опуская верблюда. Башней вознесся над ней подлетевший Агельхок. Ноги белого мехари зарылись в песок, и Тирессуэн соскочил с седла. Афәнеор была поднята сильными руками и прижата к патронным сумкам на груди туарега.

Эхен — кожаный шатер из шкур диких баранов, со столбом в центре, по обыкновению, был обмазан изнутри и снаружи светлой глиной. Надежно укрытый на окраине эрга, шатер Тирессуэна был велик, и девушка сразу поняла, что ее любимый пользовался помощью друзей. Друзья Тирессуэна — кто они? Какие они? Афанеор только сейчас спохватилась, что она не знает ничего из близких ее жениха. С кем живет ее Ифериль — с матерью, родственниками? Девушка знала, что отец Тирессуэна умер, утонув во время внезапного наводнения, какие случаются в Сахаре после ливней...

Коротки были их свидания между поездками Тирессуэна. Она не успела ничего расспросить, слушая рассказы любимого и отвечая на его вопросы. И сейчас он вернулся из России... ему угрожает какая-то опасность! В конце концов, не все ли равно, какие есть у него родственники и где он живет! Ее Тирессуэну покорна вся пустыня, а для нее нужен только он сам...

Холодная ночь высыпала ворохом леденящие далекие звезды. Тусклый огонек маленького костра едва мог согреть скудную нищу. Темнота ночи побеждала жалкий красноватый свет, необъятная пустыня стала невидимой. Двое молодых людей сидели во мраке перед лицом великого нового мира, открывавшегося им в словах и памяти Тирессуэна, в ответном воображении Афанеор. Туарег сбросил свое покрывало. В широкой синей рубаше без рукавов, туго стянутой у пояса, знаменитый проводник казался совсем юным. Горячее возбуждение от воспоминаний об увиденном покрыло темным румянцем его бронзовые щеки, заставило засветиться, как у мальчика, его суровые серые глаза.

Туарег говорил о том, как он поехал через Тидикельт и Ии-Салу в Аулеф, где находился большой аэродром. Огромный самолет, перелетевший море, доставил его в Марсель. Потом его везли в большом автобусе, связанном с целым десятком таких же. Вся связка неслась с чудовищной скоростью и поразительным грохотом. Он был привезен в небольшую гостиницу на окраине города, превосходившего своими размерами всякое воображение, около поля с целый эрг величиной, на котором день и ночь ревели такие громадные самолеты, что в них поместился бы десяток самых больших сахарских грузовиков. Не в пример другим туарегам, считающим, что вся-

кое закрытое помещение — местопребывание злых духов, Тирессуэн не боялся комнаты. Хотя жизнь в гостинице угнетала его, он ожидал там в уединении и молчании три дня. Потом его посадили в один из огромных самолетов, и он снова летел, глядя вниз, но ничего не увидел, кроме бесконечной равнины из белых облаков, в прорывах которых иногда блистала большая вода. Дважды садился самолет в каких-то неведомых странах, но Тирессуэна не отпускали далеко от самолета. После короткого отдыха снова ревели моторы, и самолет опять поднимался за облака. Путь был совсем недолг — меньше дневного перехода. Самолет опустился в туман и сел на гладкое, как талак, место, покрытое снегом. Стало очень холодно. Приветливо улыбавшиеся девушки, подобные служившим в самолете, только говорившие по-французски медленнее и понятнее, отвели его с пятерыми спутниками в холодный, как палатка, автобус и повезли в громаднейший город. Долго ехали они по улицам, покрытым снегом. Их привезли к большому серому дому на площади, украшенной статуей всадника на коне, а поодаль — неопишимо великолепным зданием из полированного серого камня с золотым куполом и высокими колоннами из цельных кусков красного гранита. Тирессуэн привык к домам и более не задыхался под потолками в клетке из каменных стен. Все же он не стал спать на мягкой кровати, вделанной в углубление стены, а улегся посреди комнаты на ковре, где было прохладнее и больше воздуха. На следующий день его повезли через весь город к еще большему зданию, тоже серого цвета, с широкими лестницами, наполненному шкурами невиданных зверей. Покупать эти шкуры съехались купцы разных стран, в том числе и те, которые доставили его сюда. Тирессуэн молча сидел в зале такой величины, что туда влез бы дом губернатора в Таманрассете, наблюдая, как на необъятные столы вываливались связки шкур и седловый человек что-то кричал, стучал молотком, а купцы писали и тоже кричали. Разве за этим приехал Тирессуэн? Что увидит он здесь, в доме шкур? Туарег медленно встал, оглянулся и, видя, что на него никто не обращает внимания, вышел. На лестнице к нему подскочил какой-то человек, показывая на стоявший поодаль черный автомобиль. Туарег отмахнулся от него и пошел пешком, осторожно и недоверчиво разглядывая встречающих.

Тирессуэн старался запомнить дорогу между хмурыми громадами бесконечных каменных домов, таких высоких, что даже большие кипарисы в ущельях Тассили едва достали бы до крыш.

Прохожие встречали его изумленными взглядами — сразу видно было, что они никогда не видели туарегов. Но взгляды их были приветливы, молодые мужчины и женщины весело улыбались, мальчишки некоторое время бежали за ним, как это делают все мальчишки городов Сахары, Нигерии и Франции.

Его поразила одежда женщин — голову и шею они кутали в меха, оставляя обнаженными стройные, покрытые загаром ноги, не боявшиеся резкого, секущего сухим снегом ветра...

Тирессуэн дошел до огромной реки. Исполинские мосты горбились над ней, позади высилось необычайно красивое желто-белое здание с золотой иглой, вонзившейся в низкое, хмурое небо. Не обращая внимания на ветер, туарег пошел через мост и повернул по набережной. Река покрылась толстым льдом, местами изломанным и торчавшим остроугольными прозрачными глыбами, похожими на кристаллы горного хрусталя, которые находят в скалах Тифедеста. Ниже второго моста река была свободна во всю ширину и быстро несла свою чистую воду цвета стали, покрытую рябью под ветром. Туарег облокотился на загородку из глыб красного камня, закурил и начал раздумывать. Громадный город был прекрасен особенной, хмурой красотой. Люди, в нем жившие, казались приветливыми и несердитыми, но крепче всякого забора отделяло от них Тирессуэна незнание языка и обычаев. Кочевник Сахары, тысячи раз пускавшийся в одиночку в самые далекие поездки по мертвым пространствам пустыни, почувствовал себя здесь забытым, чуждым всему и никому не нужным. Даже мехари не было с ним, чтобы разделить его бесконечное одиночество...

Вот она перед ним, легендарная страна русских, мечта его Афанеор. Но что же он расскажет, вернувшись в Сахару? Бесполезен его сказочный путь по воздуху, бесполезны усилия, приложенные, чтобы попасть сюда.

Французы хитры — они сначала не хотели пускать его, потом разрешили поехать на четыре дня с кунцами, засевающими в доме шкур. Они знали, что он ничего не

поймет, не узнает, не поговорит ни с одним человеком. Афанеор просто сказала: «Поезжай, посмотри и расскажи, что увидел!» А что он увидел?

Тирессуэн осмотрелся. Город, стывший на морозном ветру, был запорошен чистым белым снегом — праздничным цветом Сахары. Там, на юге, белое трудно сохранять таким безупречно чистым — это стоит дорого: белоснежные дворцы и дома, автомобили, ковры и циновки. Самые лучшие мехари тоже чисто белые... А здесь белый снег щедро сыплется с неба и не тает, придавая всему нарядный и богатый вид! Небо низкое, будто потолок в большом доме, — сплошная пелена серых туч. Поразительно, но небо здесь более темное, чем земля в ее праздничном наряде!

Нежный сумеречный свет, рассеянный, будто жемчужный, трогательно мягкий, ласкающий, а не убивающий человека, настраивающий его на тихое, грустное размышление. Ночь наступает здесь рано, тянется долго, но она гораздо светлее, чем ночи Сахары, хотя тяжелые облака лишают ее звезд и луны.

Эта страна — полная противоположность пламенной пустыне, сгорающей в неистовом буйстве солнца, сухой и каменистой, ночью тонущей в черной тьме бесконечного пространства под шатром серебристых звезд или сплошь залитой ярким светом луны, накладывающей на все кругом печать волшебства и несбыточных грез...

Тирессуэн закурил снова и повернул к гостинице близ храма с золотым куполом. Туареги заоченел: несмотря на всю его закаленность, одежда была слишком легкой для такой холодной страны. Кончился день — четверть всего срока его пребывания в России. Едва он появился в нижнем зале, как к нему подошла маленькая девушка, служившая переводчицей для приезжающих французов. Широко расставленными глазами и мелкими кудряшками светлых волос она напоминала туарегу молодую овечку. Кочевник, с молоком матери всосавший любовь к домашним животным, никогда не свихший их мяса, может быть, потому относился к переводчице с симпатией. Волнуясь, девушка стала говорить Тирессуэну. Она заметила полную отрешенность туарега от торговых дел и поняла, что он приехал просто посмотреть ее страну. Однако он очень плохо знает французский язык, и, чтобы помочь ему в знакомстве со страной, нужен человек, знающий

арабский. Языка туарегов, прибавила девушка, она думает, никто здесь не знает. Но ее друг изучает арабский язык, был в Египте и сможет быть полезным Тирессуэну. В тот же вечер явился молодой веселый человек с рыжими волосами и лицом, усеянным, несмотря на зиму, веснушками. Французские спутники туарега отнеслись к новому знакомству неодобрительно. После ухода студента они до ночи объясняли ему козни коммунистов и их умение обманывать и опутывать неопытных людей. Но, в конце концов, навязанный им туарег только мешал. Они были довольны, что его смогут занять осмотром Ленинграда и они избавятся на оставшиеся три дня от сурового чужака, который не пил вина, ничего не смыслил в еде и почти все время молчал. На следующее утро студент явился за Тирессуэном. Судьба помогла ему, одинокому и невежественному страннику, хоть немного узнать страну, в которую он понал по просьбе Афанеор...

Туарег замолчал и задумчиво стал подгребать несгоревшие стебли на середину костра. Ветер упал — подошел самый поздний, предрассветный час безлунной ночи, когда ложится лошадь и встает верблюд. Звезды померкли, будто стихший ветер перестал раздувать их огоньки, и на небе едва обозначилась уходящая за горизонт волнистая поверхность эрга. Афанеор воспользовалась задумчивостью Тирессуэна и задала ему вопрос, который сейчас интересовал ее больше всего.

— Это очень важно, — нахмурился Тирессуэн, — и я должен был бы пояснить тебе ранее, но увлекся рассказом. Большая беда надвигается на нас, худшая, чем голод, засуха или война!

— Что же может быть хуже всего этого?

— Помнишь, у могилы дочери Ахархеллена наши думы? Как мы, туареги, сделались владыками пустыни? Ценой отрешения от благ оседлой жизни, закаленным во множестве поколений, привычным к лишениям, скудной пище, жаре и холоду, нам удалось победить пустыню и сделать ее местом своей жизни, недоступным гораздо более многочисленным и могущественным народам. Сравни нас с жителями оазисов — те измождены нездоровым воздухом, поголовно больны лихорадкой, запуганы. В тесноте они начинают и кончают свою жизнь. То же я видел на берегах Нигера, и правы наши отцы, говорившие: «Бойся страны без скал, где растут большие

деревья, — там ты умрешь, а с тобой твой верблюд». Теперь подходит расплата: отказавшись от оседлой жизни, мы отбросили и возможность получить большое знание и остались такими же простыми воинами и скотоводами, какими были предки наших предков...

— Но ты ведь учился во французской школе, усвоил их мудрость! — не сдержалась девушка.

Тирессуэн рассмеялся и ласково убрал со щеки Афанеор непослушный завиток ее иссиня-черных волос.

— Меня только выучили говорить на их языке, и то плохо. Может быть, я неспособный? Французы не верят нам, они следят за нами, всегда судят о нас с подозрением... По-своему они правы! Но все знания о мире и жизни были в их руках, ибо только через них мы узнавали дорогу к мудрости мира. Теперь я понял, какая большая беда, если дорога к знанию находится во власти военных начальников, преисполненных лжи и трусости! Мы можем знать лишь то, что разрешат нам! И мы живем на острове невежества среди громадного мира, в котором, как в пустыне после дождей, бурно растет могущество знания.

— Только в этом беда? — ласково усомнилась Афанеор. — Уйдем с тобой через Ливийскую пустыню к арабам — там, говорят, новые государства, освободившиеся из-под власти европейцев. Там ты получишь знания и... научишь меня. И мы вернемся, чтобы показать этот путь всем. Кто удержит верблюда в песках или туарега в пустыне?

— Беда в другом! Придуманно небывалое оружие — бомба, которую сами европейцы называют адской. Взрыв ее может уничтожить в мгновение ока самый большой город, такой, как Париж или город Лепина, в котором я был в России. Мало того. После взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная отравя. Она проникает в кости человека, заставляет его умирать в мучениях, лишает силы. Она делает мужчин и женщин бесплодными, а нерожденных детей — уродами. Никто не может спастись от яда — он в земле и воздухе, в огне и воде, в пище, даже в молоке матери!

Афанеор в испуге отшатнулась.

— Это так ужасно, что кажется сказкой о злобных джиннах!

— Горько, но это правда! Джинны действительно создали эту страшную штуку. Весь мир в большой опас-

пости, а теперь эта опасность подошла и к нам. Чтобы сделать эти бомбы еще страшнее и ядовитее, они устраивают пробы. Для этого выбирают пустынные, не нужные им места, отдавая их в жертву отраве, и вот французы выбрали Сахару!

— Но ведь не будут делать пробу там, где есть люди?

— Нет, конечно. Я думаю, что они возьмут самую мертвую местность пустыни.

— Танезруфт?

— Нет, там проходит большая автомобильная дорога в страну черных. Они, наверно, выберут пустыню Тенеро или рег Амадрор. Я не знаю, только думаю так!

— Но там и в самом деле никого нет!

— Но яд разнесется оттуда по всей Сахаре!

Афанеор опустила голову и молчала. Тирессуэн закурил, устремив взор в розовую мглу, заливавшую эрг с востока. Девушка, помолчав, сказала:

— И ты, узнав об этом, рассказал другим? И за это военные стали преследовать тебя?

Туарег кивнул, зорко взглянув на Афанеор.

— И ты чувствуешь, что обязан это делать... я то же сделала бы на твоём месте и... буду делать с тобой или одна!

Тирессуэн порывисто поднялся.

— Ты хочешь мне помочь? Ты будешь со мной? Это так хорошо, что даже трудно сказать! Французы — они думают, что наши женщины такие же пленницы мужчины, какими они представляют себе арабов! Поэтому ты не будешь у них на подозрении, а то, что знают женщины, будут знать все!

— Да, я постараюсь — и дети узнают от матерей, мужчины — от возлюбленных, внуки — от бабушек!

— Но ты будешь в большой опасности. Если узнают, то не пощадят тебя!

— А ты что хочешь делать? — упрямо нахмурилась девушка. — Расскажешь все... а потом? У французов — броневики, самолеты, они сотрут с лица земли горстку туарегов... Неужели возможно сопротивление?

— Сопротивляться безнадежно — пустыня вся открыта с воздуха, и мы на ней как на ладони для самолетов. Но весь народ уничтожить не дадут — это я тоже узнал! Теперь другое время, и каждая страна уже не может делать все, что хочет, в своих владениях. Есть собрание

союза стран, есть твоя заветная Россия — она уже выступала на защиту арабов. А мы не дадим привезти ядовитую бомбу ни в Тенере, ни в Амадрор! В пустыне есть тайные источники, не отмеченные на французских картах, есть и хорошие убежища. Если аллах судил нашему народу умереть, то он умрет с оружием в руках, а не подохнет от страшной отравы, как облезлый пес жителя оазиса!

Девушка прильнула к Тирессуэну, обвивая его шее своими смуглыми тонкими руками.

— Ты дашь мне, — ее горячее чистое дыхание ласково коснулось лица туарега, — это... — девушка показала на винтовку, прислоненную к опорному столбику шатра, — я умею стрелять!

— Потом! Сейчас пужнее твое слово и твои песни.

— Я поняла! Но как ты узнал о низком деле, задуманном французами? В России? «Поселитесь под крышей в городе, и низость войдет в ваши сердца!» — верна старая поговорка.

— Нет! Была верна для прадедов в маленьком нашем мире! Я узнал обо всем не в России — во Франции. И там есть люди, много людей с чистым сердцем. Они защищают нас, они пишут, кричат, рисуют — делают все, чтобы не дать отравить Сахару. И еще множество людей во всех странах...

— Тогда почему же не запретят совсем эти адские бомбы?

— Есть страны, где народ под гнетом власти, тем более сильной, чем выше стало могущество оружия. Когда-нибудь, если смертельная опасность наступит им на горло, народы поднимутся, презирая смерть, и никакое оружие не спасет зарвавшиеся власти. Найдут самую глубокую на земле пещеру и закопают там навсегда ужасное порождение злых джиннов.

— А сейчас?

— Прости их, они не воины! Еще очень плохо — людям так много лгали, что они не верят друг другу более, не верят никому, хотя бы тем, кто пришел открыть им глаза и спасти их. Это самая большая беда для народов Европы.

— О да! Лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее

сердца! Но что же увидело твое сердце в России? Теперь я знаю о тебе, иду с тобой, но ты мне не сказал еще всего о путешествии...

— Очень поздно. Завтра мы поедem к ихаггаренам твоего племени. Путь длинен, и ты узнаешь все, что я видел!

Верблюды выбрались из узда и пошли по длинной гряде над морем высоких дюн. Острые, изогнутые верхушки песчаных холмов были окрашены солнцем, как тысячи кривых сабель из сверкающего золота, разбросанные по равнине. Горячий ветер немного умерял зной солнечных лучей, лившихся на землю потоками огня. Мехари не любят бежать вплотную. Тирессуэну приходилось напрягать голос, продолжая свои рассказы. Под свист ветра пустыни он говорил о молодом друге из русского города, который не задавал ему назойливых вопросов, какими досаждали ему французские газетчики. Он охранял Тирессуэна от излишнего любопытства, вызываемого его необычным нарядом, и старался лишь показать ему побольше.

Туарег запомнил посещение громадного завода, где люди в промасленных костюмах ловко повелевали непонятными машинами. Металлическая пыль вьелась в их лица и руки, отчего все они казались более черными, чем другие люди русского народа. Там, где плавили сталь, работа показалась туарегу достойной духов ада — джиннов. Но там были не джинны, а приветливые люди, которые встречали Тирессуэна так просто и открыто, что туарегу казалось, будто он давно знает их.

Тирессуэн запомнил также гигантский дворец, наполненный картинами. Туарег долго шел по бесконечным высоким залам, увешанным картинами от пола до потолка. Картины походили одна на другую, изображая темными, тусклыми красками людей громадных размеров, почему-то голых, некрасивых, с дряблыми и рыхлыми телами. Эти люди то убивали друг друга, то униженно валялись в погах у свирепых владык, то объедались невероятным количеством пищи. Нередко на картинах, размерами больше эхена, была изображена только пища — отвратительные груды зарезанных животных, мерзких рыб и больших пауков, фрукты и хлебы...

Недоумевающий Тирессуэн попросился уйти отсюда скорее, но юноша, весело смеясь, повел его дальше. Они проходили по красивым, как в раю, мраморным белым лестницам, между высокими колоннами из розового или серого полированного камня. Он видел комнаты, сплошь отделанные темным деревом или пластинками прекрасного голубовато-зеленого камня, оправленного в золото (бронзу, как сказал его спутник-студент). Белые статуи нагих женщин чудесной красоты стояли и лежали в галереях и казались вылепленными из затвердевшего неяркого света, лившегося от серого неба через громадные, паглухо закрытые стеклами окна...

Окончательно примирил Тирессуэна с дворцом северного города зал в самой глубине сказочного здания. Отделанные серебряной краской белые полированные стены казались жемчужными. Высоко вверх уходили круглые арки, с которых свисали сверкающие люстры из тысяч граненых кусочков хрусталя, переливавшихся всеми цветами радуги. Блестел гладкий пол из кругов серого и белого мрамора. В нишах справа и слева по резным из мрамора раковинам, вделанным в стены, прозрачными каплями спадала вода. Во всех стенах были вставлены большие зеркала не с обычным резким и мертвым блеском, а бледного, чуть сероватого отлива, который дает лишь настоящее серебро. Высокие окна выходили на широкую реку. Простор льда и снега и свет неба за окном соединялись в одно с серебряно-белым хрустально-зеркально-мраморным залом. Это было такое неопишимо чудесное зрелище, что туарег долго стоял в молчании, и его проводник забеспокоился. Тирессуэн почувствовал, что через этот зал он впервые вошел в душу северной страны. Туарег понял неведомых строителей и их великую любовь к этому прозрачному миру бессолнечного жемчужного света, холода и чистоты, такой высокой, что она казалась неземной...

Афанеор вскрикнула от восхищения, и Тирессуэн вернулся к действительности. Далеко вперед уходила золотисто-бурая пустыня, и двумя слепящими пятнами горели поодаль маленькие озерки.

— А наши мерайа, — воскликнула девушка, — отдают тот же могучий свет, какой пизвергает солнце нашей страны! И в чем понятная нам красота и сила...

— У нас свет слишком беспокойный. Он не дает думать, сосредоточиться, чувствовать, так же как дышать — глубоко и долго. Здесь человек размышляет, пост, собирает мудрость и счастье по почам, там, на севере, это делают днем, и времени на труд и мысли у них больше...

— И потому они достигли большей мудрости и искусства, чем мы! — добавила Афанеор.

Тирессуэн остановил мехари.

— Здесь надо повернуть на восток, туда. — Он показал на отдаленный горный уступ, один из северных отрогов Тифедеста, окутанный в дымку горячего воздуха, невероятно искажавшую его очертания. — Там проходит автомобильная дорога, — продолжал туарег, — и мы пересечем ее ночью. Сейчас найдем убежище на время полдневной жары. Поедем направо и спустимся в аукер.

...Афанеор лежала на жестком верблюжьем одеяле и слушала Тирессуэна под аккомпанемент стонов, вздохов и треска, похожего на хлопанье бича. Это звучали камни, лопавшиеся от солнечного нагрева, — хор жалоб мертвой материи на неумолимое разрушение.

Тирессуэн продолжал говорить о России. Мощь памяти человека побеждала природу и переносила Афанеор за тысячи километров, в страну, где впервые побывал человек Сахары.

В день посещения серебряного зала — третий, предпоследний день его пребывания — к проводнику Тирессуэна присоединились еще трое молодых людей. Они повели туарега вечером на ахаль — музыкальное собрание в особом храме, который был так же огромен, как и все, что встречалось Тирессуэну в городе Ленина. Тысячи людей участвовали в собрании, но только как зрители. На ахальях в России поют и танцуют тщательно обученные и особенно одаренные люди, которые живут на деньги, полученные за право присутствия на собрании.

За Тирессуэна заплатили его провожатые и усадили его в белом ящике, отделенном от всего зала обитой красным бархатом загородкой. Провожатые объяснили туарегу, что здесь собрался вовсе не весь город, а меньше тысячной части его взрослых жителей. Количество людей вселяло в Тирессуэна удивление, смешанное со страхом. Если бы собрать всех взрослых людей племени кель-ахагаров, то они поместились бы в этом белом зале, отделанном резной позолотой и красным бархатом...

Спутник Тирессуэна стал объяснять представление — сказку о девушках, превращенных в лебедей злым волшебником и освобожденных любовью юноши к царице лебедей. Туарег понял из объяснений, что лебеди — это большие белые птицы, похожие на гусей, только более величественные и красивые. Тирессуэну приходилось слышать и видеть диких гусей, пролетавших над западной частью Сахары.

Потух свет. Оркестр из сотни людей с какими-то сильно и красиво звучащими инструментами начал пленившую туарега мелодию. Звонким призывом грянули серебряные трубы. Тревожные и тоскливые, потянулись в бесконечную даль зовы, будто в самом деле прощальные крики летящих гусей. Они слабели и становились все более звенящими, теперь напоминая Тирессуэну те таинственные, зачаровывающие звуки, означавшие для некоторых людей их смертный час, — пение песков перед сильной песчаной бурей. Слышал их и Тирессуэн — звонкие вопли серебряных труб, несущие оцепенение и сознание обреченности. Здесь же могучие трубы подхватывали и несли, как на крыльях, томили ожиданием чего-то прекрасного и тревожного. Скрипки хором поддерживали их стремление и превращали его в вихрь бурных чувств — исканий и непокоя...

Туареги — музыкальный народ, и Тирессуэн, впервые узнав, что на свете есть такая музыка, забыл о самом себе.

Ожидавший несколько насмешливо европейского ахалю, думая, что европейцам несвойственно увлечение сказочными фантазиями, распространенными среди кочевников Сахары, туарег был захвачен врасплох и побежден русской музыкой.

Все было необыкновенно в поразительном представлении — и яркие сцены придворных балов, и замечательные декорации, делающие сказку действительностью. Но туарег весь превращался в слух и внимание и не мог отвести глаз от девушек-лебедей и их царицы. Раньше Тирессуэн видел в Бу-Сааде знаменитых танцовщиц племени улед-наиль с гор Любви — девушек, о которых по всей Африке говорят, что у них глаза как огненные мухи, ноги газелей, а животы подвижнее и быстрее, чем язык хамелеона. Танец живота выражал неутомимость и гибкость, поразительную подвижность всех мышц тела,

яростные, почти гневные порывы страсти и также удивлял поразительным искусством. Но туарег не мог представить, чтобы искусство танца могло быть доведено до такого совершенства. Стройные девические тела в тысячах отточенных движений выражали все оттенки чувств, владеющих человеком. Не надо было даже слышать музыки, чтобы понять происходящее. Тирессуэн видел, что красота человеческого тела может быть такой же чистой и светоносной, как беломраморные создания искусства, виденные им во дворце-музее. Нет, неверно, во сто раз более прекрасной, потому что здесь — сама жизнь в неисчерпаемом богатстве движения ее гибких форм!

Музыка и танец сливались воедино... Протяжное и грустное пенне скрипки улетало ввысь, как луч одинокой звезды, и белая девушка-лебедь тоже стремилась унести за ним в томлении пробуждающейся любви и тоске, что не сможет осуществиться запрещенная ей страсть...

И звенящая музыка, и прозрачный свет над ночным озером, и белые девушки-птицы сливались в такую же гармонию хрустально-серебряной белизны, как необыкновенный зал во дворце страшных картин, как сам заснеженный северный город на широкой заледепелой реке.

Другая музыка, такая же невучая, но более глухая и низкая, остерегающая проскальзывавшими недобрыми нотами резкого диссонанса, сопровождала танец черного лебедя. Обтянутое черным бархатом точеное тело девушки изгибалось в призыве темных чувств, прорвавшихся в насмешливо-торжествующей музыке удавшегося обмана... Размеренно стонала и билась в отчаянии мелодия утраченной надежды и обреченности, легкие взлеты скрипок отражали невучие жалобы девушек-лебедей, склонявшихся перед судьбой в голубом лунном свете...

И возрождение былой любви в том же стремлении поющих скрипок, закончившееся победой над глухими диссонансами обмана и насилия...

Тирессуэн был потрясен невиданным музыкальным собранием. Кристально-чистую музыку сопровождал столь же совершенный, как граненый самоцвет, танец. Ритмически сменявшиеся позы царицы лебедей чудились туарегу буквами таинственного тифинара, вещавшими ему особенную, полную неожиданностей судьбу. Ему трудно было поверить, что девушки-лебеди — простые смертные, а не волшебницы или гурии, ниспосланные с неба в се-

верную страну. Провожатые уверяли туарега, что единственным отличием танцовщиц от всех других людей было лишь долгое — с пятилетнего возраста — обучение искусству танца.

Тирессуэн попросил показать ему одну из этих девушек, а если бы это было возможно, то он мечтал бы поглядеть на самую царицу лебедей. Провожатые посовещались и обещали, что попросят ее об этом завтра, но не теперь, после трудного представления. Тирессуэн напомнил, что завтра — конец его пребывания в России. Но молодые люди не обманули его. Туарега пригласили на поездку в парк на острова, и сама царица лебедей согласилась принять в ней участие. Тирессуэн изумился, увидев невысокую светловолосую девушку, такую простую и скромную, что с первого взгляда он не мог найти в ней ничего общего со вчерашней волшебницей танца и красоты. Серое толстое пальто, перехваченное в талии широким поясом, задорная детская шапочка на густых светлых стриженных волосах, большие, чуть грустные серые глаза... Только необычайное изящество и легкость движений, какая-то не покидавшая девушку внутренняя сосредоточенность могли подсказать наблюдательному взору, что перед ним — выдающаяся артистка. Душевный огонь, сделавший девушку царицей лебедей, как бы просвечивал изнутри, выдавая долгие годы физической и духовной тренировки, воздержания в пище и удовольствиях — то, что было близким и понятным туарегу.

Автомобиль шел вдоль неоглядной снежной равнины, как сказали потом — замерзшего моря, под раскидистыми соснами с красно-лиловой корой. Потом они шли цепочком по протоптанным в снегу тропинкам и попали в рощу огромных серебристо-белых деревьев. Всюду, куда только хватал взгляд, стояли белоснежные, украшенные черными штрихами стволы. Тонкие черные веточки паверху были без листьев. Они опали в долгое и суровое холодное время года...

Внезапно покров тяжелых туч распахнулся, открыв небо очень яркой голубизны. Солнце зажгло миллионами сверкающих искорок крупный, не тронутый ветрами снег.

— Смотрите, смотрите! — воскликнула царица лебедей.

И Тирессуэн обернулся, поняв восклицание чужого мелодичного языка. Девушка показывала вверх.

Заледенелые белые деревья начали оттаивать. Высоко в ясном голубом небе их ветви переплелись серебряной, унизанной жемчугом пряжей. На гибких веточках повисли капли воды — в солнце они горели алмазами над другими темными и колючими деревьями, покрытыми пухлыми тюрбанами снега.

Вдруг сверкающая, шатром раскинутая в бездонной голубизне жемчужно-серебряно-алмазная сеть угасла. Низко опустилось закрывшееся облаками небо, более темное, чем земля. Зелень колючих конических деревцев сделалась совсем черной. Призрачными полосами убегали вдаль голые кустарники. Крупные блестящие хлопья падали медленно, крутясь в безветренном воздухе, полные немислмого в Сахаре покоя.

Но ярче созданного морозом алмазного шатра засветились серые ясные девичьи глаза, поднятые к Тирессуэну. Снежинки блестящим венцом легли на выбившиеся из-под шапки волосы, таяли на кончиках длинных ресниц, на алом изгибе губ.

Свежий, особенный запах тающего снега шел от разругавившегося лица, а напоенные морозным воздухом волосы издавали теплый аромат жизни. И туарег, любясь этой чужой и бесконечно далекой девушкой, ощутил контраст холодной зимней красоты, сотканной бесплотным светом, и человеческой живой прелести. Теперь Тирессуэн понял все до конца. Бессолнечная и холодная страна, засыпанная снегом, скованная морозом, порождала таких же живых, горячих людей, полных стремления к прекрасному и способных создавать его, украшая жизнь, как и пламенная сухая земля юга. Права была дочь Ахархеллена, устремляя свои мечты вслед за Эль-Иссей-Эфом к России. Трудно было жить русским в такой суровой земле, но они не ушли никуда от своей доли, как то сделали и предки туарегов. Они закалили тело и душу в морозной белизне севера, как туареги — в пламенной черноте гор и равнин Сахары! Вот почему душа русского человека смотрит глубже в природу и чувствует богаче, чем душа европейца, вот почему Эль-Иссей-Эф так хорошо понимал кочевников пустыни, а те — его!

Четыре дня в России пролетели мгновенно, но он все же успел почувствовать, понять страну сердцем, а не разумом, как то и советовала ему Афанеор. Он вернулся вестником правоты дочери Ахархеллена!

Тирессуэн умолк и закурил, вновь переживая все врезавшееся в его острую память. Афанеор молчала, лежа у ног Тирессуэна, пока тот не погладил ее растрепавшиеся волосы. Девушка подняла к нему свои огненные глаза и смущенно спросила:

— Они очень красивы?

— Кто?

— Девушки-лебеди и она... их царица?

Туарег рассмеялся.

— Очень красивы. И в жизни и в музыкальном собрании. Красивы так, что трудно поверить. Но мою черную, пасквозь сожженную солнцем Афанеор я не отдам за всех них. Ты сама мое солнце, и такое же пламенное, какое оно здесь, на пашей с тобой земле. Ты моя избранница, а значит, лучше всех женщин на земле, хотя их очень много и все они разные. Но я люблю тебя и жизнь буду делить только с тобой!

Ночь была безлунной и безветренной, как там, на далеком севере. Но воздух пустыни был прозрачен, как темный свет, и вечно безоблачное небо приближало звезды к земле, отчего земля как будто сливалась с бесконечным пространством. Когда-то, очень давно, древние египтяне поклонялись всеобъемлющему пространству, называя его Папт, и всепоглощающему времени — Шесбек. Оба божества олицетворялись пустыней, как бы соединявшей их в одно целое, бездонное и молчаливое, в котором тонули все мысли, усилия, жертвы и сама жизнь бесчисленных и безымянных поколений людей. Современные обитатели Сахары не знали об этом, но, как и древние египтяне, чувствовали свою связь с бесконечностью пространства и времени, уносясь взором и мыслью в ночную пустыню. Только теперь пустыня уже не казалась им всеобъемлющей. Как озеро мертвенного покоя и молчания, она была окружена жизнью множества стран, стремившейся все заполнить и все подчинить себе.

Туареги знали теперь, что все грознее становится могущество человека и все больше — его слабость перед лицом им же созданных опасностей, каких еще не существовало в прежнем мире. Что на всей огромной планете идет борьба за справедливость и счастье, что непоборимая европейская цивилизация сама подтачивает себя изнутри

и ее полный противоречий мир должен уступить место другому, более совершенному.

Белый и желтый мехари отдувались после долгого бега, медленно поднимаясь на широкий уступ отрога Тифедеста.

— Сегодня ночь холодного огня! — воскликнула Афансор, проводя рукой по шее своего верблюда и вызывая этим множество голубых искр.

Электрические ночи передки весной в горах Сахары. Чем выше поднимались всадники на гору, тем сильнее сыпались искры с шерсти животных и с их собственной одежды. Ущелье, служившее тропой на плоскогорье, вылось снеговой мерцающей речкой в непроглядном мраке среди черных стен.

Оно привело путников в небольшую циркообразную впадину со ступенчатыми краями, обставленную заостренными скалами отполированного ветрами и солнцем черного диорита. Каждая скала была окутана слабым голубым мерцанием, на острие вершины уплотнявшимся в факел синего огня. Глубочайшая тишина нарушалась только легким шарканьем верблюжьих ног. Афансор и Тирессуэн молчали, чувствуя себя в запретной стране заколдованного Тифедеста, принадлежащей иному миру, чем тревожная и мечтательная ширь Сахары.

Медленно поднялись они на плоскогорье, и в темном просторе мгновенно исчезло колдовство синих факелов. Тирессуэн остановил мехари, сбросил головное покрывало и прислушался. Издалека, с дороги, которую они только что пересекли, нарастал мерный грохот. Разлилось, приближаясь, сияние автомобильных фар. Девушка хотела спешиться и положить верблюда, но туарег остановил ее:

— Они ослеплены собственным светом!

Внезу, из-за поворота, вынырнула первая машина. Длинная, на шести высоких колесах, с низким корпусом из броневых плит, она отличалась от своих мирных собратьев, как отличается крокодил от рабочего быка. Что-то рептильно-злое и тупое было в ее плоской передней части с горящими, широко расставленными фарами и боковым прожектором. Броневая машина металась по извилистой дороге, хлеща фарами по сторонам, будто выслеживая кого-то. Следом один за другим появлялись такие же крокодилообразные броневики, так же металась из стороны в сторону и уносились к югу в клубах золо-

тившейся в свете их фар пыли. Глухо, назойливо и упрямо ревели моторы, громко шуршали по щебню широкие шины, угрожающе торчали вперед дула пулеметов и скорострельных пушек. Сила Занада, непреклонная и безжалостная, тянулась стальной вереницей по пустыне. Афаеор тревожно посмотрела на Тирессуэна и замерла. Голубое холодное пламя обтекало туарега с головы до ног, струилось по верблюду, горело высокими огнями на ушах и посовой палочке мехари. Бронзовое лицо туарега в рамке голубого свечения казалось отлитым из чугуна и приобрело пчеловеческую четкость и твердость. Тирессуэн почувствовал взгляд девушки и положил на ее отставленный локоть свою сильную руку. Афаеор взглянула и поняла, что сама облита таким же голубым огнем.

«Не боишься?» — без слов, взглядом спросил ее туарег.

«Нет!» — так же ответила Афаеор.

Два всадника на высоких, как башни, верблюдах стояли меж черных скал над проползавшей внизу вереницей броневиков.



СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Встреча над Тускаророй	7
Озеро Горных Духов	35
Олгой-Хорхой	53
Белый Рог	70
Бухта Радужных Струй	93
Обсерватория Нур и-Дешт	112
Тень минувшего	138
Сердце Змеи	186
Юрта Воропа	250
Афанеор, дочь Ахархеллена	298

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для среднего и старшего школьного возраста

Ефремов Иван Антонович

СЕРДЦЕ ЗМЕИ

Ответственный редактор *Н. М. Беркова*. Художественный редактор *Н. Г. Холодовская*. Технические редакторы *М. Я. Басс* и *И. П. Савенкова*.
Корректоры *М. Б. Шварц* и *Т. Ф. Юдичева*.

Сдано в набор 11/VI 1964 г. Подписано к печати 3/XI 1964 г. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 18,86. (Уч.-изд. л. 18,55), Тираж 100 000 экз. ТП 1964 № 587. А08674. Цена 81 коп.

Издательство «Детская литература».

Москва, М. Черкасский пер., 1

Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького
Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР
по печати, Гатчинская, 26.

Заказ № 1117